

Ежемесячный  
литературно-художественный журнал



# ПОДЪЁМ

Издается  
с января 1931 года

**Главный редактор**  
**Иван ЩЁЛОКОВ**

**Редколлегия:**

АВРУТИН А.Ю. (Минск, Беларусь)  
АГЕЕВ Б.П. (Курск)  
АКАТКИН В.М.  
АРШАНСКИЙ В.С. (Мичуринск)  
БОНДАРЕВ Ю.В. (Москва)  
ЖИХАРЕВ В.И.  
ИВАНОВ Г.В. (Москва)  
КАН Д.Е. (Новокуйбышевск)  
КОНДРАТЕНКО А.И. (Орел)  
ЛАПИН А.А.  
ЛЮТЫЙ В.Д. — заместитель главного редактора  
МИЗГУЛИН Д.А. (Ханты-Мансийск)  
МОЛЧАНОВ В.Е. (Белгород)  
НЕСТРУГИН А.Г.  
НИКИТИН В.Н.  
НОВИЧИХИН Е.Г.  
НОВОХАТСКИЙ В.Е. — ответственный секретарь  
ПАВЛОВ Ю.М. (Армавир)  
ПЕРМИНОВ Ю.П. (Омск)  
ПОНОМАРЁВ А.А. (Липецк)  
РОМАНОВСКИЙ А.Г. (Харьков, Украина)  
СКИФ В.П. (Иркутск)  
СУХАЧЕВА Э.А.  
СЫРНЕВА С.А. (Киров)  
СЫЧЁВА Л.А. (Москва)  
ШАЦКОВ А.В. (Москва)  
ШЕМШУЧЕНКО В.И. (Санкт-Петербург)  
ЯКУНИНА Г.П. (Владивосток)

Воронеж

---

**9. 2015**



В НОМЕРЕ:

*Специальный выпуск*

---

<b>СЛОВО</b>	Иван САФОНОВ. <b>Когда приходит ясная пора...</b> ..... 5
<b>ПРОЗА</b>	Виктор ПЕРЕГУДОВ. <b>В храме.</b> Рассказы ..... 6 Григорий АНЧУКОВ. <b>Отпуск в Икорце.</b> Повесть-быль ..... 45 Валерий БУБЕЛЬНИК. <b>Закладка для памяти.</b> Рассказы ..... 68 Валерий ТИХОНОВ. <b>Выручил.</b> Повесть ..... 83 Валерий РОНЬШИН. <b>Чудесные возвращения</b> <b>Егора Сладкосолева на планету Земля.</b> Повесть ... 106 Виктор СТАКАНОВ. <b>Дни перед бедою...</b> Отрывок из романа ..... 124
<b>ПОЭЗИЯ</b>	Александр РОМАХОВ. <b>Я приеду при гаснущих</b> <b>звездах.</b> Стихи ..... 41 Наталья ХАРИТОНОВА. <b>На семи ветрах.</b> Стихи ..... 64 Николай САМОЙЛОВ. <b>Для нас главное жить в ладу.</b> Стихи ..... 80 Людмила ТИТОВА. <b>Усталость тихая, вечерняя.</b> Стихи ..... 104 Михаил ПРОСЯННИКОВ. <b>Склоняет голову камыш.</b> Стихи ..... 121 Иван САФОНОВ. <b>Колючий снег в горсти.</b> Стихи .... 133 Наталья МИЛЯКОВА. <b>Женщина, икона и свеча.</b> Стихи ..... 146 <b>В закате осеннего дня.</b> Стихи лискинских поэтов .... 166
<b>ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ</b>	Валерий ТИХОНОВ. <b>Ох, уж эта Тонька!</b> (Малоизвестные страницы житейской биографии Егора Исаева) ..... 136

<b>ПАМЯТЬ</b>	Вальтер КИСЛЯКОВ. <b>Лихолетье.</b> (Дневник из прифронтового города) ..... 149 Михаил МАКОВЕЕВ. <b>Высота 177.</b> (Полководцы Жуков и Василевский на переднем крае под Николаевкой) ... 156 Татьяна ТИМКОВА. <b>Баллада о зенитчице.</b> Документальный рассказ ..... 160
<b>ДАЛЕКОЕ- БЛИЗКОЕ</b>	Николай КАРДАШОВ. <b>Нам нужна была одна Победа.</b> (Очерки). <b>Мост над Доном. Мелитон Кантария: к рейхстагу от... Лисок. Ваня-немец</b> ..... 171 <b>Детские рассказы про войну.</b> Из школьных сочинений ..... 181
<b>КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО</b>	Николай САФРОНОВ. <b>Небо и кисть.</b> (Жизненный и творческий путь художника Александра Денисова) ... 186 Николай КАРДАШОВ. <b>Финочкина и Штаты знают</b> .. 192 Татьяна СИНЯКОВА. <b>Город прихорашивал мастер</b> .. 194 <b>Зодчий послевоенного Воронежа</b> ..... 195 <b>Воспитатель лицедеев</b> ..... 196
<b>ОТЧИЙ КРАЙ</b>	Мария МЕДВЕДЕВА. <b>Магия слов и музыка речи.</b> (Особенности говоров жителей лискинских сел по реке Хворостань) ..... 198 <b>Урядник писаря обозвал свиньей.</b> (Архивный документ рассказал о нравах) ..... 205 Валерий БУБЕЛЬНИК. <b>У Лысой горы.</b> (Топонимика приоткрывает исторические тайны) ... 208
<b>ПОИСКИ И НАХОДКИ</b>	Александр БЕЗЗУБЦЕВ. <b>Где границы Икорецкой верфи!</b> ..... 212
<b>ИСТОКИ</b>	Михаил КАЛУГИН. <b>Заветный берег.</b> Заметки о красоте и беззащитности родной природы. (Предисловие Николая КАРДАШОВА) ..... 215 Наталья СУПОНИЦКАЯ. <b>О чудесах и не только</b> ..... 225
<b>ДУХОВНОЕ ПОЛЕ</b>	Анна ГОРДЫШЕВА. <b>Сияют купола собора...</b> (Возводящийся храм Владимирской иконы Божией Матери — архитектурная жемчужина региона) ..... 227



***«Без таких городов  
не представить Россию» —  
специальный проект  
журнала «Подъём»:  
г. Лиски Воронежской области***

Выпуск осуществлен  
при содействии администрации  
Лискинского муниципального  
района с целью популяризации  
творчества земляков.







**Виктор Степанович Перегудов** родился в 1949 году в селе Песковатка Лискинского района Воронежской области. Окончил отделение журналистики Воронежского государственного университета. Работал в воронежской газете «Молодой коммунар», журналах «Политическая работа», «Сельская молодежь», издательстве «Молодая гвардия». Занимал ответственные должности в ЦК ВЛКСМ, политических структурах, Совете Федерации РФ, мэрии Москвы. Публиковался во многих центральных газетах и журналах. Автор пяти книг прозы, в том числе «Великие сосны», «Семь тетрадей», «Золотой сад». Член Союза писателей России. Живет в Москве.

**Виктор Перегудов**

## В ХРАМЕ

Рассказы

**О**тправив жену и детей на дачу, Крюков жил один. Он старался пораньше уйти из редакции, а придя домой, сразу же включал телевизор и, раздевшись до трусов, укладывался на диван. Как бы подножием дивану служили холмы книг и журналов, скопившиеся за долгие вечера беспробудного, запойного чтения.

Так-то вот полеживая в одиночестве, Крюков углядел по второй программе повтор передачи «Клуба путешественников» — и сразу решил ехать. Показали его, можно сказать, родные места, его район — меловые скалы на берегу реки, поля и леса, видные с этих скал, как с самолета, и, самое главное, монастырь в меловой горе, обезлюдевший еще в начале века и потихоньку разрушающийся, захлащенный до последнего предела и ставший сейчас притягательной точкой для дикого туризма. Когда-то в молодости и Крюков отметился в этом монастыре, прошелся по его подземным, угольно-черным, даром что мел, коридорам и кельям, и не один прошелся, а с одноклассницей... И вот, взволнованный от передачи, решил он ехать домой, посмотреть на монастырь еще раз, да, может быть, помочь через редакцию журнала хорошему делу. Крюков задумал написать очерк про монастырь и про его перспективы — скоро предстоит мона-

стырю новая культурная жизнь, будет он отреставрирован, и потекут сюда организованные туристские массы.

Крюков выправил себе командировку на неделю и уехал из нервной летней столицы. Ему была приятна собственная решительность, приятно было покинуть на время докучливую службу и коварно-мягкий диван. В вагоне он долго стоял у окна, выходил в тамбур покурить, все вспоминал и вспоминал одноклассницу, повторяя беспрерывно и бездумно: «Что прожито — будет мило», волновался, оживляя в памяти картины юности, а потом уснул на верхней полке, уступив нижнюю измученной Москвой женщине, уснул столь глубоко и покойно, как не засыпал уже многие годы.

Покуда он спит в громыхающем вагоне скорого поезда под дребезжание чайных стаканов, самое время сказать, что телевизионная передача не была единственной причиной, подвигнувшей ленивого Крюкова на командировку. В письменном столе у него дома лежал в отдельной папочке незаконченный рассказ под названием «Храм», весьма обязывающим, заметим, названием, и был этот правдивый рассказ посвящен некоторым событиям крюковской юности. Крюков подсочинил в нем самую малость, для пущей художественной силы, но, пожалуй, эта малость все и губила, делала излишне наглядным, как бы рассекречивала тайну рассказа, давала грубовато-прямой ответ на тонкий вопрос, нацеленный прямиком в читательское подсознание. Надо было Крюкову остановиться, поднапустить туману, не прояснять все до конца, и Крюков, между прочим, и сам понимал это, почему и отложил рассказ незаконченным, почувствовав сильнейшее сопротивление материала. Образованный читатель знает, вероятно, что хорошие рассказы пишутся легко, а очень хорошие — очень трудно. С «Храмом» ясности покамест не было, «Храм» не имел окончания, но он интересен именно в том виде, в каком сохраняется уже несколько лет, поэтому мы и приводим его полностью.

Итак — «Храм».

«Шестидесятые годы, средняя школа в среднем райцентре, девочка Ира. Ира была такой человек, что я ее от любви бил. Один раз я дал ей пощечину в саду у бабки и понял, что эта пощечина сделала меня желанным: ей хотелось страстей, мое нежнейшее преклонение не утоляло ее душевной жажды. После пощечины мы жарко целовались, и я прикоснулся впервые в жизни к нежным холмам.

Окончив десять классов, мы рвались поступать в институты и должны были разъехаться по разным городам, ибо не было в ближних окрестностях города, где одновременно располагались бы технологический институт и университет, в котором я намеревался стать историком. Мы чувствовали животный, замечательный восторг юности и одновременно остро и больно переживали предстоящую разлуку. Души совместно трепетали, предвкушая бескрайность радостей жизни, и вряд ли мы тогда догадывались, что ничего более свежего и глубокого, чем этот восторг и эта боль, нам уже никогда не доведется пережить.

Шли последние дни перед ее отъездом. Я приходил к ней домой; бабушка, которая была мудра, удалялась в сад, где нарочито громко и часто кричала на птиц и даже на полезных пчел, чтобы мы не забывались, а мы оставались вдвоем в двух комнатах при закрытых по-летнему ставнях. Мы целовались до посинения губ, сарафан ее падал с плеч, у меня кружилась голова. Всю ее я ни разу не видел, она не позволяла. Так как я ее любил, то она была для меня не то что эталоном красоты, а чем-то несравненно

высшим, что любой, даже выдающейся, оценкой могло быть только оскорблено. Эталон красоты — это ведь лишь оценка, причем грубая.

По-видимому, она числила за своей фигуркой какие-то неведомые мне недостатки, поэтому даже на пляж мы никогда не ходили вместе. Мы условились так: если я приду на пляж, когда она там будет, то всем нашим отношениям конец. Мы купались на разных пляжах.

За три дня до ее отъезда на городок обрушилась прекрасная, первая, настоящая летняя жара. Воздух стал ни сух, ни влажен, в саду источали тонкий и сильный аромат зеленые яблоки. Сиял радужным огнем зигзаг трещины на оконном стекле, а в доме плавали в тоннелях света золотые пылинки. Я ее целовал и пьянел, я стеснялся своего тела.

Вдруг она сказала громко и как-то жестко:

— Жарко, как жарко! Я передеваюсь, не смей заходить! — и вышла в другую комнату.

Я ждал, времени прошло много, и она опять сказала:

— Не смей заходить!

Я все ждал и не заходил.

Своему позднему опыту я говорю теперь: заткнись!

Она вышла — в другом, точно таком же, как прежний, сарафане, только цветы были сиреневые. Она поцеловала меня благодарно и зло.

На следующий день, после бессонной ночи, написать о которой что-либо внятное я не в силах, я явился к ней с утра. Совершенно неожиданно она предложила мне немедленно поехать в монастырь. Мои недоуменные вопросы остались без ответа. В ней проступила какая-то решительность, и я почувствовал, что бессмысленно задавать вопросы, все равно она ничего бы не сказала.

Мы сели в электричку и через полчаса, которые провели в полном молчании, вышли на остановке «Санаторий». Санаторий для легочников располагался в зданиях бывшего монастыря, у подножия высоких меловых холмов, что тянутся по правобережью. Нам был нужен, конечно, не этот санаторий и не этот монастырь, а другой, вырубленный неизвестно когда в меловой горе. Мы поднялись к нему, походили по трапезной, стояли у алтаря, заглянули в кельи. И стены, и своды, и поддерживающие потолок колонны были сплошь покрыты надписями, повествующими, кто и когда «здесь был». Такие же надписи украшали скамейки в зале ожидания городского вокзала, деревянную раковину оркестра в саду, рыжие бока проплывающих по реке барж.

Монастырь считался достопримечательностью района. Ходили легенды, что из него в город идет подземный ход, подныривая под речное дно, что план громадных, разветвленных подземелий у одного человека есть, да он его никому не отдает — ни властям, ни ученым, намереваясь самостоятельно добыть скрытые в таинственных глубинах сокровища.

Подобная легенда не могла не родиться, очень уж обычная, замкнутая в себе самой шла в городе жизнь. Конечно, и половины правды во всем этом не было, но на то она и легенда, ей доставало для полной убедительности одних только старых коридоров и остатков алтаря в монастырской церкви.

По полу трапезной распластались глубоко врубленные в мел слова «Георгий Герасимов, 1947 г. рождения. Береги свою тайну». Написано топором. Я стоял на слове «береги», Ира попирала «тайну». Никто не превозмог Георгия в трудолюбии, иные слабаки обходились копотным черным следом свечи на потолке.

Свеча была и у нас, я зажег ее и шагнул в темноту и холод подземе-



ля. Огонек задрожал и задергался, потом лепесток слабого пламени лег в потоке подземного ровного ветра, и стали видны близко сходящиеся стены, которых мы касались горячими плечами. Скоро свеча погасла, я повернулся к Ире, которая шла за мной, и она натолкнулась на мои протянутые к ней руки. Мы начали целоваться, но тяжелый свод, казалось, давил на нас, и студил текущий из горы холодный ветер.

«Зажги свечу», — сказала она тихо.

Мы пошли дальше, ход вел все ниже и ниже, ступени сделались круче и не были так истерты, как вначале. Вдруг впереди и внизу забрезжил свет, слабый и беспокойный. Может быть, кто-то шел впереди нас, и мы его догоняли, а может быть, он двигался нам навстречу. Мы остановились и смотрели, затаившись. Свет дрожал и не двигался, установилась каменная черная тишина. Через секунду там, где брезжило желтое робкое пятно, вдруг полыхнул молниеподобный сине-белый взрыв, и мы сжались, но не услышали грохота обвала, а только четкий металлический щелчок, прозвучавший одновременно со взрывом, но расслышанный нами на миг позднее.

Потом раздался тихий женский смех и голос из крошечной, установившейся после вспышки тьмы, сказал: «Идите сюда, не бойтесь! Я вас давно слышу и вижу».

Держась за стены, подобно слепцам, мы пошли на голос и, когда глаза стали видеть, обнаружили, что находимся в небольшом круглом зальчике, образованном расширением коридора. На нас глядела, посмеиваясь, невысокая, ладная и довольно красивая, что я невольно отметил, девушка с раскрытым альбомом в руках. На ремешке через плечо висел у нее фотоаппарат с блюдечком вспышки.

— Пойдем, не будем мешать, — Ира тронула меня за руку. Я почувствовал, что она порядочно разозлилась на незнакомку и никак не расположена к беседе. Я же сразу сообразил, что вижу перед собой археолога, то есть историка, первого настоящего историка, если не считать школьного учителя, который и сам себя честно не относил к почтенному сословию знатоков древностей.

Раздражение Иры я отнес целиком за счет испуга от вспышки, что представлялось мне несколько даже смешным. Я засыпал девушку вопросами, оказалось, что она здесь на практике после первого курса истфака. «Сфера моих научных интересов!» — сказала она с забавной важностью, но вместе с тем и вполне серьезно, и повела широко рукой, как бы охватывая весь монастырь. Потом она рассказала, что в районе монастыря работает археологическая экспедиция, и, хотя все давно описано, еще в прошлом веке, работы здесь непочатый край. Например, есть сведения, что где-то у входа похоронены отцы-основатели, два афонских монаха. Захоронения не обнаружены, не идентифицированы, хотя это могло бы пролить свет... рассказ ее был интересен.

— Что от них осталось? Как определить, что были люди захоронены? Ведь в мелу за столько лет ничего не сохранится! — Ира говорила неприязненно.

— По пятну, — сказала девушка спокойно и уверенно. Больше всего меня поразила ее уверенность, пятно для нее было так же красноречиво и говоряще, как для меня памятник с фамилиями.

— А стены, стены исследованы? — По какому-то непонятному наитию я сообразил, что стены подземного монастыря тоже хранят в себе память. Она взглянула на меня с удивлением.

— В стенах, вероятно, тоже захоронения. В полу наверняка есть, вот смотрите.

Мы подошли к нише, в которой стояла свечка, и увидели, что мел под нишей не сплошной материковый, а насыпной, взрыхленный.

— Вот если вынуть рассыпной материал, то там, может быть, что-то есть.

Я готов был начать копать голыми руками. Девушка усмехнулась над моей простотой и повторила чьи-то явно чужие слова, может быть, принадлежащие археологическому авторитету:

— Знаете, в чем профессионализм и доблесть современного археолога? Не в том, чтобы раскопать, а в том, чтобы сохранить. Ведь все известно... — Помолчала и добавила: — Я вас умоляю: никому про это не говорите. Полезут золото искать, а золота тут нет. Монахов бедно хоронили. А памятник погибнет. И так уже...

Мы выбрались на белый свет, совершив под землей полный круг. На склонах мелового холма, едва прикрытых тонким, в два-три пальца слоем белесой земли, прыгали и радостно стрекотали кузнечики. От скудной пищи или от малого возраста были они совсем небольшие, пели тонко и высоко, и тысячи их песен сливались в непрерывный звон.

Сухое тепло лета ласкало нас. Внизу, между зеленых пышных берегов, нежилась медленная река, упорно расталкивал ее струи катер, морща и волную отражающую небо гладь.

— Ты меня не любишь, — сказала Ира.

— Люблю, — я себе верил больше, чем ей.

— Пойдем к реке.

Мы спустились на пляж, там никого не было, санаторные, видно, вовсе не купались или спали в свой жуткий «мертвый час».

Ира оглядела с брезгливостью песок и пошла напролом сквозь кусты выше по течению. Пробившись сквозь джунгли, мы вышли на пятачок золотого берега, укрытый от человеческого глаза ивами, купающими ветви в медленной воде.

Не оглянувшись на меня, Ира разделась, сбросив на песок красный купальник. Я стоял истуканом. Она посмотрела на меня исподлобья, нас как будто бросило друг к другу, и мы упали на землю. Несколько бесконечных секунд мы боролись, я видел в ее глазах ненависть, она вырвалась от меня и бросилась в воду. У меня навернулись злые слезы, я отвернулся и побежал по берегу; весь исцарапанный ветками, оглушенный и со звоном в ушах я вернулся и сел на песок.

— Возьми мой купальник, зажмурься и подай его мне, — сказала она.

Я взял купальник, вошел в воду, прижал ее к себе, скоро почувствовав тепло маленького тела.

— Уходи...

На берегу я подождал, пока она оденется, и мы уехали домой.

Потом было множество писем, однажды она прислала в армию лист бумаги, на котором совершенно четко были отпечатаны ее губы, помада передала все буквально. Я не поцеловал этот лист, отослал ей назад...

\* \* \*

На этом именно месте рассказ застопорился. Да и что было писать, ведь в жизни все кончилось гораздо раньше, вероятнее всего, в тот день, когда недогадливый Крюков не вошел к Ире в соседнюю комнату. Почему он не вошел? Да потому, что, кажется, не любил Иру по-настоящему, так Крюков думал позже, на самом же деле он был тогда чистый юноша

и берег ее (тут нет места иронии). А она его любила, она была по-женски отважной, хотела пойти до конца. В пещере она поняла, когда Крюков стал очень уж много разговаривать с девушкой-археологом, что Крюков никогда не будет ее мужем. Увидел девицу под землей — и хотя и невольно, но все же отстранился от Иры. Он боялся настоящей жизни.

Эпизод на пляже Крюков присочинил, не управившись с сюжетом, на самом деле все было проще и выразительней. Не дождавшись электрички, они пошли пешком по шпалам, причем Ира молча и быстро шла впереди, а Крюков тащился за ней и вел нелепые разговоры про старину. Больше всего ему хотелось, чтобы Ира остановилась, и он бы тогда поцеловал ее, и все бы вернулось, но она шла и шла, наклонив голову, и Крюков чувствовал, что она уходит навсегда. И одновременно он понял, что она его любит. Все это было так сложно, так противоречиво, что Крюков не мог сразу разобраться. Пошел дождь, да не какой-нибудь замечательный слепой дождь с искрами солнца и с родниковыми на вкус дождевиками, а мелкий, бесконечный и безрадостный. Крюков приостановился, думая, что Ира остановится, когда расстояние между ними станет большим, но она не остановилась. И он догнал ее, и снова отстал, и вся эта мучительная канитель тянулась до какого-то разъезда, на котором, пошипев дверями, электричка приняла их в продутый железнодорожными сквозняками грязный вагон, сиденья которого были, конечно же, украшены разнообразными надписями.

Про армию и про то, что лист бумаги вернулся к Ире непоцелованным, Крюков не выдумал, это была чистая правда, но в общем-то правда мелкая, хотя Крюков надеялся на «деталь» как на сильное место в рассказе.

...Утром, подъезжая к своему городку, Крюков припоминал не рассказ, а свою жизнь, и становился чем ближе к дому, тем спокойнее и радостнее. Отправляясь из Москвы, он не дал матери телеграммы и теперь представлял, как она обрадуется неожиданному гостю, как на следующее утро поспежит спозаранку на базар и вернется к его пробуждению с какими-нибудь фруктами-ягодами, будет его кормить и потчевать, и он почувствует себя дома любимым сыном, едва ли не ребенком, что бывает особенно приятно в жестком сорокалетнем возрасте. Еще он думал, что в монастырь надо поехать хотя бы первый раз без сопровождения, неофициально, чтобы увидеть все, как есть, а не в искаженном свете замечательных и всегда несбыточных планов, которые строятся в начале дела.

Все получилось именно так, как он задумывал. Мать, постаревшая и сгорбившаяся, волновалась и радовалась до слез, до такой мучительной для Крюкова степени, что у него самого защипало в глазах, когда она прижалась к нему, и он стал ее неумело целовать, чувствуя боль от ее худобы и старости. «Ты по делам, Сашенька, приехал, по делам?» — непрерывно спрашивала она, и Крюков засовестился признаться, что приехал именно по делам, а не к матери, к которой ездил он редко. Они долго сидели на крыльце, и мать, желая уберечь его от тревог, все же не сдержалась, стала рассказывать, как трудно ей одной выписать и привезти уголь на зиму, как она все лето ломает спину на огороде, собирая с картофельной ботвы колорадского злого жука, как нагрели ее плотники, взявшиеся починить забор и разворовавшие вместо этого хорошие, новые доски.

Крюков не знал, куда глаза спрятать. В два дня сладил он и забор, и сарайчик поправил, и курам загородку починил. Работал он до пота, а когда переколол поленицу дров и понял, что какие-то самые большие

прорехи в разлаженном материнском хозяйстве ему удалось залатать, тогда вспомнил он про монастырь и поехал в строительную контору, где начальником трудился его одноклассник Володя Игнатов, и подбил того на поездку к меловым кручам.

«Мне и самому туда надо, а то теперь объект на моей шее», — сказал Володя, и, усевшись в зеленую «Ниву», они отправились в путь. Володиной конторе поручено было закрыть вход решетками на замках, протянуть в монастырь свет, разобрать завал перед входом, поставить где надо перильца, чтобы народ с кручи не падал. Володя прямо просился в очерк, до того он был конкретный и приятный парень, так грубовато рассуждал про свои коровники и общежития, которые строил по всему району, так хорошо, без нажима жаловался, что вот «культура теперь навалилась с этим монастырем», что Крюков задумал дать ему в очерке роль несколько более значительную, чем в жизни.

Игнатов же ругал начальство да расспрашивал, как в Москве со снабжением. Это из очерка выпадало, и Крюков подумал, что все-таки провинция не дает людям развития. Вот Володя — талантливый ведь был парень в математике, на всех олимпиадах призы срубал, а что в итоге вышло? Мать не разрешила в девятый класс пойти, отправила в училище специальность получить. Ну вот и получил, добрался аж до районного СМУ. А мог бы, наверное, в теоретиках ходить.

Крюков завел было разговор насчет всего этого, но Володя только руками замахал, бросив руль: молчи, дескать. «Нива» вильнула, после чего Игнатов сказал:

— Видел? Кому-то надо простые дела делать. Коровники поднимать, баранку вот крутить. Так что замнем.

— Замнем-то мы замнем, а все же, брат Володя, жалко.

— Не, не жалей, все в ажуре, — сказал Игнатов неопределенно.

Они оставили машину на лысой меловой горе, поросшей кое-где ковылем и стелючимися к земле бедными вечными травками и пошли по набитой тропке вниз к монастырю.

— Историко-ландшафтный заповедник, — Володя повел рукой, — вроде филиал краеведческого музея откроется. А ты говоришь: коровники, коровники! Мы тут в центре истории, между прочим.

«Центр истории» Крюков привычно выхватил из разговора, это ему годилось.

У входа в монастырь лежали выкрашенные черной краской железные решетки, опасно нависшую скалу подпирала толстая железная труба, упертая в широкий стальной лист.

— Вот, колонна была, а сейчас видишь что, — Володя показал на огромную кучу меловых крупных обломков. — Туберкулезники, пацаны, пришли и подрубили, она и рухнула. Двое в пещеру отскочили, а третьего насмерть. Чуть не полсуток лежал под камнями. Разлив воды как раз, нам никак не добраться. Пока солдаты на вертолете не прилетели, он тут и лежал. Я сам видел, как раскапывали. Вот, думаю, если он жив был сначала, а потом умер, потому что люди опоздали, вот как тогда нам жить? Но оказалось, он — сразу насмерть. Вот тут лежал.

И эта история была замечательна своим драматизмом и могучим философским смыслом. Не покушайся на храмы, на опоры... а, с другой стороны, как жалко этого мальчишку. Крюков, собственно, не рассуждал, не думал так, но на каком-то профессиональном, почти инстинктивном уровне все это уже высвечивалось, как-то ворочалось и укладывалось в

нем. И Крюков вдруг подумал, что ему надо было жить всегда здесь, дома, под одной крышей с матерью, беречь ее и что-нибудь делать полезное в родимом краю, а не искать счастья за тридевять земель.

Очнувшись от накотивших мыслей, он увидел змеящуюся по склону горы узкую траншейку, в которой лежал черный электрический кабель, уходящий в храм. Две старухи, бесстрашно балансируя на крутизне, забрасывали траншейку камнями и засыпали ее меловым щебнем, подгребая его здоровенными лопатами. Володю они хорошо знали: увидели его и поклонились, остановив работу.

— Чего вы тут мучаетесь? — спросил Володя строго. — Попадаете, кому за вас отвечать?

— Помогаем, — прошелестела одна из старух. — Мы привычные, а помогать надо, она ж зашилась тут одна.

— Люди-то где?

— В горе. И Анна Васильевна ушла в храм. Владимир Ермолаевич, куют ли новые решетки? Эти, видишь, негодны оказались.

— Куют! — сказал Володя. — По старым чертежам, по картинкам, вернее.

Крюков и Игнатов вошли в храм и увидели сосновые толстые столбы, подпирающие изрезанный трещинами потолок. На прислоненной к центральному столбу лестнице висела табличка с надписью «Лестница в небо». Под лестницей сохранялась порядочно истертая сентенция «Береги свою тайну». Крюков остановился перед ней, даже присел на корточки и погладил холодный мел.

— Ты вот что, глянь, — Володя показал ему нишу, в которой нарисована была икона. — Это археолог один нарисовал, бабки на нее молиться ходят. Я не знаю, как он — срисовал откуда или от себя изобразил.

Из ниши глядел прямо на Крюкова Николай Угодник, изображенный, похоже, малярной кистью, не тоньше той, какой красят окна, однако же во взгляде чувствовалась сила и сокрытая страсть. Крюков не стал расспрашивать, кто рисовал да зачем, он и сам понял, что археолог поступил правильно, хорошо. Когда-нибудь обдерут и эту неосвященную икону, и кому, спрашивается, легче станет на белом свете от такого бездумия и святотатства, ведь по нынешним временам даже в отчет какой-нибудь не впишешь, что, мол, «уничтожен предмет культа».

Крюков как-то напрягся весь, и было отчего: казалось, вот-вот случится невероятное — выйдет из темноты Ира, и вернется все ушедшее в невозвратную даль.

— Пойдем! — Володя шагнул в узкий переход, и Крюков пошел за ним, и вскоре они услышали голоса, но голоса удалялись от них, а когда вступили Крюков и Володя в круглый зальчик, то увидели в центре его освещенную свечой женщину в очках, с фотоаппаратом и альбомом. Крюков сразу узнал ее, она мало изменилась.

— Вот, Анна Васильевна, из Москвы человек приехал, покажите ему все тут, если время у вас есть, — попросил Володя.

— Время есть, а света нет, Владимир Ермолаевич, — ответила женщина. — Когда только подключите. Мы бы стены начали отчищать, ведь это все ужасно, эти надписи.

— Дай срок, Анна Васильевна, все сделаем как полагается. Я гарантирую.

— Мне ничего показывать не надо, — сказал внезапно для себя самого Крюков. — Я тут бывал, знаю. Видел все.

Вдруг он понял, что никакого очерка не напишет, потому что никогда не удастся ему вместить все это в очерк. Какой, к черту, очерк, пришел ведь на пепелище юности, что уж теперь суетиться да концы связывать. Надо уходить отсюда скорее.

Женщина между тем приступила к рассказу.

— Все осветим, повесим таблички, пойдут люди смотреть. Ведь едут отовсюду, интересуются. Едут в храм, а на стенах политические лозунги пишут. Имена свои бессмертные оставляют.

— Что же с этими именами делать? — спросил Крюков.

— Счистить и забыть, чтобы никто не посягал на культурное достояние, — сказал Володя убежденно. — Так, Анна Васильевна?

Она подумала и ответила, что в одном каком-нибудь незаметном месте надо оставить часть надписей нетронутыми, потому что это тоже культура, своеобразный памятник.

— Культура! — Володя слегка разгневался.

— Такие люди, что делать. Они такие на исходе двадцатого века. Одни приходят сюда работать, вот как старухи там, видели? Другие молятся. Третью неизвестно зачем. Пишут. Я думаю, вообще-то, что они таким странным образом все-таки молятся. Они хотят остаться, чтобы про них знали: был на свете раньше такой человек, вот его имя, его след. Ведь мало что остается от человека, верно?

— Пятно, — сказал Крюков.

Анна Васильевна посмотрела на него так внимательно, что Крюков подумал: узнала.

Этого не могло быть, но ощущение такое появилось, и чем дольше они разговаривали, тем сильнее становилась уверенность Крюкова, что она помнит его и, конечно, Иру.

Когда они вышли на свет, Володя еще оставался в храме, что-то вымерял там рулеткой и записывал себе в блокнотик, и Анна Васильевна просто сказала Крюкову:

— Я вас сразу узнала. Нет, сначала вы меня узнали, а я немного сомневалась. А вот про пятно сказали, тут уже окончательно...

Крюков застеснялся, неловко засмеялся:

— Да я тоже понял, что узнали.

— А... если не секрет, зачем вы приехали?

— Я после передачи думал написать что-то, помочь. Я из журнала.

— Нет, не пишите, это не нужно. И так... люди едут, знаете, что тут творится. После этой передачи началось какое-то паломничество. И так это не по-хорошему. Нет, разные люди, разные, и даже помогают, но все-таки...

Видно было, что она недоговаривает. Какое-то напряжение образовалось между ними, и, преодолевая смущение и понимая, что вопрос ее никак не должен быть отнесен к бестактности, она все же спросила:

— А вот девушка была с вами... Вы не скажете?..

Крюков ответил ей:

— Я не знаю, где она. Давно нет уже ничего.

— Да, да, все давно было, все было давно.

Крюкову показалось, что она сказала последние слова с каким-то незаметным, неосязуемым почти облегчением и вместе с тем с грустью, естественной, впрочем, для женщины, вспомнившей столь отдаленную и случайную встречу.

Больше не о чем было говорить, и тут как раз подоспел Володя. Они

попрощались с Анной Васильевной, она пошла вниз к санаторию, а Крюков и Игнатов поднялись к раскалившейся на солнце «Ниве». Крюков чувствовал легкое головокружение.

— Вот она и будет тут директором музейного филиала. Самоотверженная женщина. Ей бабки иконы завещают, Анна Васильевна, говорят, не порушит. Ты знаешь, город бросила из-за этого монастыря. Живет в деревне, снимает что-то там.

Вдруг с ненавистью к себе почувствовал Крюков, что и Анна Васильевна стала для него не просто человеком, а персонажем некоего зарождающегося рассказа, не «Храма», а другого, совершенно особого и отдельного рассказа про женщину-археолога, про ее мужа, отказавшегося ехать на эти меловые холмы, про то, как будет она оберегать и сохранять храм и постепенно становиться святой для окрестных старух. В рассказе придется ей, как и в жизни, искать дружбы со строителями, выбивать нужные материалы, писать отчеты, какие-нибудь справки. Найдет могилы отцов-основателей, те самые пятна, опубликует что-то сначала в местной газете, потом в каких-нибудь научных журналах.

Дальше представлялась уже совершенная чепуха про то, как в конце концов ее похоронят в храме.

Крюков вздохнул, огляделся на небо, на ковыли, подумал, что и при мамонтах они были такие же серебряно-серые и тонкие, а вот люди — люди меняются, много и ненужно суетятся, дергают свою душу и лезут в чужую жизнь, лезут без спроса, как вот он, например, собрался залезть в жизнь Анны Васильевны и расписать ее... а по-человечески ли все это получится и нужно ли самой Анне Васильевне, в которой многие и многие угадают прототип героини? Зряшное ведь занятие, пустое, лукавое и, видимо, бесполезное. Рассказчик!

Монахи вот храм вырубili в горе, Анна Васильевна его изучает, Володя ремонтирует, да еще коровники строит, ковыли — те растут и живут с каким-то своим смыслом, а он-то, Крюков, что он сам? Неужели вполне бесполезный человек? Ну уж нет! У него, кроме рассказов, семья, дети. Друзья в Москве, вообще не такая уж пустая и никчемная жизнь. У него, Крюкова, ответственная и необходимая людям служба. Каждый на своем месте, чего там.

Крюков вернулся с Володей в город, повозился еще по хозяйству у матери и через три дня был уже в Москве. Квартира его стояла пыльная, воздух в ней как бы иссох, и пересохла в пишущей машинке лента. Крюков походил кругами по квартире, малость помучился, произнес несколько внутренних монологов, заключавших в себе прямое самобичевание, и все же уселся за машинку, оказавшись не в силах преодолеть сильнейшее желание доверить бумаге все то, что довелось ему столь сильно и глубоко пережить в последние дни. Бледные буквы складывались в слова, но к немалому удивлению Крюкова рассказ затеялся неожиданно странный, во всяком случае, с первоначальным замыслом он имел мало общего. Вот начало этого нового рассказа.

«Меловая тропа после только что сошедших снегов, после холодных, еще не весенних, а по-настоящему зимних, пополам с крупой, дождей была скользкой. Они шли к храму от санатория, спотыкаясь и падая, и все трое кашляли, но так как холмы и долины, и голые леса за рекой, и сама река издают по весне особенный, беспорядочный шум пробуждения, то кашель их казался тихим. Ветер усиливался и сушил дорожку, там, где падали на нее прямые солнечные лучи, она совсем высохла, но еще

не дымилась над ней меловая пыль. В столовой они взяли тупые ножи, и у самого младшего из них, которого звали Малышом, болтался на боку туристский топорик, пристегнутый петелькой к брючному ремню. Накануне они праздновали день рождения Малыша, пили одеколон.

Кашляя и чихая, испытывая дурноту и явственный подъем духа, Малыш взбирался к храму по узенькой, кривой, похожей на неглубокую канаву тропе. Скоро он отстал и остановился, вытирая со лба пот.

На такую высоту он взобрался впервые. Зимой сюда хода не было, он пробовал однажды взобраться, но упал, поскользнувшись на ледяной корке, и метров десять его несло и бросало по каменному желобу, пока он не вцепился ногтями в трещину и промоины тропинки.

Он дождался весны, дня рождения — и вот теперь был здесь, высоко, глядел сверху на пустой и серый санаторный двор, исчерченный двойными полосами машинных следов, на больных, попарно расхаживающих по двору, потом на небо, беспокойно кипящее облаками, и чувствовал свое худое, усталое тело, такое же белое под одеждой, как мел горы.

Отдышавшись, он догнал товарищей, которые ждали его у входа в храм, привалившись спинами к массивной меловой колонне. Они вошли под нависшие за зиму своды и стали читать надписи. Самая ранняя из них принадлежала к 1929 году, впрочем, имени, иссеченного новыми письменами, было уже не разобрать.

«Малыш» — вырезал Малыш и вышел на свет. Товарищи его упорно трудились, один очистил порядочный кусок стены и, дурачась, карандашом наметил слова «Досрочно выполним рекомендации наших врачей», а другой начертал имя «Люда» и занимался теперь портретом Люды, обнаруживая способность «дикого» таланта творить чудеса простым столовым ножом.

Малыш обошел кругом колонну, не зная, что теперь делать. Лезть в чрево горы ему не хотелось, портретов Люды он навиделся, призывы выполнять рекомендации ему давно надоели. Что не может выздороветь — Малыш не верил. Колонна была с солнечной стороны теплее, чем с теневой. Малыш стал ее рубить, получая от этого удовольствие.

— Завалится, придурок! — крикнул ему товарищ, успевший вырезать слова «Досрочно выполним» и по ошибке изобразивший вслед за ними чудовищный по размерам восклицательный знак.

— Тысячу лет стояла, не завалилась, — Малыш сказал так и остановился.

— Вот бы Людку сюда, — помечтал в храме их общий друг.

Малыш порубил еще немного и отошел в сторону. «Не завалится, — подумал он, — еще рано».

Он прикидывал, куда обрушится глыбища мела, которую подпирала колонна, но знал, что скорее опора повиснет, как приклеенная к скале, нежели рухнет меловая громада.

Скала уже невидимо шевельнулась.

— Вот бы Людку сюда! — Людка между тем была уже рядом с ним, ее лицо проступило в иконе, которую неожиданно для себя вырезал он на белой скале.

— Завалится, придурок!

Малыш подумал: «Завалится!» — и стал рубить дальше.

Когда глыба рухнула, сминая колонну и Малыша, два его приятеля, трудившиеся под надежным сводом, увидели, что глубокая трещина расколола Людку-икону...»



Дойдя до этого места, Крюков неожиданно вырвал страницу из жалобно хрустнувшей каретки, достал папку с «Храмом» и тут же, не поднимаясь со стула, дописал некогда отложенный рассказ. Он старался держаться художественной правды, то есть снова кое-что выдумал, а финал рассказа был таким:

«Когда я вернулся домой, мать отдала мне письмо от Иры. Письмо лежало с зимы, мать про него забыла и вспомнила только теперь. Ира писала, что у нее двое детей, она любит мужа и он ее не бьет».

Про то, что он виделся с Ирой, Крюков решил не писать. Он подумал с тоской, что в это никто не поверит, да и литература, по его убеждению, должна отличаться от жизни.

## МАЛЬЧИК

### I

Утро, ветер. В доме не выбелены стены, пол еще не крашен, пахнет палубой, окна не застеклены. Стекло стоит в решетчатом ящике в кудрях стружек, как квадрат зеленой воды. За окном шумят тополя, в проводах залихватски свистит нездешний ветер. Десятилетний мальчик проснулся. Он лежит на маленькой подушке, на старом полосатом матраце, набитом соломой. У мальчика закрыты еще глаза, которые видят блистающую гладь живого океана. Мальчик медленно поворачивает голову — судно налетает на зеленую светящуюся гору и, опустившись белой пеной, облившись соленой свежей водой, проходит по долине между двумя холмами, перевитыми пенным шарфом. На подоконник ветром нанесло мысок желтого песка, и ветер бросает песчинки на грудь мальчика, на его тонкие руки.

Пружина разжимается не так быстро, как он встал. Животом на подоконник — песчинки прилипли к коже, ноги лягушачьим знаком улетают вверх, повис на руках — в запястьях натянулись жилки, и тукнул пятками по земле. Она твердая оттого, что в любом месте тут мел, тут был океан. Если стоять на его дне, увидишь кругом увеличенных рыб и медуз, над головой плещет собранный в складки воли свет. Постоишь, потом толкнешься, ногами, руки сложишь над головой и легко снизу скользнешь в волны, и выскочишь из них, и боком упадешь в них.

Земля утром и холодная, и теплая. В тени больших тополей она еще спит, а на солнце уже согрелась, проснулась и незаметно для глаз шевелится и потягивается от удовольствия. Мальчик берет два ведра и бежит к колодцу. Гремит белая цепь, на ней капли воды. В них сила, их надо слизнуть, подержать на языке — будет вкус железа, вкус гарпуна. В двух ведрах — два океана, спасение от жажды, двадцать литров пресной холодной воды, земной влаги, воды жизни. Двадцать литров на весь караван, идущий по холмам песков. От каждого следа, видит мальчик, начинается песчаное движение, на сотни километров вокруг осыпаются за песчинкой песчинка миллиарды песчинок, и вот уже язык песчаного движения дотянулся до широких губ океанского прилива.

В каждую лунку под каждую яблоню надо лить по четыре ведра воды. Вода вчерашней вечерней поливки давно впиталась, каждая лунка — как дно высохшего моря, соринки лежат затонувшими кораблями. Нет, тут кратер: ствол коричневым столбом взрыва устремился вверх, зеленой шапкой поднялся дым вулкана, яблоки — красные вулканические бомбы.

Если нести полные ведра, от дужек на ладонях остаются красные полированные следы.

Ведро, налитые до краев, надо нести так, чтобы вода держалась спокойно. Этому легко выучиться. Мальчик носит ведра быстро, и вода в них не шевелится. Но если нарочно захочешь нести ведра и не плескать, вода злится и мстит. Она выпрыгивает из ведра и холодным языком лижет ногу. На босую ступню липнет крупный сырой песок. Один раз мальчик бежал по кромке воды, по тугому и твердому, сырому песку, прибитому вялыми волнами, и упал. Он проехал коленом по песку, и — предательство! — песок наждаком содрал кожу. Мальчик лег на живот, прижался головой к земле и увидел, что песок — камень и скалы. Бескрайнее скалистое плато, район предательства, место измены.

Восемь ведер и восемь ведер — получается шестнадцать ведер.

У колодца дядя Саня, веселый и щурящийся, лохматый. И жалко, что без бороды. Дядя Саня щурится на солнце и широко зевает. У него два больших ведра, а в кармане клетчатой рубахи — новая пачка «Беломорканала». Дядя Саня достает ведро воды и пьет через край. Вода качнулась и налилась в карман.

И они смеются и наперегонки носят воду, потому что деревьям надо попить. В кармане у дяди Толика смятая пачка «Севера», а «Беломорканал» сушится на лавочке. Целое утро мальчик растет. Он бежит в дом и кричит: «Мам, померь, как я вырос!» — и прислоняется к притолоке двери. За ночь он обыкновенно вырастает на спичечный коробок. Мать прикладывает ладонь к его макушке и видит, что от вчерашней метки он и впрямь вырос на целый спичечный коробок. Правда!

Рано утром ведра с колодезной водой не тяжелы, попробуйте, кому охота долго жить. Вода может испугаться, хлынет из ведра, обольет ногу. Она не облила, она полила вас, как яблоню, живая вода, которую мальчик носит каждое утро, когда он думает не известно о чем, о чем надо думать утром каждому человеку. И тем, которые растут кузнечиковыми прыжками, и тем, которые уже гнутся к земле.

Воду под яблоню надо лить не струей, чтобы она не сверлила между корней, и не волной, чтобы не выплескивалась даром. Воду надо лить, широко ведя ведром вокруг ствола, тогда вода прильнет к земле и будет входить в нее, а воздух пузырьками пробулькивает наружу, чтобы соединиться со всем большим воздухом.

Мальчик принес еще два ведра и побежал к плетню, напряг живот и смотрел, как блестя струйка, дугой перелетая через низкий плетень во двор к дяде Сане. Жена дяди Сани захотела от мыслей и пошла к матери мальчика попросить соли.

— Вот не люблю у молока стоять, когда закипает, — говорит мать жене дяди Сани. — Закипает, закипает — ничего, отвернешься — оно прыг из кастрюли.

— Дай мне соли горстку, а то мой соленое любит.

— На, Маруся, — мать подала целую пачку.

— А я тебе сейчас свежего хлеба принесу.

Сбегала домой и принесла круглую буханку и отдельно бублик для мальчика.

И мальчик ел бублик и пил молоко из кувшина, а потом поел еще печенья с хлебом. Он все ел с хлебом, потому что любил хлеб.

А бублик называл галетой, а сухари беконом.

## II

Приплыл на парусном корабле Васька. Корабль был чайный клипер, матросы жили в порту бродягами. Мальчик и Васька залезли на крышу дома, где между стропилами крутился ветер и шевелились стружки. Стропила были тяжелые и толстые, как мачты, а поперечные доски косые, как снасти. Верфь.

Васька залез по стропиле на самый конек, смотрел в бинокль, где острова, где пираты.

— На вот тебе меч, — защищай свою честь, — сказал плотник мальчику и дал сосновый римский меч.

— А у меня вот что! — крикнул Васька и показал хищную финку.

— И где ж ты ее взял? — спросил плотник.

— Сам сделал!

— Поменяемся на что-нибудь?

— Ни за что!

— Васька, дьявол, ты ножик брал? — закричала через дорогу тетя Вера.

— Не-а!

— Бреешь, паразит!

— Не-а!

— Выдеру поросенка тебя!

— Не-а!

Поплыли на клипере по огородам, разрубая водоросли римским мечом, и приплыли в бухту Святой Надежды.

— Ой-ой, корाप, — сказал какой-то сухопутный ребенок.

— Эх ты, сопля, — крикнул Васька, — не корабль, а клипер. Закаляйся, в рейс возьму.

— Как мне закаляться?

— Садись в ручей!

Сопливый послушно сел в родниковый студеный ручей. Когда корабль уплыл, он перелез в теплую грязь и прошептал:

— Я и тут закалюся.

Корабль плыл рядом с лодкой, паруса выгибал свежий ветер, на мачте реял славный стяг. «Копия настоящего», — думал Васька.

Он видел, что центр тяжести судна смещен к носу, от этого оно загребают волну. Надо будет утяжелить корму гайкой или свинцом. Мальчик вместе с судном отчаянно боролся против шторма и облизывал соленые губы, разглядывая за гребнями волн спасительный огонь маяка. Бешеная волна смыла рулевого, теперь клипер несся прямо на скалы. «СОС», — закричал штурман, и за борт упала бутылка с запиской — координаты и слова прощания. В последний момент клипер скользнул между двух скал и оказался в маленькой, защищенной от волн бухточке.

— Испытаем? — спросил Васька.

Они поставили лодку на якорь, Васька взял в зубы финку, а в руки два красных кирпича и нырнул вниз головой. На дне он бросил кирпичи и стал оглядываться, ища спрута или акулу.

Потом мальчик оказался в воде. Акул не было, а что кирпичи можно бросить, он забыл. Кирпичи были привязаны. Он потащил их наверх, извиваясь и слыша звон в ушах. И только когда глотнул воздуха, тогда отпустил кирпичи. Поставили все паруса и через десять дней пришли к родным, забытым уже берегам. На берегу целовали родную землю и по

привычке покачивались. Сопливы́й дитенок сидел в ледяном ручье — это была толпа народа.

— Вперед, о, оруженосец!

И толпа народа побежала за всадниками.

### III

Мальчик пришел домой, в ту комнату в недостроенном доме, которая звалась кубриком и где он спал после долгой вахты, и, взяв обрезок доски, начал вырезать из него пистолет. Он сделал ножовкой поперечные пропилы для ручки и курка, поставил доску на торец и ножом, вдоль волокна, сколол подпиленные брусочки. Спил был шершавым, мальчик затер его шкуркой. Полез к плотникам на крышу, взял дрель — засверлить дуло у пистолета. Плотники, начиная от карниза, крыли дом шифером. Дырки для гвоздей просверливали дрелью, потому что гвоздь раскалывает шифер, а листы клали внахлест, чтобы ураганный ветер не сорвал.

— Ну-ка, ну-ка, — сказал плотник, взял у мальчика пистолет, усмехнулся. — Что-то он у тебя не очень.

Зажал рубанок между колен и с усилием водил по нему боками пистолета — строгал. Бока сделались гладкие, как сталь.

— Теперь так, — плотник стамеской выбрал гнездо для пальца, — ну-ка, попробуй. — Вот, видишь, как руке ловко. А теперь так, — плотник послунил химический карандаш и с двух сторон на рукоятке нарисовал узор. — Есть у тебя увеличительное стекло?

— Есть.

— Вот ты выжги эти узоры.

Мальчик выжигал узоры увеличительным стеклом. Желтое дерево ярко сверкало в точке света и вдруг чернело, прорастая синим стебельком дыма. В дыму обозначался острый световой конус, упертый в карандашную линию.

Мальчик перевел вершину конуса на большой палец и ничего не почувствовал, а потом сразу стало остро больно, и рука сама отдернулась — ее обожгло при выстреле. Должно быть, пороху в мушкете было больше, чем требуется для хорошей пальбы.

— Сбегай в магазин, хлеб привезли, — сказала мать. — Две буханки бери.

— Ладно, я халвы куплю?

— Ладно. На улице только не ешь.

В магазине очередь. Жарко. Мальчик дошел вдоль прилавка до весов, протянул продавщице рубль.

— Две буханки хлеба и сто грамм халвы.

Продавщица очень красивая. Очень. Хлеб положил в сетку, а халву в синей промаслившейся бумажке нес в руке.

Недалеко от магазина к нему кинулись две тетки.

— Ты сколько продавщице денег дал?

— Рубль, — мальчик растерялся.

— А ну-ка, миленький, покажи сдачу.

Мальчик разжал ладонь, тетки, трогая пальцами деньги, пересчитали их.

— Ишь, ты, — сказала тетка помоложе. — Не обсчитала.

— Халвы недовесила, — мудро заметила другая, похожая на селедку.

А в магазине красивая продавщица.

Мальчик не стал есть халву, чтобы мать тоже не подумала, что продавщица недовесила.

— Отнеси тете Марусе, скажи спасибо, — мать подала мальчику буханку хлеба. — Скажи, что круглого не было, весь разобрали.

Мальчик пошел к дяде Сане отдать хлеб, но в доме никого не было. Ставни были закрыты, и в столбах и стенах света летали пылинки. Мальчик посмотрел на них, поймал солнце в глаз и вышел на улицу. Он захотел есть и понюхал хлеб. И тогда захотел есть весь — от головы до пяток. Тетя Маруся была в сарае.

— Ой, да не надо, — сказала она и взяла хлеб. Хлебом пахло на весь мир. Дома мальчик лежал на матрасе и ел хлеб с помидорами, выбирая те, которые только-только забурели. И ел хлеб без помидоров, просто так. Ел — расти надо было.

#### IV

В бочке, которая стояла во дворе, кисла вода. Мальчик сорвал желтый семенной огурец, пальцем толкнул его в глубину воды. В мягкой черноте сперва зазеленело овальное пятно, потом ясно, как в увеличительное стекло, стало видно, как, покачиваясь, раздвигая воду круглыми бочками, медленно, будто подводная лодка, всплывает огурец. Мальчик сунул голову в бочку и задержал дыхание. Вода была теплая и вся пробитая столбами света. Мальчик посмотрел в воде на свою светящуюся руку, обсыпанную светящимися пузырьками воздуха, пошевелил пальцами, и пузырьки, толкаясь, улетели вверх. Мальчик выдохнул весь воздух, и серебряно-зеленые шары прокатились по его глазам и щекам. Он долго держал голову в воде и вот, закрыв глаза, увидел быстрое движение серебряных крестиков и кругов, сразу сменившееся вспышками и наплывами света, и потом в ушах зазвенело, и он сжал зубы, чтобы не раскрыть рта, и почувствовал горячую сухость и давление в груди. Он вырвал голову из воды — свет был резко-голубой, а воздух необычно густой: мальчик уловил все части, смешавшиеся в его составе: пахло сырой землей сада, едкая струйка вилась из курятника, точили мед сосновые доски, а от фундамента дома шел сухой и резкий запах цемента.

Мальчик плеснул рукой из бочки, вода в небе распалась и потом соединилась в шарики, и они, вобрав в себя свет, пролетели и упали на землю, и мальчик увидел, как шарики подняли маленькие клубы седой пыли.

Мальчик взял меч и пистолет, и еще щит — набухшую крышку от кадушки; ручка была прибита заблаговременно. За домами на пустыре бульдозеры разрыли длинную широкую яму — котлован. На его дне стояло озеро, вокруг вились тропы. Перед боем был последний пир: халва. Хлеб Васька спрятал за пазуху — он будет еще нужен раненым и обездоленным. Пили целебную воду озера и ждали презренных врагов — похитителей сокровищ, посягнувших на Васькин тайник. В тайнике в сарае были спрятаны карты и именное оружие — сабли из лучшей дамасской стали. И вот их нет, а оставлена только записка: «Смерть! Кто посмеет прийти в котлован, тот пожалеет об этом. Ни шагу с места! Смерть!» Нарисован пиратский флаг с черепом. Это все была проделка двух братьев Аникиных, коварных разбойников.

Один бой с ними уже был — кидались комками глины, потом слепились драться врукопашную и победили врага, заставили есть землю. По-

том все вместе лечились целебной водой озера: пили ее и омывали ею раны. Установили нерушимый мир и курили трубку мира...

Мальчик радовался, что больше не надо драться. Драться все-таки больно. Лучше было странствовать, познавать другие земли. Вот он не хотел драться, но вчера вечером был предательский удар в спину: один Аникин подставил ногу, а второй толкнул мальчика. Они на нем сидели и драли за уши, и грызли, и кричали: «Нет прощения!»

И вот на задах съезжают по стене котлована братья Аникины. Вместо мечей у них палки. Римский меч мальчика короткий — не достает, и один Аникин тычет и тычет палкой, как копьём. Потом меч трещит, и мальчик вдруг падает, а в голове долгий звон. Он видит, как Аникины убегают и трусливо оглядываются, а Васька, подпрыгивая на ходу, дает им пинков.

«Что я матери скажу?» — думает мальчик. Голова кружится, кровь он оттирает рукой, кровь засыхает на запястье.

— Что мне матери говорить? — спрашивает мальчик Ваську.

— Ты к ней другим боком повернись, она не заметит.

— Заметит. Скажу — упал...

— Что, опять скажешь, что упал? — спрашивает мать.

— Упал на дороге, еще когда в магазине бегал, — мальчик потихоньку отходит от матери.

— Поди сюда. Вот не ври, не ври! — и мать крутит ему ухо. — Говори — дрался с Аникиными?

— Упал.

— Вот не ври матери, не ври!

— Да что ж оно, железное, что ли? — кричит мальчик и вырывается.

— А я, по-твоему, железная, да? Уйдет гулять, а приходит в крови.

Что ж ты, обормот такой, мать мучишь? Иди ешь.

Мать мажет ему щеку йодом, а ухо болит сильнее щеки: ухо за одни сутки два раза драли.

После обеда плотник на крыше смеялся:

— Что, брат, тебе не везет в жизни? Дерут тебя и дерут. Надо силу копить для таких случаев.

— Меч был короткий, а то бы я не поддался.

— А ты сделай длинный. На вот, — и подает обрезок доски. — Сможешь?

— Еще как!

Пришел Васька, принес хлеб для раненого.

— Ешь.

— На и тебе кусочек. В хлебе вся сила.

Сидят на крыше, свесив ноги, и едят хлеб, в нем вся сила. Сила вот как нужна: без нее меча не выкуешь, парус не поднимешь, под водой не усидишь. И мальчик говорит:

— Надо писать закон.

— Какой закон? — спрашивает Васька.

— Закон чести и справедливости.

— Чего же мы напишем?

— В бою не бить по голове, и крови не пускать, и до конца всегда, везде свободу защищать. Видишь, я уже придумал. Написать только надо красиво и закопать, чтоб никто не нашел.

— Глянь, как складно. Небось, ты прочитал где-нибудь.

— Нет, я сам придумал, — говорит мальчик. — Еще когда в котловане лежал.

— Вот так так! Ты про Аникиных придумай.

— Сейчас. Сейчас. От наших мест и до Москвы Аникиных все знают. Они противны, злы, но мы всегда их побеждаем.

Мальчик думает: «У меня рука тверда, и готов я к бою. Всех, кто чистен, смел, силен, поведу с собою». Так он подумал, но вслух ничего не сказал — смущался. Сидел, смотрел вниз.

— Давай самолеты пускать, — говорит мальчик.

Приносит тетрадку и делает самолеты. Васька сбегал домой и притащил деревянный истребитель с винтом, с резинкой. Накрутил винт, самолет качнул крылом и, жужжа, полетел, пролетел над улицей, упал за дорогой.

Побежали спасать самолет. Мальчик внизу лег на землю среди помидорных кустов, сильно сощурил глаза: над ним шумели джунгли.

Он понял, почему проиграл битву в котловане: щит его, пахнущий солеными огурцами, был тяжел от воды. С таким щитом не навоеешь. Так он думал, но потом решил, что битва все-таки не проиграна.

И надвигалась гроза. Туча заходила с запада, тяжелой синей стеной накрывала землю. Под стеной кудрявились мелкие белые молнии. Все затихло, ветер остановился. Мать волновалась, быстро ходила по двору, снимала с веревки наволочки и пододеяльники. Сама себе говорила про петухов:

— До трех часов смирные птицы, а с трех дерутся — в загородку не заходи. До трех часов смирные, а с трех драться начинают. Вот кровопийцы!

Мальчик бежал по двору. Толстая стена наваливалась уже на дом, молнии трещали сухо, и воздух очистился. Полил дождь — зашевелились, распрямляясь, кусты помидоров, и затряслись листья на яблонях. Вдруг что-то разорвалось и загрохотало над головой, потом, громохвая и подпрыгивая, покатилося по крышам. Вдруг все вокруг осветилось белым, и еще раз, в тысячу раз громче, загрохотало вокруг. Ливнем расчесало воздух, от стегающей воды закипели лужи, пузыри, вспыхивая и пропадая, неслись по руслам быстрых мутных ручьев.

Мальчик, облепленный рубахой и штанами, закрыл глаза, по лицу бежала вода. Он вытер глаза рукой и почувствовал сырой запах рубахи.

— Домой! Домой! — закричала мать из дверей. Выскочила на середину двора, за руку потащила мальчика в дом. Мальчик упирался ногами в песок.

В доме мать, плотник и мальчик сидят на полу. На подоконнике накопилась вода, постояла на краю и, будто указывая на что-то, скользнула струйкой вниз. Закапало с потолка, мать подставила ведра, от капель они зазвенели на разные голоса.

— Вот покроем, не будет тогда течь, — сказал плотник.

— К ноябрьским бы в дом войти, — вздохнула мать. — Все жилочки повиытянула, пока строилась.

— Отец-то теперь уж, видно, не помощник.

— Болеет батя.

Говорят про деда, он спит немного днем, а ночью не спит.

— Дядя Павлик, а шифер долго стоит? — спрашивает мальчик.

— Долго. Шифер на крыше лучше железа — его красить не надо.

— Из чего он, шифер?

— Должно быть, химия, — говорит мать.

— Нет, натуральный, — возражает плотник. — В нем и тряпки есть.

— Какие тряпки?

— Разные. От старых пиджаков.  
— Дом в пиджаке, — говорит мальчик.  
Тихо гремит и ворчит гром.  
— Проехал Илья-пророк, теперь гряды размыло, надо канавы поправить, — встает мать.  
— Какой Илья, мам? Я ж рассказывал тебе: электричество! Разряд в атмосфере.  
— Да я уж забыла, о чем ты рассказывал. А мамаша-покойница все, бывало, крестилась, когда гром гремел.  
— Нету никакого Ильи, мам.  
— А кто ж такие страсти напускает? На все его господня воля.  
— Бога нет, — говорит мальчик, — есть одна природа. Мы — природа, гром — природа, помидоры — природа.  
— Мы — люди, мы цари природы, — замечает мать поучительно.  
— Мы, выходит, выше бога, — смеется плотник. Он лежит, рубаха под мышками темная от пота.  
— Не знаю, вы люди грамотные, вы и думайте, кто кого выше. А я так доживу.  
— Ты, Оля, не так, ты царицей будешь жить, — улыбается плотник. — В таком доме можно жить, умирать не надо. Вот войдешь к ноябрьским, по холодку, печь затопишь, блинов напечешь. И сиди, смотри в окно.  
— Когда только этот денек настанет.  
— Обязательно настанет, Ольга Андреевна. Блинов напечешь, радио включишь, сиди слушай демонстрацию.  
— Куплю я радиолу-комбайн. Заведу пластинку и спляшу, пускай люди позавидуют: без мужика, с сыновьями Ольга построилась.  
— Нет, тут в самый раз гармонист пригодится, — говорит плотник. — Посадить его в красный угол: играй «Барыню», грешная душа, допьяна напою.  
— Я в школе барабан возьму, — сказал мальчик. — Побарабаню как следует.

## V

Дождь уже кончился. Надо идти лужи мерить. Вода в лужах теплая, ее земля греет.

— Сегодня можно не поливать, — говорит мать.  
Она прочищает канавы, а мальчик по полведра носит грязь в конец огорода, где песок. И песок — это значит пустыня.  
— Пойдем в мутной воде рыбу ловить, — предлагает Васька.  
— Ладно пойду, мам? — спрашивает мальчик.  
— Через полчаса.

Как раз через полчаса по улице идут два мужика — Смирнов и Большов. Они несут бредень, хотят рыбу ловить. За ними вышагивает Васька, за Васькой мальчик.

— Ты, Большов, лезь по глубине, а я ближе к берегу буду волочь, — командует Смирнов.

Большов тащит бредень по глубине, под носом у него пузыри. Смирнов волокет свой край вдоль берега, захватывая крылом бредня щучьи травы.

Вытаскивают бредень на пологое место. Выбирают рыбу, она прыгает в мешке у Васьки.



— Кинь травы в мешок, чтоб рыба не заснула, — говорит Смирнов.

— Лезь, Смирнов, теперь ты по глубине.

Смирнов по глубине может только плыть, пузырей пускает еще больше, чем Большой.

— Щуку бы залучить. Щучару! — мечтает Большой.

— Щука с разгона в сетку бьет. Вдавливает — сразу почувешь, — обещает Смирнов.

Мальчик подождал две минуты, нырнул неуловимой щукой, дернул сетку как следует и, напрягаясь, унырнул к берегу.

— Поднимай! — орет Большой.

— Поднимай! — орет Смирнов.

— Выводи на берег!

— Выводи!

И сверху матом. И оба трепещут от радости: только что щучара рванула. Мальчик ждет. Вытаскивают бредень на берег — в кошельке дубовым колом лежит большая щука. Смирнов кинулся на нее, хочет за глаза схватить. Щуке больно: глаза ее уже не обволакивает нежная вода, на них что-то давит и обдирает их. И щука уже в горячем сухом мешке.

— Полезли скорей, — распалился Большой от удачи. И вот тащит бредень, как катер, сзади пузыри дорожкой.

— Тише, ребята, — говорит пастух с берега. Стоит на берегу, телогрейку на кусты бросил, чтоб сохла. — Тише, тут сом лежит.

— Где сом? — спрашивает Каюта.

— Вот тут, — пастух показывает кнутом. — Как раз на этом месте бредень зацепился.

— Корягу поймали, как бы бредень не развалить, — говорит Большой.

— Вынайте, ребята, не спешите, он спит.

В трещащем от тяжести кошельке лежит беззвучной шпалой здоровенный сом. Отплавался сом. Вот он лежал в своей яме, вот плавал и помнил то время, когда луна была еще теплой и грела по ночам воду. А теперь его вынули из воды, самого старого сома, и он не понимает, что он отплавался, отнырялся. Мальчик понимает.

«Отпусти сома, дядя Большой! Отпусти сома, дядя Смирнов!» — думает он.

— Вон там еще один спит, — показывает пастух. Мальчик смотрит на него с ужасом.

Заводят бредень под второго сома. Завели — бредень ни с места.

— Волоки! — кричит Смирнов.

Волокут и ругаются. Выволокли черную рогатую корягу, а бредень порвали.

И пастуха нигде уже нет.

Мальчик замерз, трясется.

Дома рыбу вывалили в корыто, разделили веслом на две части. Мальчик повернулся к корыту спиной.

— Кому? — спрашивает Смирнов и показывает на одну часть.

— Большову, — говорит мальчик.

— А это, значит, мне, — Смирнов шевелит веслом вторую часть.

— А вот это кому? — он садится на корточки перед вторым корытом, в котором лежит сом. Сом еще живой. Смирнов дергает его за усы.

— Кому ты, сомяра усатый, достался, — спрашивает Смирнов.

— Не дергай его, — просит мальчик.

— А ты сам дергани. Дергани, он не укусит!

— Не хочу!

Рыбу продали, деньги пропили. Смирнов и Большов ходят пьяные, рассказывают, как сом на полтора центнера весом пробил бредень.

— Я и чинить не буду, — говорит Большов. — Приходи смотри, кто хочет. Полтора центнера!

Мать нажарила рыбы, мальчик ест и нарочно говорит:

— Я такую рыбу выпускаю, когда удочкой ловлю.

— Ешь, ешь, — улыбается мать.

— И сома я бы выпустил. Он один такой старый на всю реку был.

— Ешь, ешь!

Пошел к Ваське.

— Ты бы сома выпустил?

— Выпустил бы. Теперь не выпустишь.

— Ты лей воду не в кадушку, — говорит плотник. — Лей ее в яму с известью, известь надо гасить. Гляди, не упади в яму, а то облезешь.

В яму так в яму. Известь так известь. Гасить так гасить.

Два ведра и два ведра — получается четыре ведра. Четыре ведра и четыре ведра — получается восемь ведер.

Может ли в колодце кончиться вода?

Мальчик ложится животом на сруб и смотрит в колодец. Посреди черной воды — квадрат синей воды, квадрат синего неба. Почти посередине синего квадрата — голова мальчика. Мальчики смотрят друг на друга — оба видят небо. Мальчик на земле долго говорит: а!

И колодец сыро гудит: а-а-ам.

А разобьется ли ведро о воду? Надо быстрее крутнуть рукоятку, тогда цепь разматается быстро и ведро упадет. Может разбиться.

Ведро падает. Не разбивается.

А если кошка упадет в известь!

Мальчик бежит с ведром. Обод ведра бьет его по ноге.

— Хватит воды? — кричит мальчик.

— Хватит, — отвечает плотник.

Мальчик тащит старые двери от сарая и закрывает яму. Одних дверей мало. Тогда он тащит обрезки досок и кусок опалубки от фундамента. Теперь — хватит. Мальчик стоит у края ямы с известью. Правое плечо у него выше левого.

— Поди-ка сюда, — говорит мальчику дед. Он сидит на коленях на краю картофельной грядки. Он решил выкопать куст скороспелой картошки.

— Помоги подняться, — говорит дед.

Сил у него нет. Мальчик подставляет плечо, дед тяжело опирается на него и на лопату. Дед встает.

— Нетути сил у меня, вот до чего дожил.

У него зеленоватая борода. У него большой лоб и мутно-синие мудрые глаза. Пальцы на руках он разогнуть не может.

— До чего дожил.

— Бать, есть будешь? — спрашивает мать.

— Чаю поставь. Нет, и чаю не надо.

— Поешь, бать.

— Наелся за свою жизнь. От горбушки мякушки на день хватает.

— Не возился бы ты на грядках. Мне бабы в глаза ширяют: деду восемьдесят годов, а он по огороду ползает. Нынче вот сыро, а ты на земле сидел.

Дед устроился на порожке крыльца и не чувствует, что по руке у него бродит пчела.

— Через две недели можно скороспелку копать, — говорит он. — Моя лопата цела? Я ее хочу наточить.

— Как хочешь, батя, хочешь обижайся, хочешь нет, а я тебя на огород не пущу. Бабы глаза проширяли.

— Ихними словами подотришь.

— Дед Андрей, а тебе правда восемьдесят годов? — спрашивает плотник.

— Восемьдесят и один год. Я в кампании против германца не был в последний раз. Ну-ка, отведи меня в сарай, — обращается дед к мальчику.

Дед опирается на правое приподнятое плечо мальчика. Плечо выправляется. Они медленно идут в сарай.

— Достань мою лопату из-под кровати, — говорит дед. Мальчик достает лопату. Она острая.

— Достань надпилек из-под застрехи.

Мальчик достает напильник.

Дед точит лопату, плохо видя серый напильник. Руки сами все знают, можно и без глаз.

— Умеешь точить?

— Умею, — говорит мальчик.

— Ну-ка, как ты напильник держишь? Конец его не обхватывай, держи ладонь сверху.

— Умею, — повторяет мальчик.

— Ну, точи, внук мой. Точи не спеша. Точи.

Вот они точат лопату. Потому что через две недели копать картошку.

Лопата уже острая.

— Ну-ка дай. — Дед берет лопату, водит большим пальцем по острию. — Хватит стачивать, — говорит он. — Экономить надо.

— Чего экономить?

— Железо. Подай косу.

Мальчик осторожно подает острую косу.

— Острая коса, — говорит дед.

— Косить только ей нечего.

— Будет чего. Еще, милый, весна будет. Травостой грядет. Знаешь, как раньше косили?

— Знаю. Было как будто праздник.

— Нет. Обыкновенно работали — до пота. Между рекой и озером заливной луг поспевал. Вот, бывало, начнем косить, а мужичака у нас был — на всю деревню один такой, а то и на уезд — как столб здоровый, как он запое! Луг верст на семь, а все слышать.

— Какие же он песни пел?

Дед смотрит на мальчика, трогает свою болячку.

— Я уж забыл. А голос хороший был.

— А что ж ты говоришь, что обыкновенно работали?

— А как же? По-твоему, что — как кто запел, так и праздник теперь?

Вон радио на столбе день-деньской играет, так что же ты думаешь — каждый день праздник?

— То радио.

Дед опирается на плечо мальчика. Они идут на лавку. Сидят на лавке. Недалеко на столбе играет радио.

— Весной, на Троицу, — говорит дед, — принеси мне зеленой травки.

— Принесу. Я по всему дому рассыплю. Мне нравится.

— Принеси, оплети крест травой. Дверцу в ограде настезь отвори.

— Ты про что? Ты опять про смерть?

— Нет, внучек, я не про смерть, а я про Троицу. Когда тут праздник подойдет, то и у меня там пусть будет. Я услышу. Ты не забудь травы принести.

Мальчик смотрит на траву. В конце лета она стала горячей и пыльной. Пыль смыл дождь. Но трава уже высохла.

— Ты не забудь травы принести.

— Я не забуду. Что ты мне не веришь!

— Верю я тебе. А вот ты своей головой думаешь, что я не помру к весне. Ты думаешь: брешет дед.

— Что ты меня мучаешь? — спрашивает мальчик. — Как я тебе скажу: верю, что ты умрешь? Я не верю.

— Ты не забудь, принеси, — говорит дед. Глаза у него синие, и уже краски жизни поблекли в его глазах. Все, кроме солнца, он видит бледным и размытым. Уже ноги свои он не отличает от земли, на которой стоит. И рук своих он почти не видит, потому что он начал сливаться уже с землей и воздухом.

— Не забудь...

Мальчик несет в синей банке воду. Он смотрит через стекло и воду — мир сжался и расширился, сверкает яркими полосами и красками.

Дед пьет воду из банки. Капли блестят в бороде. Так утром капли блестят на траве.

Дед опирается на плечо мальчика, и они входят в дом. Дед ложится на матрац, набитый сеном, ноги его протянулись к порогу.

— Бать, ты ложись ногами к стене, — говорит мать, и в глазах у нее блестят слезы. — А то просквозит.

Но дед уже спит. Тогда мальчик закрывает дверь.

## VI

— Ты сливу поливал? — спрашивает мать.

За домом, отдельно от яблонь, растет слива. На ней висят покрытые сизым пепельным налетом сливы. Они еще твердые, надо много дней поить дерево, чтобы живая сладкая вода дошла по стволу, веткам и черенкам к мякоти.

— Я не забываю поливать. Она же одна. А когда мы стеклиться будем? Скажи плотнику, чтобы сегодня стеклиться.

— Зачем сегодня?

— Деду холодно уже.

Они пошли посмотреть сливу.

— Сорвать одну? — спрашивает мать. Она срывает сливу, подает мальчику. И мальчик откусывает зеленый бочок, а сизый, поспевающий, оставляет матери.

— Раньше на ней сливы не росли. Я ее сажала, когда ты совсем маленький был.

— Я помню когда.

— Не можешь ты помнить.

— А вот я помню. Я вот так вставал, — мальчик встает на цыпочки, — и видел на столе пышки.

— Под стол пешком ходил. Придумываешь все. Ты говори: «ш». А то ты все шшекаешь. Скажи — «ш».

— Шшш.

— Шибко любишь пышки, вот ты и пшекаешь.

— Сливы еще больше люблю.

За плетнем сидят братья Аникины, всунули носы в плетень.

— Мам, — шепчет мальчик, — вон Аникины за плетнем.

— Оборвете сливы, — говорит мать, — к отцу отведу.

— Аникины молча убегают.

— Излупили они тебя — признайся матери.

— Я если разозлюсь, то со мной никто не справится. Я только разозлиться не могу.

— Не надо, сынок. И так зла хватает на свете.

— Добра тоже много, — говорит мальчик.

Мальчик пошел в дом, сел на табуретку и стал рисовать деда. Вот дед на лугу с косой. Вот косари и трава. По другой стороне луга идет дождь. По этой — навстречу дождю — идет дед. Дед дождя не боится, разводит тучи руками. И поет так громко, что тучи качаются, как ведра, и не могут удержать дождь.

— Не похоже, — говорит Васька. Он пришел с копьём, наконечник сделан из консервной банки. — Вот, гляди, как надо.

И рисует деда. На листе бумаги спит старый дед. Очень похоже.

— Так неинтересно. Так и все спят, — мальчик замалевывает доски пола на рисунке и рисует траву. — Видишь, дед на лугу спит.

— Какой это луг?

— Такой, где теперь огороды. Раньше дед на покосе там для всех пел.

— Что, он артистом тогда был, что ли?

— Нет. Он от легкости и силы пел.

— Я сильный, а не пою на огороде, — говорит Васька.

— То огород, а то луг. Сравнил!

— Ты Коле письмо напиши, — вздыхает мать. — Он волнуется там за нас.

## VII

И мальчик пишет брату письмо. Он пишет, что время идет быстро, а как в армии? Ты ушел в армию весной, пишет мальчик, а теперь август, но пока очень тепло. А как там, где ты служишь? Ты не скучай в Германии. Скоро дом достроится. А как называется танк, на котором ты служишь? Пришли фотокарточку. Все здоровы, чего и тебе желаем. Привези мне из армии хоть один патрон. Сильно скучаю по тебе и жду тебя в отпуск.

Дорогой сынок, приписывает мать, каждый божий день думаю про тебя, как ты там, не болеешь? Все время кручусь по дому, все стараюсь наладить дела, слава Богу, все вроде в порядке. Сильно захворал дедушка, рак у него не заживает. У меня вся душа изболелась за него, днем наломаюсь по хозяйству, а ночушку напролет не могу уснуть через слезы. Как твои дела, сыночек? Слушайся командиров, во всем подчиняйся, ведь там не то, что на работе, выпивать нельзя. Поглядеть бы на тебя хотя бы одну минуточку, увидеть твой лик, и я бы тогда была спокойна. Ждем тебя в отпуск. Гляди там, будь потише со своим оружием. В конверт кладу пятерку денег, а к седьмому ноябрю пришлю посылку. До свидания, дорогой мой сынок.

— Купи на почте конверт, адрес спишешь с Колиного письма. Запечатай, а в ящик не бросай, отдай в окошко, — говорит мать.

— Ладно.

Пошли с Васькой на почту. Еще пошел Ленька, меньший двоюродный брат мальчика.

— Письмо в армию в действующую, пошлите поскорее, — говорит мальчик в почтовое окошечко.

— Брось в ящик.

— А дойдет?

— Дойдет, у тебя конверт «авиа», так что не дойдет, а долетит. Что брат-то пишет?

— На танке служит, — отвечает мальчик.

— Пошли странствовать по свету, — предлагает Ленька.

— Нет, ты глянь!

— Пошли странствовать, — говорит мальчик. И они пошли странствовать. На почте пахнет сургучом и шпагатом, как будто снаряжением экспедиции.

— Дайте нам сургуча, — просит мальчик. Почтовая тетка дает им отшлепок сургуча.

— Надо курева набрать, — решает Васька. Они крутятся возле столовой, набирают «бычков» подлиннее, а спички есть у каждого.

За клубом деревянная, со щелями, уборная. Вот они курят до тошноты, и из щелей валит бледный синий дым. Вышли и полежали недалеко на песке, пока перестало кружить в голове.

— Я курить брошу, — говорит мальчик. — Мать узнает, что я закурил, голову оторвет.

— Не узнает. Ешь чеснок с сургучом.

— Раз уж трепала за уши. У меня от курева голова болит.

— Так и должно быть, — авторитетно заявляет Ленька. — А не боле-ла бы — чего тогда и курить.

Они идут по полю. У поля ни конца и ни края. По пути они должны найти военный склад оружия, который остался после войны, и никто про него не знает. Понемногу укорачивается за спиной заводская труба. Путеводная звезда никогда не гаснет. Они найдут склад оружия, они откопают дверь, они услышат строгий окрик: кто идет? Идут освободители всех народов! Они войдут в подземный склад и скажут часовому, что война кончилась. А нет ли закурить? — спросит часовой. Он скажет: а ну-ка, ребята, поддержите винтовку. И он перемотает портянки. Мальчики странствуют по полю и ищут военный склад, где забытый военный часовой. Или нету склада? Но один склад, снарядный, в деревне же нашли. Снаряды в земле лежали.

Доходят до железнодорожной ветки, в насыпи ее труба, и ждут, когда паровоз проедет, а сами залезли в трубу. И вот от завода едет паровоз, и земля от этого гудит, и страшно и сладко на душе. Шумит над самой головой. Опять труба не обвалилась!

По рельсам к заводу идет мужик.

— Дядь, а почему тут не луг? — спрашивает мальчик. — Места же много.

— Место высокое, и земля соленая, — отвечает дядька. — Одна полынь выдерживает.

Теперь заводская труба с султаном дыма растет и растет. Если подойти поближе и посмотреть на самый срез трубы, то видно, что дым не выползает, а вылетает. Наверное, труба истерта дымом. Нет, труба заросла изнутри сажевым мхом, и в сажевом мхе только узкое витое жерло, по ко-

торому, шелестя и мерцающая искрами, пронесется дым. А если трубу повалить, можно будет пролезть по этому жерлу. А если на трубу залезть, можно увидеть весь белый свет.

И белый свет поворачивается вокруг мальчика, на горизонте — синий сосновый лес с медведями, с другой стороны кружится сиреневое и серебряное полынное поле, белые облака, осыпаясь на севере снегами, валяться за голову мальчика, и небо разделено на части белыми следами самолетов. Из самолетов видно, что облака близко, а земля далеко и земля расшита речками, а между облаками и полынями — птицы.

Мальчик шагает по рельсам — неудобно, он шагает по шпалам — неудобно, он идет по полыни, он бежит по полыни, он летит по полыни, раскрылив руки — и вот овраг.

Мальчик умеет летать, так как все мальчики умеют летать. Он бежит по полыни, он отталкивает землю, он летит. Он летит долго, потом отталкивается от глинистой, сухой стены оврага и опять летит, потом опять отталкивается от стены оврага и опять летит, а на дне оврага, на дне теперь сухой весенней реки растет желтая, жесткая трава. Небо отсюда далеко.

Мальчик карабкается по крутой овражной стене, цепляется за полынь, полынь обрывается, и мальчик балансирует, стоя на глиняном уступе, и глиняные комочки катятся из-под ног. Он тянется к полыни, а уступ обваливается. И он падает, и он опять лезет и лезет вверх, ссаживая локти и колени.

И вот он снова летит и видит, как под ним пронесется земля.

И вот он вылез наверх, и снова летит, и смотрит теперь на небо, но оно неподвижно, а земля встречает его твердая, как камень.

— Хватит, — говорит Васька.

— Хватит прыгать, — говорит Ленька. — Пошли домой, есть охота.

— Один раз, — мальчик разбегаются и кричит: один раз — и лети-и-ит.

Он птица.

И вот они идут вдоль заводского забора, и за забором — трубы и машины, шипит пар, блестит сварка. Мальчик тут думает, что его никогда не примут на завод, где так ярко блестит сварка. На самом верху высокого дома в заводе, там, где сплелось железо, человек уперся ногами в стену и висит на поясе и сваривает железо, а капли огня горстями и стаями летят вниз, расплескиваясь в салют. Если бы одну минуту дали сваривать железо! И мальчик идет и оглядывается, а человек уперся ногами в стену, и капли белого, синего, потом желтого, потом красного огня летят вниз, и железо срастается с железом, и где они срослись — там сталь.

Мальчик оглядывается.

## VIII

Пошли на улицу Некрасова, где Ленькин дом. Идут по песку, а под всеми заборами — пыльная полынь. Под Ленькиным забором растут цветы.

— Полезли, — зачем-то шепотом говорит Ленька.

Они полезли в подвал. За дровами в пустой бочке, в коробке от ботинок, лежит бинокль. Блистают его стекла. Залезли по лестнице на чердак и смотрят. Вот река в каком-то радужном стеклянном дыму. На реке моторка с мотором «Стрела», за рулем внимательный мужик в телогрей-

ке. Тоже путешественник. Вот мутная волна, песок и кусты. Собака — ушки на макушке, лает на мужика, а он ее не слышит. И плывет баржа — под носом бурун, и от толкача-катера бурун. В толкаче внимательный рулевой в фуражке. И мальчик внимательно смотрит в замечательный бинокль.

— А летчика в самолете видно? — спрашивает он.

— Бесплезно смотреть, — говорит Ленька.

Мальчик смотрит на самолет, летчик машет ему рукой. Вырастешь, летчиком будешь, говорит летчик. Буду!

— Давай меняться, — предлагает Ленька.

— На бинокль?

— Нет, ты что, с ума сошел? Ты мне пистолет, а я тебе знаешь что?

— Что?

— Ты мне пистолет, а я тебе толстую книжку.

— Давай!

Книжка тонкая, про беременность и роды. Смотрят, и им жарко.

— А вот тут знаешь что? — спрашивает Ленька и быстро переворачивает страницу. Мальчик смотрит и думает, как больно рожать.

— Я ее у Сереги своровал с этажерки, — шепчет Ленька.

— Как же ты ее назад поставишь?

— Приду, как будто книжки посмотреть, — и поставлю.

— И нас так рожали.

Вылезли из подвала, вышли на улицу, видят — стоит коза и думает. Все думают, все все понимают: козы и собаки, телята и овцы. Куры, может быть, не думают? И куры думают, только немного. Рядом с козой мальчику грустно. В одном доме мальчик видел: коза лежит на полу со связанными ногами и кричит, а тетка сидит толстым задом на крошечной табуретке и дергает пух. Козе больно, и она жалуется и думает: вот бы обдергать пух с тетки, пусть бы покричала.

В этом доме две комнаты. В первой тетка дергает пух с козы, а у стола сидит теткин муж, он худой. В углу иконы и лампада. Во второй комнате дети — Нинка, Светка и Мишка. Мальчик стоит на пороге. Мишка говорит: проходи.

А мальчику страшно. У козы коричневые глаза, коза то замолкает, то кричит и бьется, стуча копытцами по полу. Коза кричит. Тут мальчик выходит на крыльцо, и коза перестает кричать. Должно быть, пух кончился. Теперь можно идти. Он опять открывает дверь, он входит боком, он притягивает дверь, и вдруг коза опять тонко и грубо кричит от боли. Худой теткин муж неподвижно сидит за столом, как сидел пять минут назад. Он глухой. Он ничего не слышит.

— Проходи, чего ты стоишь у двери, — говорит тетка.

— Я пойду, — говорит мальчик деревянным голосом. — Пойду, а то мать заругает.

У него деревянно во рту, а в животе тошнота. Это было давно.

— Ты чего как зачоченел? — спрашивает Ленька.

Мальчик садится перед козой на корточки. У козы коричневые глаза и рога с оборотом.

«Дергали из тебя пух?» — молча спрашивает мальчик.

«Давай я тебя отвязжу», — думает он. И отвязывает. Он берет козу за рога, коза поняла, что ей надо делать: нагнула голову и уперлась ногами покрепче. Мальчик смеется и бежит от козы. Коза спокойно глядит ему вслед, стоя возле своего кола.



Мальчик на бегу чувствует, что ему холодно. Он бежит быстрее, и ему правда холодно. Потому что это августовский вечер, а лето не очень теплое. И дует ветерок.

Собака тем временем бежала по берегу за моторкой, а коза так и не смогла отойти от своего кола.

## IX

— Не разобьешь шиферину? — спрашивает плотник.

— Не разобью.

Мальчик берет молоток и забивает гвоздь. Потом еще один. Потом — по пальцу. Не разбил шиферину. Нажал на палец, и выдавилась капелька крови. А по другому пальцу ползет божья коровка.

Божья коровка на подушечке пальца расправляет крылья. И вот улетает. Летит вверх, летит вниз, пролетела между стропил, полетела выше дерева. С громким быстрым шелестом пролетел голубь. Без всякого звука летит самолет. «Сейчас я полечу», — думает мальчик.

Стоит на краю крыши. По всему небу разноцветные вечерние облака. Были бы крылья, слетал бы к тому облаку, и к тому облаку, и к тому облаку. И вон к тому облаку.

А может быть, есть крылья, только забыл, как летать?

Прыгает. Летит, и ему холодно. Падает... И потом помнит об этом всю жизнь.

В доме за столом сидит плотник, он ест большой кусок хлеба, ест помидоры. На столе большая сковородка с жареной картошкой. Пар — как облака. На столе маленький стаканчик.

— Я тебе скажу, Оля, ты молодец, что итальянки заказала. Это вещь, — говорит плотник.

Итальянки — большие окна.

— Когда Коля в отпуск придет? — спрашивает мальчик.

— Как заслужит.

— У него глаз меткий, он заслужит, — соглашается дед. — Из танка даст снарядом... Коля меткий, он весь в Митьку, в отца. Тот, бывало, до войны на что молодой еще был парень, а на охоте не отставал. Под вечер и то не мазал.

Мальчик вышел из дома, пошел к сараю — там на крыше сушились ореховые удилица. Разрубил одно пополам, согнул и связал концы толстой леской. Стрел было сколько хочешь: старая хата была крыта камышом, камыш лежал под стеной сарая.

Из бочки выловил огурец — воткнул его между досками щелястого забора.

«Я тоже в отца, я тоже меткий», — думает мальчик. Натянул тетиву и увидел, что стрела вонзится в огурец. И опустил тетиву.

Стрела свистнула и ерзнула в заборную щель.

— Плохой ты меткач, — сказал Васька. — Пошли в три-та-та играть.

И пошли играть в три-та-та — в прятки. А огурец качнулся и упал в пыль.

Улица заросла бурьяном, а посередине ее лежали столбы — скоро будет электричество. Один столб стоял и был на улице выше, чем в заводе дымовая труба. Посчитались, и выпало водить Ваське.

Мальчик убежал прятаться под крыльцо. Тут было совсем темно. Тут кто-то был. Мальчик протянул руку — Зинка.

— Тихо, — сказала Зинка.

Зинка дышит тихо-тихо, и от нее идет тепло. И мальчик подобрался к ней поближе, чтобы лучше спрятаться. Он сжался, потому что рядом ходит Васька на неслышных ногах. И Зинка придвинулась к мальчику. И он почувствовал своей рукой ее руку. Ничего в темноте не видно. Мальчик трогает Зинкину косицу.

— Что ты? — шепчет Зинка, и мальчик замирает.

— Ничего, — говорит он, и у него дрожат руки. «Зинка! — думает мальчик. — Зинка!»

— Что ты? — шепчет Зинка и трогает его за волосы. От этого он кажется себе маленьким. И тогда он сжимает ласково ее ладонь. «Зинка!» — думает мальчик.

Они бегут, и мальчик не чувствует ног.

И вот вечер. Ночь. Мать уже спит.

Он поворачивается набок и думает. Вот блестит река, а в ней живут рыбы. Он и Васька ныряют и бегут по полыни. Он летит и летит, и летит, а земля под ним несется, но небо над ним неподвижно.

Плотник восхищается: неплохой корабль, гляди-ка, дед, какой у ребят корабль, и дед на крыше поет, остановившись отдохнуть. Блестит его коса.

А мальчик залез на мачту, оттолкнулся от нее, и под ним прошли белые паруса и палуба, и он полетел над бурлящим зеленым и пенным корабельным следом.

Мать встала и укрыла мальчика потеплее.

## ДЕРЕВО И ЗМЕЯ

В глупые младые годы вычитал я в одной лживой, как теперь понимаю, книге такое изречение: чтобы быть счастливым, человек должен посадить дерево, написать книгу и убить змею. Всего-то навсего. Я решил начать с самого легкого — с книги. Не знал дурачина, что до этого самого момента был вполне счастливым, а после — никогда. Взял тетрадь в сорок восемь листов, красным карандашом написал на обложке «Книга».

Книга, понятно, должна состоять из слов. Вот, к примеру, слово «река». В этом слове сама река, ее сильные ленивые струи, когда она течет по равнине, обозначаются слогом «ре». Слог «ка» — это ширина реки, ее спокойный поворот, ее протяженность.

Я писал слово в тетрадь, но реки уже не было, а было только слово «река». Все пропадало. Но что такое одно слово, если я посягал даже на предложение. Писал предложение, то есть предлагал свою мысль, свое чувство неизвестно кому, от кого зависел, чьей оценки ждал как самого главного мгновения своей жизни. И понимал, что он думает про мое предложение.

Я бросал ручку. Вырывал страницу.

Делался страшно ленив, как казалось со стороны, потому что сидел оглушенный, ничего не чувствовал, кроме жуткого жара в самой середине груди.

Потом вскакивал, бежал на улицу, цеплялся за машину, или гнал за кем-нибудь, или убегал от кого-то, или бил по мячу, или устраивал быстро детскую драку — лишь бы не стоять на месте. Лишь бы не стоять, чтобы этот страшный жар не сжег меня совсем.

Так постепенно таяла моя тетрадь. Иногда я писал несколько предложений подряд, не перечитывая их сразу же, а стремясь написать побольше...

Это было еще хуже.

Потом я исхитрился и, написав несколько предложений, не прочитал их вовсе, а просто захлопнул тетрадь, сунул ее в дровяном сарайчике под полено и завалил сверху крупным колючим антрацитом.

Там, под поленом и углем, тетрадь пролежала все лето. К осени я раскопал ее.

И не порвал страницу. Вдруг я понял, сидя в сарае и слыша возню мышей, что не могу порвать эту страницу. Я прочитал ее раз десять или двадцать и все это время слышал, как шуршат мыши, как по улице едут, гремя на шоссе, грузовики, как мать зовет меня в дом. Я вышел из сарая с тетрадью в руке и увидел, что ласточки летают ниже проводов — к дождю. Я все понимал и слышал, но в то же самое время слышал и каждый звук написанного в тетради. Все, что было там написано, не отделяло меня от земли, мышей, ласточек, от собирающегося дождя, от дребезжания старых полуторок на новом, бугристом и ребристом шоссе, которое проложили на нашей улице.

У меня была уже страница. Но дальше, вслед за ней, шла бесконечная череда чистых, чуть-чуть сырых листов, и на них не было еще ни буковки. И мне предстояло теперь заполнять эти страницы словами и предложениями, строчками, писать и писать, и когда я взялся за это, то увидел, что тетрадь моя заколдована, потому что чем больше я писал, тем больше прибавлялось в ней чистых листов, словно кто-то вплетал их по ночам, продлевая мой бесконечный и невыносимый труд. Причем эти новые листы были такими же чуть-чуть сырыми и так же пахли землей и углем.

И вот когда я совсем измучился, заполняя страницы, услышал, что, оказывается, чтобы считать жизнь достойной, надо выкопать колодец. Книга была необязательна, ее заменял колодец, а другие два условия сохранялись — по-прежнему требовалось посадить дерево и убить змею. Я взял тогда тетрадь, чувствуя ее тяжесть, и сжал в руках, сминая. Горела печь. Я открыл дверцу печи. Огонь облизывал дрова, и они сперва чернели под желто-белыми языками, а потом сквозь седину пепла проклевывались малиновые, раскаленные стрелочки, складывающиеся в рисунок, подобный рисунку линий на ладонях. Я хорошо себе представил, как это будет, и подумал про тетрадь: наконец-то ты высохнешь...

Мать подошла и захлопнула дверцу печи, сказав: «Чадит!»

С тех самых пор я не переставал удивляться способности бумаги сохранять запахи. Тетрадь сохранила запах огня, а ведь огонь никогда не касался ее страниц.

При желании я могу, взяв ее в руки и закрыв глаза, увидеть каждый язычок пламени в топке печи, небольшую, почти черную кочергу, материнскую ладонь, закрывающую горячую дверцу. Много позже я подумал, что, наверное, никогда бы не следовало откапывать спрятанную тетрадь. Вероятно, она истлела бы в земле, но я откопал ее раньше, и получилось, что она как бы проросла земляной силой, что-то в себя вобрала вместе с запахом земли. Теперь много можно рассуждать об этом, и лукавый разум найдет как бы и без моего участия убедительные истолкования происшедших скромных событий, но требуется вести рассказ дальше, потому что появился колодец, несмотря на то, что тетрадь не исчезла и не перестала меня мучить.

Мы — мать, старший брат и я — жили в старом доме, в хате, и надо было строиться. Предполагалось, что когда мы построимся и войдем в

новый дом, наша жизнь изменится. Тут невольно хочется поиронизировать, ибо какое банальное и беспредельно смелое словосочетание употреблено для обозначения наших неопределенных надежд! Жизнь изменится! Получилось же все, как было только что сказано: жизнь изменилась. Может быть, точнее надо сказать так: мы изменились, мы все изменили. Мы сломали дровяной сарайчик. Из шлака, цемента и воды наделали великое множество шлакоблоков, причем начинали эту тяжелую работу в дождь, а дождь, как следует из известной приметы, способствует всякому начинанию.

Приметы относительны, потому что строительство дома шло не так, не в том порядке, как мне хотелось, и несмотря на своевременно выпавший дождь была допущена страшная, вышедшая мне боком ошибка: колодец мы выкопали уже после того, как построили дом. Ведь до чего ловко все могло бы получиться: начинаешь строить дом — выкопай сперва колодец. Для строительства дома требуется немыслимое количество воды. Так как я по малолетству ничего не умел, мне выпала доля водоноса. Я не хочу сейчас вспоминать, что такое обеспечить водой строительство четырехкомнатного дома, сколько для этого требуется ведер воды. Только скажу, что быстро научился и сейчас умею носить два или три (с коромыслом) ведра воды шагом или бегом, днем или ночью, по ровной дороге или по колдобинам, не проливая на землю ни капли — ни единой, ни единственной, ни самой маленькой. Я научился так ее беречь, что, наверное, она даже не испарялась из моих ведер. Кроме того, я научился мгновенно лечить разошедшиеся бочки и готов поделиться этим профессиональным опытом. Если течет бочка, надо взять горсть пыли (не глины, что кажется значительно более удобным, глина вымывается, и толку от этой операции никакого) и этой горстью, полураскрытой ладонью провести изнутри наполненной водой бочки вдоль разошедшегося шва. Пыль всасывается током воды и накрепко замыкает щель.

Также я научился осаживать обручи — с той же постоянной своей целью сбережения воды и еще приоровился спасать вовсе безнадежные емкости, выстилая их изнутри полиэтиленом, предварительно грамотно раскроенным и сваренным затем по швам горячим утюгом.

Вся эта премудрость потребовалась для того, чтобы экономить воду, ибо колодца-то у нас не было. Мы-таки построили дом и надумали копать колодец, и я понял справедливость событий: мы его выкопаем — без меня этого делать не будут, потому что незаметно мать и брат привыкли, что я умею работать. И когда мы его выкопаем, уже в точности будет исполнено одно из трех условий счастливой и достойной жизни.

Что такое тысячи ведер воды в сравнении с этим прекрасным делом! Да ничто, ерунда!

В солнечный день мы начали копать колодец, потому что кто же в здравом уме будет ждать дождя для того, чтобы начать копать яму, с которой, собственно, и начинается колодец. В наших местах вода лежит слоями: метрах в двенадцати от поверхности проходит второй водоносный слой, а первый разжижает землю на глубине четырех-пяти метров, но на нем никто не останавливается.

Считается, что нижняя вода чище и вкусней, так оно и есть, потому что первая вода неуловимо чем-то отдает, в ней есть как будто бензиновый привкус.

Мы вырыли яму и опустили в нее бетонную круглую кадку без дна — первое кольцо. Потом по очереди с братом залазили в это кольцо, подка-

пывая его по кругу, отчего кольцо потихоньку опускалось. Когда верхняя его часть сравнивалась с землей, на первое кольцо накатывалось второе, они скреплялись цементом, и работа шла дальше. Трудно было удалять песок, а вынуть его надо было тонны. Делалось это при помощи ведра и веревки, причем, когда сверху вытягивали ведро, надо было стоять, прижавшись к стенке, потому что у ведра могло вывалиться дно, а тяжелый ком сырого песка — это не тополиным пух, убить может.

На пятой кадке повело весь ствол. Мы дошли до пльвуна, и не было никаких сил вычерпать кашу из воды и песка, непрерывно заполнявшую нижнюю кадку. Требовалось как можно скорее пройти водоносный слой, укрепиться в грунте, но ничего не получалось, слой был толстый, и хаотическое движение песка, подобное течению земли, выгибало и выворачивало ствол не рожденного еще колодца, разрывало цементные связи. И появилась у нас с братом злоба к песку и воде. Планета, в которую мы углубились на пять с лишним метров, слышала наш мат. В колодце мне тоже дозволялось ругаться — поэтому я не простудился.

И вот кое-как, с матом и песней «Марина», которую мы пели также со злобой, мы внедрились в одиннадцатый метр и тут едва не утекли по подземной реке неизвестно куда. На одиннадцатом метре я понял, почему дрейфуют материки, и предметно осознал, что суши на земле гораздо меньше, чем воды. Думаю, что подземная река, по колено и по пояс в которой мы стояли, текла не от колодца к колодцу, а от нас к Китаю: таково было ее направление, туда выгибался колодец, и если нижняя кадка когда-нибудь оторвется, если уже не оторвалась, то быть ей непременно в тех географических отдаленных краях. И до чего же мне сейчас жалко, что по молодости и скромности не украсил я тогда ее бетонный бок впечатляющей надписью «Здесь был Витя».

Мы делали свое дело, понимая уже его безнадежность. Колодец вывернуло чуть ли не на соседнюю улицу, и жутко было в него опускаться, потому что снизу виден не ровный круг голубого неба, а некий серп. Ведро с песком и водой ползло с противным скрежетом по наклонной стене, начиная отклоняться от нее где-то в середине своего неблизкого пути. Сверху капало — из разошедшегося шва. Брат взял и плюнул в колодец — себе под ноги, и стихия всосала плевок. У меня потек правый сапог, и я сказал:

— Коль, давай вылазить.

Он прекрасно понял, что я предлагаю больше не пытаться одолеть воду и землю. Он сказал:

— Давай вылазить.

Через несколько дней вода в колодце отстоялась, очистилась, успокоилась. Ничего, она была вкусной, она добывалась все-таки из второго водоносного слоя, но колодец... что это был за колодец, если эхо в нем не аукалось умноженно, а отзывалось коротким глухим звуком. Попили мы этой странной водицы некоторое время, потом оставили в колодце несколько ведер, не сумев их вытащить, и закрыли его навсегда.

Через месяц мы прокололи землю стальной трубой с фильтром на конце до двадцать шестого метра, пропустив ее через множество водоносных слоев, подключили электрический насос — и все заработало. Эта система служит хорошо, вода идет ледяная и голубоватая от чистоты. Колодец же — будто укор нам и напоминание, что, во-первых, мы не смогли сделать простого дела, а, во-вторых, что доброе заповедное дело не сразу дается в руки.

Вообще казалось, что я виноват в чем-то перед этим несчастным, измучившим нас колодцем, как виноват человек перед всякой неудачной, некрасивой вещью, вышедшей из его рук. Он все может списать на промах, на невезение, может простить себе, но каково жить уродом этой вещи? И мало ли что считается, будто вещь не одушевлена и ничего не чувствует. Как же не одушевлена, если в своей красоте или уродстве она воплотила как раз состояние души своего... родителя, что ли. Мрачен он был, либо устал, либо зол — вот и не вышло. Потом не разберешь — от мрачности или усталости произошла неудача, да это и неважно, потому что мрачность есть усталость эмоций.

Желая превозмочь эти чувства, мы с Колей не просто закрыли жерло колодца капитальным щитом, чтобы туда и лист с дерева не пал, но и сделали ворот, и накрутили цепь, и соорудили двухскатный навесик. С виду колодец, а по сути какая-то ненужная декорация. Так мы схитрили, замаскировав крупный огрех — и сделали плохо, потому что разные люди, бывая в нашем дворе и видя псевдоколодец, обязательно испытывали желание попить «колодезной». Приходилось объяснять, что у нас колонка, и говорить, что вода идет с двадцати метров, что там труба, фильтр, то да се.

И вот, похвалив действительно отличную воду, добытую насосной тягой, гость обязательно добавлял, что колодезная, наверное, была бы не в пример слаще.

О, эти наши гости вместе с нашим колодцем! Однажды не сумев сладить с ним, даже не с ним, а с водой и землей, почему должны были мы платить чувствительную дань неловкости посторонним по сути людям? И не неловкости, а стыда — не за то, что на плохом месте колодец, а за то, что, осознав неудачу, мы все-таки делали то, что не могло быть хорошо, и, дотянув до конца, начали изопрятаться в украшательстве этого греха.

Свои — родные и соседи — все понимали, а чужой человек на дворе — это было испытание чувств. Нервы у брата не выдержали, и он разобрал декорации. Теперь посреди двора оставалась просто закрытая бетонная кадка. Полое тело колодца — одиннадцатиметровый столб воздуха, изогнутый в земле, — было окончательно замуровано, и эхо наших голосов, которые сколько-нибудь да проникали внутрь, бродило теперь и гасло в стоячем воздухе над беспрерывно сменяющейся, притекающей и утекающей колодезной водой.

Осенью брата взяли в армию. От дома и колодца он так устал, что серьезно считал, будто в армии отдохнет. На следующий год весной я послал ему фотографию, она цела до сих пор, и на этой фотографии я и мать стоим около нашего дома, а справа от нас видно невысокое дерево. Это тополь.

Кто из нас троих и когда посадил его — не помню. Когда я обнаружил его на фотографии, спросил у матери, не она ли сажала дерево. Она сказала, что не сажала. Я написал письмо Коле. Но и он не сажал. Тогда стало ясно, что дерево появилось само собой, и, значит, я его должен вырастить. К тому времени я посадил множество деревьев как юный озеленитель. Но это были сосны, и они не могли идти в счет, так как росли и без того тысячами на песке вокруг моего села Песковатка. Этот тополь я, не посадив, должен был вырастить. Это было Дерево.

Я его поливал немного. Тополь рос быстрее меня. Я помню его детство, тонкость, потом быстрю, как у людей, юность. Вскоре он окреп и к высоте прибавил прочную осанку. Фигура дерева хотя и развивалась еще,

но незаметно, медленно, потому что пришла пора его долгой зрелости. Таким тополь должен был стоять свой век.

Росли и мы. Брат женился и жил, как у нас говорят, «через стенку», с матерью. А я тоже отслужил в армии, потом учился, работал далеко от дома и как-то в один из приездов, рассматривая свой огромный уже тополь, заметил кое-что новое и невеселое.

Мать рассказала: несколько лет назад перетягивали летом электрические провода, и электрик для удобства работы обмахнул ствол проволочной петлей, а снять ее поленился или забыл. Петля вросла. Тополь превозмогал удавку кольцевым наплывом коры — и выстоял, не засох. Обруч потихоньку удалялся с ростом дерева от земли, но потом тополь перестал расти, и кольцо остановилось метрах в семи от корней. Должно быть, проволока перехлестнула налитые соком древесные каналы и медленно гнила в живой древесине, отравляя ее железной ржавью. Чтобы пропитать крону, тополь развил корни — они мощными узлами выступили из земли и, казалось, гудели от напряжения. Два из них уходили под фундамент дома. Дерево мучительно гибло.

Брат снял кору со ствола, сколько смог достать с земли, корни подкапал и пресек топором. Тополь начал до срока терять лист. К августу он заметно пожелтел, поредел и сам не шумел, как способен иногда шуметь без ветра взрослое сильное дерево, а если случался ветер, то шелест тополя был тих и осторожен, будто он не хотел тратить сил.

Судьба его была решена. Опрокинутым в почву до колодезных глубин разветвленным деревом корней, многими усталыми пятернями и нитями он держался за землю, пронизывая ее песчаное материнское тело; просвечивающую, шепчущую крону пронизывали два электрических шнура, отбегавших по небу к мертвым бетонным столбам. Так земля и небо еще связывались с ним, но люди от него отказались.

На ближайший свободный день мы с братом наместили его повалить. Конечно, мы не торопились отыскивать этот свободный день. Куда спешить при такой работе, зачем гнать ее быстрее и быстрее? На душе у нас было тошно. Все-таки тополь еще живой, хотя и измученный. Он был обречен, и я понял, что нельзя больше тянуть, хватит уже издеваться над несчастным деревом, надо же и о Боге помнить.

Из живого, что есть на свете, человеку деревья, может быть, ближе всего. Они наделены беззащитностью перед миром — как и человек. (Кто думает по-иному о своей человеческой могущественности, пусть навестит упокоенных родственников на кладбище — давно ли они были относительно молоды? Можно еще посмотреть свои школьные фотографии...) Деревья наделены судьбой, как человек, той судьбой, которой нет у земли и моря. С землей и морем не равняться — они вечные, их не постичь в короткий срок людской жизни.

То, что эта жизнь коротка чрезвычайно и по нашей собственной вине недостаточна для исполнения благих дел, подтвердила внезапно грянувшая суббота — день свободный и по всем признакам явно годный для убийства деревьев. За субботу мы наточили топоры и пилы, которые и без того содержались Колей в отличном порядке. Просто, конечно, тянули время.

В воскресенье мы позвали электрика, он залез на столб и отключил наши провода, чтобы не было короткого замыкания, если тополь неудачно рухнет и оборвет их. Мне показалась, что электрик пришел пьяный и с чувством вины перед нами. Наверняка это трудно утверждать, а впечат-

ление такое было. Мы перекурили отключение проводов, и электрик сказал, делая равнодушный вид:

— Ну, мужики, вперед!

Отступать нам было некуда.

Поздним вечером мы сгребли в кучу иссохшие тополиные ветки — получился целый стог. Ствол лежал рядом, как труп. Без бензина и газеты — с одной спички взвилось красно-желтое пламя, обесцветившее свет ближнего фонаря. Мы протянули руки к огню, грея и без того разгоряченные, красные от топоров ладони. Дым столбом пошел вверх, но тут же столб начал опасно крениться и скоро лег над дорогой в струях рожденного костром слабого ветра.

По дороге ехал автобус. Два голубых его луча пробили темноту, сгущавшуюся вокруг костра и фонаря, и ослепили нас.

Когда мы уходили, я увидел, что в траве, сухой и пожухлой, ручейком скользнула змея. Я отпрянул в страхе и понял, что самого главного мне не совершить — не убить.

Но я потянулся к топору.

Следующим утром я написал этот рассказ.







**Александр Борисович Ромахов (1961—2007).** Родился в городе Лиски Воронежской области. Работал плотником, токарем, слесарем, сварщиком. Член Союза писателей России. Автор поэтических сборников «И все-таки сонет», «На зимнем ветру», «Не святые писанья мои», «Откройте — это я», «Пятая жизнь». Посмертно издана книга избранных стихотворений «Солнце тихое» (2011). В Лисках установлен памятник поэту (2011 г.). Ежегодно с 2007 г. проводится Поэтическое вече «Шестая жизнь», посвященное памяти А. Ромахова.

**Александр Ромахов**

## **Я ПРИЕДУ ПРИ ГАСНУЩИХ ЗВЕЗДАХ**

**БАЛЛАДА О ТЕНИ**

В близких лицах не видя порою  
Ни единой родимой черты,  
Ты хотела быть рядом со мною —  
Незаметна, как тень от звезды.  
Ты ждала — он вернется!

Вернулся...

Я ни гость, ни хозяин, ни брат...  
Сел за стол, замечтался, замкнулся,  
Весь — тоска о дороге назад.  
Обняла, не пуская из дому:  
— Только мой ты! и будешь моим! —  
И прижалась... к пространству пустому —  
Это славы моей горький дым.  
Размывая мои очертанья,  
Он растаял — пропали следы...  
Я блуждаю в великом тумане,  
Где светла — только тень от звезды.

\*\*\*

Еще будут дожди — и до нитки промочат.  
Еще будут снега — закружат, заморочат.  
Полнясь, как и давно ей положено, слухом,  
Еще будет земля — та, которая пухом.

Этот срок никому и никто не отерочит.  
Моросит мое время, отмеряет, песочное;

В колбах старых часов моросит оно сухо —  
Странный дождь над пустыней усталого духа.

Этот срок между строк, словно капли в песок;  
У спирали еще вырастает виток,  
Меж витками трава прорастает —  
И осенний листок прошивает.

И метели — здесь корни пускают,  
Чтобы вырасти наискосок.

\* \* \*

К сентябрю приставленный слугою,  
Длинно кроет дворник в перемать...  
Ослепленный осенью сухою,  
Выйду горьким дымом подышать.

Не костром душа моя согрета,  
Не листком мне по ветру кружить.  
В ворохах дымящегося лета —  
Не моя ль всю пылает жизнь!

Я и сам спалю ее до срока —  
В добрый час, недобрый, все равно,  
Вся она горячей кровью в строках  
Загудит, растроченная мной.

Неспроста в опавшем этом лете  
Столько внутрь ушедшего тепла...  
Осень — время думать о бессмертье,  
Продолжая смертные дела.

\* \* \*

Я приеду при гаснущих звездах  
И, как издавна заведено,  
От своих невеселых загвоздок  
Я твое занавешу окно.

Оставляю за ним все проклятья,  
Что за мной — словно слепневый рой.  
Ну... долой твое синее платье! —  
Я хочу задохнуться тобой.

Володѣй! — я сегодня позволю  
Древней сетью себя оплести, —  
Покори мою темную волю!  
Но потом — все равно отпусти.

Я люблю тебя. Только — жесток ли  
Я — иль нет,  
но, крестом осеня,  
Оставайся! — и жди, не вина...  
Слишком властен и внятен мне оклик,  
Мир зашторенный ищет меня.

\* \* \*

По старинке,  
В холодном вагоне,  
Головой к жесткой раме приник,  
Еду к ночи, и в брезжущем доме  
Рядом с матерью сяду, —  
Старик.  
Да, старик...  
Хоть и, может, случайна  
Отрешенность от мира сего...  
Только вход мне в иной и астральный —  
Мать закрыла собой...  
Оттого —  
Что стихи ей мои и стихи?  
Что ей воля хмельных куражей? —  
Режут сыну морщины косые  
Лоб и щеки без всяких ножей!..  
Между нами пространства клубятся,  
Застя свет, мельтешит маета;  
Я всерьез уже стал  
отдаляться...  
Что поделаешь — возраст Христа.  
Незнакомый, с улыбкой чужою,  
И всегда — словно только вошел...  
Вот и стынет она надо мною  
В невозможной дали —  
через стол.

\* \* \*

Сколько их, лет? Как прохожих на площади.  
Что нам до них — мы остались вдвоем...  
Слышу дыхание загнанной лошади —  
И просыпаюсь. Дыханье — мое.

Снова. Целуешь — куда тебе в дождь идти!  
Как в глубину, ухожу в забытье...  
Слышу дыхание загнанной лошади —  
И просыпаюсь. Дыханье — мое.

Чем дальше уходишь — тем ближе и проще ты.  
Время слоится, течет стороной;  
Дай мне к ладони прижаться щекой...

Как твои волосы ветер полощет! И —  
Слышу дыхание загнанной лошади.  
Это — мое. Оставайся такой.

\* \* \*

По метелки листвою засыпая,  
Травы сушит сентябрь на корню...  
Эту память осеннего края,  
Словно редкость какую, храню.  
И нисколько не кажется странным  
Видеть дальнюю, давнюю близь,  
Где, как в штиль, серый парус тумана  
В тополиной оснастке обвис,  
Где стеклянной прозрачности вечер  
Долго-долго стоит над землей,  
И деревьев высокие свечи  
Оплывают, сгорая, листвою, —  
Там, в лимонной заре пролетая  
На погасший закатный костер,  
Тридцать лет, как растаяла стая  
Медных птиц,  
В темный канув простор...

\* \* \*

Что там было найдено и пройдено —  
Ничему не ведаю числа...  
Верная, единственная родина,  
Как дорога, в небо пролегла.

Видно, завтра выйду я из дома  
И, душою больше не кривя,  
Не пойду ни к женщине знакомой,  
Ни к сиянью храма Покрова.

Не по мне ни скука литургии,  
И ни рук наручники, —

тоска

По земному космосу России  
Мне одна желанна и легка.

Пусть опять поэтами на снобях  
Ходит Русь! — свое я допою,  
Все собой, как вызревшая осень,  
Пронизав в отеческом краю.



**Григорий Алексеевич Анчуков** родился в 1957 году в селе Средний Икорец Лискинского района Воронежской области. Окончил Борисоглебский педагогический институт. Работал учителем, журналистом, директором ДЮСШ, начальником отдела по делам молодежи администрации Новохоперского района. В настоящее время — директор Новохоперского краеведческого музея. Публиковался в журнале «Подъём», региональных изданиях. Автор книги прозы, поэзии и публицистики «Избранное». Живет в городе Новохоперске Воронежской области.

**Григорий Анчуков**

## ОТПУСК В ИКОРЦЕ

*Повесть-быль*

**С**олнце уже садилось, как бы зачеркивая неповторимость первого дня моего долгожданного отпуска. Спускаясь к реке, я с удовольствием вспомнил, что отец, глядя на мою косьбу, одобрительно улыбался. А когда я присел отдохнуть, он заботливо протер косу пучком травы и, хлопнув меня по плечу, сказал:

— Молодец, еще не разучился. Сразу видно, что здесь вырос...

Местечко у нас чудное. Его издавна зовут Угол. Может быть, оттого, что это один из дальних краев нашего села Среднего Икорца, а может быть, из-за реки Икорец, которая огибает нашу улицу с трех сторон. За ней, сразу же после широкой поляны, — массив ольхи вокруг лесного озера Песчанки, за ольхой, еще дальше, вверх по рельефу, — чарующе-влекущие и зеленца, и голубизна сосны. Если еще добавить громадный затон, подбирающийся к сосне, восходящее солнце, утренний туман, то, мне кажется, вы наверняка поймете отца, когда тот вернулся домой в 1945-м двадцатитрехлетним лейтенантом, несмотря на заманчивые предложения по продолжению воинской службы в мирное время.

...На реке никого не было, кроме задержавшегося рыбака, выплывающего на лодке из усынка. Я уселся на мосточке и стал его поджидать.

— Здорово, сынок. Вот только не пойму — кто из Анчуковых?

— Здравствуйте. Гриша я, Гриша...

Это был дед Петр — самый заядлый углянский рыболов, острослов и балагур, но мужик дотошный, вдумчивый.

— Ну как, дед, рыбка? Наверное, не одна на сковородке голову сложит?

Дед неторопливо положил весло поперек лодки и, выдержав паузу, пробурчал:

— Нету ни хрена, заразу-мать.

И потянувшись в карман за папиросами, добавил:

— Хорош червячок, да под ним крючок. Раньше, бывалоча, без привады — тока успевай, а теперь и с привадой — одно баловство.

Дед несколько не преувеличивал, даже на моей памяти рыбные времена были намного богаче. Однако я почти неожиданно для себя пошутил:

— Ясное дело, сетями да вентерями промышленяете, а потом жалуетесь — нет рыбки, перевелась...

Зная, что дед обижается редко, я внутренне уже ждал какой-нибудь байки на этот счет, чувствуя, что мои слова должны задеть его за живое.

А дед опять-таки неторопливо прикурил папиросу, откашлялся и разочарованно выдал:

— И ты туда же... Чему вас тока в институтах учат? Ума не приложу.

— Как чему? — попробовал я деланно возмутиться. — Уж, в крайнем случае, не вентеря вязать.

— Во-во. Брехать — не топором махать. До чего же век дурной пошел. Слова — гладкие, а середка у них — пустая... По весне крутился тут один умник из Воронежа — к реке нашей присматривался. А я как раз на огороде картошку сажал. Вот и спор у нас с ним вышел. Я ему про мельницы, а он мне про огороды. Чуть ли не вредителем меня объявил. Дескать, из-за ваших заливных огородов река мелеет. — Дед хохотнул и довольно прихлопнул себя по коленям.

— А разве не правда? — попробовал я его урезонить.

Он, не обратив внимания на мои слова, продолжил:

— Мы с отцом, бывалоча, на них зерно на помол возили. Они как раз друг за дружкой по течению стояли: одна сверху от нас, а вторая — чуть пониже. Я об этом умнику воронежскому рассказал, а он — вроде тебя... Тоже подшучивал. Дошутились, заразу-мать...

— А мельницы при чем?

— Как при чем? Запруды даже в сухой год реке упасть не давали. И грунтовка в одном уровне держалась. Соображаешь?

— Коли так, может, дед, заодно подскажешь, почему Дон мелеет, ведь на нем мельниц не было?

— Оно так, конечно, — легко согласился дед, — вот тока Игорец наш испокон веку в Дон впадает. Беречь мы разучились, сынок, без оглядки живем, без оглядки...

Дед Петр загасил папиросу в баночке, стоящей возле него на сиденье лодки и тронул к своей пристаньке.

Потом он еще долго громыхал цепью, тщательно примыкая лодку, собирав снасти. И при всем при этом он, не переставая, о чем-то бурчал. Чувствовалось, что душу я ему разбередил.

Наконец, собравшись, он ушел. На реке стало тихо-тихо — ни шоро-

ха, ни плеска. Словно вода, невольно подслушавшая наш разговор, надолго задумалась...

Задумался и я, до слезы... Сколько же грубостей испытала ты от людей, милая моя река?! Все было хорошо, пока они тебя не трогали. Стога сена на Корчагиной поляне каждый год как многоэтажные дома поднимались. На утренней зорьке рыба играла в тебе так, что руки тряслись от желания побыстрее отомкнуть лодку, тронуть ее тихо-тихо к заветному местечку и там забросить удочки в дымящуюся туманом воду.

Словно горло тебе перерезали в двух местах экскаваторы, в тупом желании людей спрямить русло, распахать Корчагину поляну и окультурировать Песковатовский луг. Да за такие бы деяния в старину деда вилами заporоли бы кого хошь.

Никто не советовался с тобой, милая моя река. И ты не от мести — от желания хоть как-то себя уберечь резко упала в уровне. Охнули и на глазах усохли Анчуков, Русильцев и деда Данилы ерики. Рыба скатилась к Дону. Ушли в никуда стога сена с Корчагиной поляны. И она в два года превратилась в кочкарник. А Песковатовский убитый луг стали поливать дальноструйными насосами все те же мелиораторы-заботники. Курам на смех...

Хорошо хоть, через годы какая-то умница решила высадить дубок по твоим берегам напротив нас. Вот и вернулись они к тебе, милая моя река. Потерпи немного. Они вот-вот подтянутся, и будет тебе подмога.

Ты же знаешь, почему дубки вернулись, ты все помнишь. А мне обо всем рассказывал отец, и в детстве я видел широченные остатки дубовых пеньков на поляне. И я знаю, что давным-давно неподалеку от твоего устья была корабельная верфь... Опять же люди еще тогда прошлись по твоим берегам, с пилами...

Отец рассказывал интересное семейное предание, будто бы наш род пошел от обрусевших голландских корабелов. Вот было бы здорово, если бы ты могла поведать — правда это или вымысел?!

Ты не серчай на меня за сегодняшнее неосторожное слово о сетях и вентерях. Не со зла я такое сказал, вырвалось. Дед Петр простит мне все по молодости. Я его хорошо знаю. Мы с ним частенько зоревали. И теперь вот, в отпуске моем, позорюем — порыбачим и помиримся...

За ужином отец с моей подачи, с уже подзатухшей болью, пускается в рассуждения о судьбе нашей реки.

— Бог ты мой! Ведь повезло же нам как! Ни одна серьезная гадость в нашу речку не сбрасывается. До сих пор воду из нее смело пьем... И без порушенных мельниц все нормально было. Рыбка к нам с Дона на икромет скатывалась. А сколько ее было, рыбки-то?! Ни сетями, ни вентерями, ни бреднями никто бы до сих пор не выловил бы... Если не знаешь, то знай, что название нашей реки как раз и идет от слова «икра». Икра — икорка — Икорец — вот где кроются корни названия реки и села... Все-му виной кукурузная лихорадка в хрущевские времена. Страшно вдуматься! Цена здоровья реки и рыбы в ней — один урожай кукурузы на распаханых пойменных лугах... Да предложи кто-нибудь в старину эти пойменные луга распахать, его бы не вилами заporоли бы, как ты говоришь, а посчитали бы просто за придурка. И смеялся бы над ним народ всю его оставшуюся жизнь... А деятель из Воронежа тут действительно крутился. Толковал я с ним... Водяные мельницы и плотины сейчас не вернешь, а несколько перекатов не помешали бы. Вот только кто их строить станет?..

На другой день, вдоволь отоспавшись, я начал тщательные приготовления к рыбалке. Ближе к вечеру отец, вроде бы не обращавший на меня внимания, подсел рядышком и пошутил:

— Придется петуха голосистого покупать. Отвык, поди, на зорьке вставать?

— Отвык, батя, отвык, — отзываюсь я, с трудом перебарывая желание отправиться на рыбалку сию же минуту.

— Эка беда. Я по-стариковски зорьку не проморгаю — растолкаю, а там и сам в колею войдешь, коли азарт случится.

— Слышь, батя, пшенички надо бы напарить.

— На кой ляд она тебе нужна? Петр Иванович ею и так все дно реки усыпал. Ты лучше за красноперкой в хлыста на кузнечика погоняйся. Поигрывает она. На подлещика и плотву доброго клева уже никогда не будет, только время убьешь...

У меня теплеет в груди: «Спасибо, батя... Завтра весло — в левую руку, а в правую — удочку подлиннее, и вдоль камышей помотаться надо как следует, наверняка толк будет...»

По рыбацкой части отец — хитрован. Помнится, в летнюю пору с удочкой его на реку трудно было заманить из-за непрекращавшихся забот и хлопот. Зато в зимние месяцы он всегда умудрялся сплести к весне верши.

Мне повезло. Обучил он меня этому искусству основательно. Да и рыбки мы с ним вершами немало лавливали.

Помнится, загрузим вечерком по весне пахнувшие лозой верши и — вперед: я гребу тихонько вдоль берега, а он их растыкивает — где молча, а где и с назиданием. Дескать, вот в этой верше непременно рыбка будет...

А поутру его слова непременно сбывались. Случалось и так, что издалека еще замечаешь, что кол как бы наговоренной верши покачивается. Подплываешь к нему, рвешь его в азарте из воды и чувствуешь, что одним махом такую тяжесть не осилить. А рыба в верше кипит! Сердце от удачи заходится! И лишь немного успокоившись, начинаешь потихоньку вываживать вершу в лодку — так, чтобы вода постепенно обтекала и вместе с ее уходом из верши она становилась бы немного легче. Попыхтишь изрядно, сыпанешь улов в корму лодки и плывешь потом к своей пристаньке, считай, героем...

Вершами по весне мы с отцом брали сначала окуня и плотву, а в начале лета в них шли линь и щука. А вот деликатесные налим и вьюн в верши не шли ни за какие коврижки.

Налима и вьюна у нас в Углу умудрялись выбивать только пацаны гандобучкой. Презабавное это, я вам скажу, занятие. Идет вдоль берега ватажка пацанов: двое — в воде по грудь с металлической рамкой, обтянутой мелкой сеткой, а остальные — на стреме, топтуны и подсобники по сбору рыбы и переноске сухой одежды. Задача водяных — потихоньку подойти вдоль камыша или куги к подходящему местечку, а топтуны по команде должны лихо шугануть рыбу и мутить воду до предела, постепенно подходя к гандобучке. Нет, не зря говорится, что в мутной воде легче рыбка ловится. Закон ловли гандобучкой прост до предела: чем старательней работают топтуны, тем больше шансов на успех. Если топкое местечко попалось — жди линя или вьюна, обрывистый бережок сулит налима и рака. А плотву, красноперь, окуня и щуку пацанва всегда брала в любом месте в изрядном количестве.



Завидовали взрослые, глядя на добытых пацанами вьюнов и налимов. А самим того сделать не удавалось — ни вершами, ни вентерями, ни бреднями да сетями. Только байки травили они про те времена, когда вьюна было хоть пруд пруди — по полной верше лавливали, а налима по рачьим норам и вовсе, дескать, руками брали. И кто их знает — правду они своими байками ведали или нет?

Отец по этому поводу чаще всего помалкивал и к пацанам в добычу не заглядывал. Зато однажды отладил лов налимов прямо в конце своего огорода — ночными донками, с уснувшими себелями в качестве наживки. Помнится, уйдет поутру за водой на речку, а потом вдруг появляется во дворе с улыбкой — на плече коромысло, а в ведрах с водой — семь-восемь крупных налимов, на радость нам и матушке, всегда ломавшей голову, чем попотчевать семейную ораву.

Дальше — больше. Как-то в середине лета отец зачастил в лес. Уходил пустым и приходил пустым. Правда, каждый раз брал с собою почему-то вилы, ножовку и топор. Приходил уставший, по пояс вымокший и помалкивающий как партизан. А потом унес почему-то в лес вершу.

Через сутки, опять-таки почти молча, засобирался в лес и позвал меня за компанию. На этот раз он взял с собой только надежный мешок.

Тщательно заботясь о том, чтобы я хорошенько заприметил дорогу, он, наконец, привел меня к своему местечку среди топкой чащобы. Посредине ручья, вытекающего из лесного озера Песчанки, красовалась свежей оплеткой лозы плотина, с прорехой посредине. А в той прорехе стояла верша.

Подобравшись к верше, мы с отцом не без труда вытащили ее из воды и потащили по топи на недалекую полянку... Содержимое верши обрушилось в мешок, и вдруг открылось перед нашими глазами... Полмешка вьюнов притащили мы из лесу в тот раз. Отец сыпанул их из мешка во дворе на спорыш-траву, и вся наша семья восхищенно загудела от такого видения. Вьюны величиной до локтя стали расползаться у всех под ногами, как змеи...

Полакомились мы вьюнами в то лето. Правда, недолго музыка играла. Приладился вскоре кто-то нашу вершу проверять. Придем мы к ней, а она стоит пустая, приткнутая кое-как посредине плотины. Видать, поторапливался родимец лихой. Не хотелось ему попасться на глаза. Осерчал отец на него. И плотину свою порушил, и вершу из лесу домой унес. На том и закончился такой лов вьюнов раз и навсегда.

\* \* \*

На другой день, почти около полудня, мы с дедом Петром начинаем сплывать навстречу друг другу. Я гребу к своей пристаньке донельзя уставшими руками, зато в корме лодки полощутся десятка четыре великолепнейших красноперов.

Дед Петр явно горит желанием оценить мои мотания вдоль камышей и держит курс на сближение. Я тоже издали примечал, что он пару раз менял местечко, и тоже горю желанием узнать, как там поживают плотва и подлещик на глубине.

Поравнявшись с кормой моей лодки, дед Петр цопким движением руки берет меня на абордаж. Молча оценив моих красноперов, ревностно роняет:

— Хы-ы, заразу мать... Вот тык да-а-а... Обштопал, говоришь...

А у него в большом ведре сиротливо смотрятся только два «хвоста» — уже уснувшие небольшой подлещик и крупненькая плотва.

Коротко поделившись с дедом немудреной наукой ловли в хлыста на кузнечика, я умиротворенно трогаю лодку к своей пристаньке, до которой уже рукой подать.

Отец оценивает мое появление во дворе с красноперами щедрой детской улыбкой. Хоть и есть у него теперь достаточное количество времени, но его по-прежнему на речку с удочкой калачом не заманишь.

\* \* \*

Ближе к вечерней зорьке отец будит меня и приглашает к ужину. Все кстати — молодая жареная картошка и краснопера на сковородках, и бутылочка водочки, и свежий овощ, и малосоленый. Оставшись без магушки, отец четко блюдет огородную дисциплину. Вплоть до того, что по весне к нему даже за рассадой соседки заходят. Что и говорить, спец да и только.

Это сейчас повсюду в моду прочно вошли засолки в банках. А ведь была недавно пора, когда об этих банках никто даже и не задумывался. Помидоры и огурцы солили только в бочках. И здесь же, рядом, в погребе находилось место для бочек с мочеными яблоками и арбузами. А для бочки с квашеной капустой место в погребе отводилось особое — центровое, так сказать.

Никогда не забыть белоснежного вида и неповторимого хруста той самой капусты, впервые попавшей на стол после некоторого отстоя в погребе. В народе на этот счет говорят просто: «Ешь так, что за ушами аж хрустит».

А неповторимая сладость кочерыжки во время рубки капусты в бочку чего стоила! Поди, не у меня одного она в мыслях сейчас даже и сравниться не может ни с одной конфетой. Сладкими и сочными-сочными были те кочерыжки, а есть их приходилось в яркое солнечное, позднеосеннее утро — свежее-свежее после легкого морозца, с инеем на траве...

Припомнив все это за ужином, мы начинаем собираться на крылечко, дабы спокойным сидением на нем в сумерках завершить столь приятнейшую трапезу.

— А знаешь, — как бы подытоживая воспоминания, говорит отец, — разбаловались мы с этими банками, себе же в ущерб — таких прелестей себя лишили.

— Это уже давным-давно понятно, — отзываюсь я, — немало уж мне приходилось по жизни есть соленостей на стороне, а все одно и то же — не идут они ни в какое сравнение против былых анчуковских, бочковых.

— То-то, — улыбается отец и ласково треплет меня по плечу.

Мы усаживаемся на крылечке, и отец неспешно выкладывает мне небогатые новости нашего Угла.

Постарел, поредел родимый. А разъехавшаяся многочисленная детва, как и я, лишь изредка навещается сюда набегами.

Отец вскоре уходит укладываться спать. А я еще долго сижу на крылечке и не могу оторваться от картин детства, которые одна за другой накатывают на меня волнами...

Конечно же, как и все послевоенные мальчишки, в детстве я буквально бредил боями, атаками и разведками. Оттого частенько приставал к отцу с одной и той же просьбой: «Ну, расскажи о войне...»

Отец тепло улыбался, ворошил шершавой ладонью мои непокорные вихры и начинал свой рассказ одними и теми же словами: «Вот был у меня друг...»

Его бесхитростная речь завораживала, овевала холодком глубину сердца, но не было в ней места рассказам о подвигах. О том, чего так хотелось услышать.

Когда я подрос лет до 10-11-ти, отец рассказал мне, что на фронте, будучи уже офицером, он никогда не ел свой дополнительный паек в одиночку, без солдат. И еще как в 1941-м, перед боем, все были очень голодны, а одному бойцу подфартило: получил каким-то образом из дому гостинец — шмат сала и два каравай хлеба. Не поделился ни с кем и на глазах у всех есть не решился, и упал потом в бою, прошитый пулей сзади.

Я подрастал, но это не мешало мне частенько тормошить отца: «Ну, расскажи о войне!»

Он рассказывал очень скупое. А один раз вдруг резко меня оборвал:

— Зачем тебе все это, сынок? Война — это кровь и смерть, адская работа. Иди лучше в футбол погоняй...

В шифоньере, в крепкой картонной коробке, хранились отцовские боевые награды. Их вполне хватало для того, чтобы при случае шикануть и покрасоваться.

Однако к общему семейному разочарованию, этого не происходило даже в День Победы.

Все очень любил этот праздник. Обычно на наш просторный сельский стадион со всех сторон стекались многолюдные колонны, с флагами и транспарантами.

После митинга эти колонны торжественно проходили мимо кирпичной трибуны, специально для того построенной.

Ах, как мне хотелось увидеть на трибуне отца! Ведь приглашали же обычно его там постоять. Знал я об этом и не мог понять его неизменные отказы...

Работал отец посменно дежурным по горке в Лисках. Если случались накладки, то в День Победы его непременно подменяли другие.

Обычно он с утра не торопился. Утюг матушке не доверял. Тщательно гладил выходной костюм, тщательно брился и после недолгих сборов шел к обелиску в школьном парке — постройневший и помолодевший. Ордена и медали оставались дома.

По селу таких «чудаков» набиралось немного. В любой другой день участковый наверняка не допустил бы какого-либо застолья возле обелиска. Но в День Победы к фронтовикам не решался подойти никто.

Помнится, в один из праздников матушка попросила меня поторопить отца по какой-то особенной причине.

Он понимающе вскинул глаза, усмехнулся и горделиво сказал:

— Мой... Ишь, какой вымахал!

Много с тех пор воды утекло, но никогда и нигде потом я не видел в один момент столько добрейших неподдельных улыбок.

— Посиди с нами, сынок, — попросил отец, — успеем.

Я молча согласился и сразу же окунулся в их беседу, как человек, никому не мешающий и никем не замечаемый более.

Фронтовики вспоминали тех, кто не вернулся. Вспоминали об их юношеских проказах — со смехом или с теми же неповторимыми неподдельными улыбками.

По дороге домой я спросил у отца, почему он, как и все его друзья, не носит награды.

Он помолчал немного, а потом, закурив свой неизменный «Север», начал неторопливо говорить:

— Да разве в наградах дело? Мы бы все их до единой отдали бы, не задумываясь, если бы можно было ребят поднять... Знаешь, за что я свой орден Красной Звезды получил?

— За что?

— Сам не знаю — за что конкретно... Бои были страшные. С передовой очень долго не вылезали. В таких переделках приходилось бывать, что только чудо иной раз помогало выжить. Ребят много наших полегло. Я за их спины не прятался, не малодушничал. Командир тогда писал наградные списки на многих из нас. Вот только не любили его в штабе за прямоту.

Отец остановился, потянул из пачки еще одну папиросу, прикурил и после нескольких затяжек вновь за ходьбой продолжил:

— А когда отвели нашу потрепанную горстку в тыл — чин какой-то высокий нагрянул и сразу же запустил в мат-перемат перед строем командира нашего. Мы загудели, ничего не боясь. Командир нас успокоил. Отошли они в сторонку, потолковали по душам, без ругани. И вскоре всех нас, уцелевших после этих боев, считай, всех до одного наградили.

— А остальные награды так же получал? — спросил я более понятно и миролюбиво.

— Нет, сынок, по-разному. По молодости лет радовали они — особенно когда домой ехал... Приехал и охолонул сразу. Жить стал будто за кого-то другого... Вот и друзья у меня такие же, правда, немного их уже осталось. А те, кто порошу почти не нюхали, покрасоваться любят...

В разгар хрущевского правления при удручающих обстоятельствах довелось мне увидеть отца в гневе и услышать от него громкие слова.

Вскоре после Дня Победы на огородах поднялась картошка — крепко и смачно. Вот только порадоваться дальше на нее не пришлось. Словно в усмешку огороды обрезали почти на две трети по сельсоветовской указке...

В тот день трактора с плугами шли цугом поперек огородов, не обращая внимания ни на кого и ни на что. Отец дежурил. Матушка, бригадирившая во время войны в девичьей тракторной бригаде, до слез любившая песню о стальных конях — дорогих друзьях-тракторах, взбунтовалась, подняла баб и ребятишек и выставила живую цепь навстречу. Трактора остановились, но вскоре приехала милиция, разогнала пикетчиков, и трактора пошли дальше.

Перепаханные земли засеяли кукурузой — вдоль улицы, а стало быть, и вдоль реки.

Кукуруза поднялась споро. Потянулась кверху, чуть опережая густой сорняк, весело буйствующий без должного пригляда.

И никто не смел пройти к реке через эту полосу надругательства над здравым смыслом. Все пользовались единственным проходом к реке в конце улицы.

Мужики матерились почему зря. Бабы плакали, когда речь заходила о зиме. Семьи у всех были многочисленные, и лишь картошка помогала всем кое-как сводить концы с концами. Однако больше всего людей бесило их собственное бессилие.

Отец ходил будто каменный. Матушка — вообще-то бойкая на язык — ни в чем ему не перечила.

Придет отец со смены поутру, нехотя позавтракает, а потом долго-долго сидит во дворе и курит папиросы — одну за другой.

Один раз я подсел к нему и, пытаюсь как-то его расшевелить, попросил:

— Па... ну расскажи о войне.

Его словно кто встряхнул изнутри.

— Щас, сынок. Лучше я тебе покажу кусочек.

Молча отбил косу. Молча вышел за ворота. И пошел к реке широко и красиво, укладывая молодую кукурузу точно вдоль бывшей стежки.

...Вечером, когда мы вновь вместе с ним сидели во дворе, уличная калитка неожиданно распахнулась, и в нее вошли трое.

— Что, думаешь, если фронтовик, то на тебя управы не найдется? — загремел прокуренным басом один из них. — А еще коммунист, Сталина-мать!

Отец взвился и пошел на них грудью.

— Да, коммунист! Но только фронтовой! Да, я эту землю защищал и ходить по ней свободно буду! Вон отсюда!

Рано поутру нас разбудил плач матушки. Отец собирался на смену. Почуввав беду, заплакали и мы — каждый в своей постели. Матушка боялась, что отец уже больше не вернется.

Ан нет. Вернулся отец со смены — возбужденный и лихорадочно веселый. Они о чем-то поговорили с матушкой, и она вновь стала плакать. Мы ничего не понимали. И лишь с годами все стало на свои места.

Оказывается, перед сменой отец забежал в райком партии. Молча оставил партбилет дежурному и молча ушел на работу...

Партбилет ему вскоре привезли домой. А стежки к реке потом, почти в один день, прокосили все.

Кукурузу ту по осени никто не убирал. Прогнали по ней пару раз колхозное стадо, и на том дело закончилось. А огороды по весне стали прежними в своих размерах...

Каждый год, будучи в отпуске, к нам непременно заезжали дядя Вася и тетя Аня (сестра матушки с мужем). У них не было детей. Оттого всю свою теплоту они отдавали нам — племянникам.

Дядя Вася стал нашим кумиром раз и навсегда. Фронтовик — морской пехотинец, монтажник-высотник, с почти негнувшимся коленом... Уж кто-кто, а дядя Вася о войне рассказать умел. Мы с братьями слушали его с открытыми ртами, а взрослые при этом почему-то смеялись до слез.

Отец иногда не выдерживал и умолял шурина:

— Да замолчи ты ради бога!

Тот серьезнел только на секунду и все так же умоляюще отзывался:

— Лешка! То ж пацаны...

День приезда дядюшки и тетюшки всегда был бурным и безудержно веселым. На нас сыпались подарки, сласти и книги. А на другой день отец и дядя Вася подолгу сиживали за столом. Говорили громко и негромко, о чем-то спорили, пели, вытирая слезы...

Матушка в такие моменты гнала нас из дому на улицу, хотя нам с

братьями до смерти хотелось послушать разговоры взрослых. Увы. Родительница бдила неприкосновенность мужского застолья весьма усердно.

Отчего она так старалась, я понял только в студентах, когда впервые отец и дядя Вася пожелали, чтобы я посидел вместе с ними.

Они очень много говорили о товарищах. Изредка выпивали. Когда чуть хмелели, в их разговоре проскальзывали упоминания о чьих-то трудностях и подлостях.

Как когда-то у обелиска, я сидел молча. А потом вдруг некстати, на паузе, вспыльчиво ругнул Сталина.

Два крепких кулака взметнулись и грохнули по столу одновременно.

— Сопляк! — стеганул меня словом дядя Вася.

После долгой тишины в доме они с отцом настойчиво и миролюбиво убеждали меня в том, что Сталин во время войны был живым знаменем, что о судьбе Якова Джугашвили знал каждый боец на фронте.

Не убедили. Долго-долго ищу по жизни я истину. Мысленно спорю с любимыми людьми, иногда возвращаясь к этой теме при встречах с каждым из них в отдельности...

С годами отец и дядя Вася становятся менее категоричными. Но все равно в них сидит нечто такое, чего и гвоздодером не вырвешь. Впрочем, я и не пытаюсь.

Перед выходом на пенсию наши старики получили высокие правительственные награды. Дядя Вася — орден Ленина, отец — орден Октябрьской Революции. Оба деланно скромничают по этому поводу.

Мы все это хорошо понимаем и помалкиваем, тихо радуясь. Особенно — за дядю Васю. Ведь его семья в 1930-е была репрессирована и выслана из Украины на Дальний Восток. Вырывался он оттуда через кочегарство на паровозе, через фронт, через всю жизнь, в основном прожившую в командировках на многочисленных послевоенных стройках заводов и фабрик. Эта награда для него стала символом высшей справедливости.

История о первой их встрече — это особая семейная легенда. Отец, Алексей Федорович, имел обыкновение в подходящую пору перед сменой в Лисках добираться до железнодорожной станции Икорец на велосипеде. Наша бабушка Настя — теща его, стало быть, — жила почти рядом с этой станцией, и велосипед отец, конечно же, перед приходом так называемого «рабочего», оставлял у нее.

Зашел однажды отец после смены к бабушке за велосипедом, а там еще один зять — Лантух Василий Петрович. Застолье случилось. Разговорились фронтовики, душами сошлись. Бабушка и тетя Аня тихо радовались, прислушиваясь к их разговору.

А дядя Вася вдруг выдал:

— Знаешь, Лешка, жизнь так меня мордой по земле повозила, что дай мне волю — коммунистов косой, как траву, косить буду.

Женщины молча ахнули и напряглись до предела. Отец, не моргнув глазом, мгновенно отозвался:

— Васька, так я же — коммунист.

На что в ответ Лантух с хитрющим выражением лица выдохнул:

— В том месте, где ты будешь стоять, я пятку у косы приподниму — хлесть — и мимо...

И бабушкина хата после этого наполнилась долгим общим смехом.

Напротив нашего Угла, через речку и лес, день и ночь гудит-шумит автомобильная трасса Ростов — Воронеж. А справа от нее уютно сидит разлапистый хутор Хренище. Он возник здесь после революции 1917 года. Его основали выходцы из нашего Среднего Икорца.

Хоть и относится этот хутор к Бобровскому району, а родство прочное и крепкое так и осталось. В хуторе не было средней школы. Оттого стайка самых способных хренищенских юнцов неизменно появлялась в старших классах нашей школы — Среднеикорецкой.

Школа эта в шестидесятые гудела, как пчелиный улей — работала в две смены. И как работала! Учителя пользовались особым уважением, потому что работали с душой, на совесть.

После уроков нами безраздельно владел спорт. На каждой улице были свои отличные команды по футболу. Любая горка, любой бугорок в зимнюю пору полосовались лыжами и санками. Вдобавок ко всему с ранней весны до поздней осени на улицах господствовали лапта, чиж, городки, клек, шарман и многочисленные старинные игры-бегунки.

Вот как раз в эту пору в Среднем Икорце вспыхнул интерес к хоккею с шайбой. Помнится, лишь только окрепнет первый ледок, в лесу сразу же начинался отчаянный треск — пацаны и парни нещадно рубили ольху и лозу на клюшки.

А потом уже отцы не успевали подшивать валенки. Игры заканчивались при луне, счета доходили до сотен забитых шайб.

Хоккей поглощал нас почти всех до одного стремительно. Деревянные шайбы, как по команде, сменились на резиновые, а вслед за «снегурками» и «дутьши» (коньки) к валенкам вдруг приросли. Что ни воскресенье, на разных краях Среднего Икорца — матчи-вызовы, улица на улицу.

В пылу борьбы резиновые шайбы стали отрываться ото льда и больно бить по ногам. И в ход сразу же пошли рукава от старых фуфаяк. Отличные из них щитки получались при некотором старании и умении.

Снега в ту пору случались — не чета теперешним, однако каждая улица старалась держать свой каток на реке в боевом состоянии до ледохода. В этом отношении мальчишеский закон был строг и четок: не пришел чистить каток вовремя — не подходи к нему до следующего снегопада.

Однажды зима случилась капризной — с оттепелями. Катки на всех краях села покрылись предательской коркой. И заporошило, замело их снегом. А мы свой уберегли, потому что вовремя брат Вася придумал рубить проруби рядом с катком и лить на него воду ведрами, когда появлялась корка.

Разъединственный каток на все село позволял нашему Углу каждое воскресенье быть только хозяином матча с другой улицей. Гордился Угол своим катком, очередь на приглашения держал строгую, насмерть бился за каждую победу. К тому же только у нас было особое оружие: Вася владел великолепным броском, и его бросок весьма ощутимо сказывался на исходах матчей.

Играли мы тогда все еще клюшками-самоделками, но у Васи клюшка была штучная. Исходил он весь лес вдоль и поперек, а все-таки нашел подходящий изгиб целиковой лозы. Высушил ее в печи, тщательно обработал топором и рубанком, и получилась у него клюшечка на загляденье. А чтобы перо в игре не лопнуло пополам, умотал он его марлей, пропи-

танной столярным клеем. И залетала у Анчука шайба пулей, насквозь разящей ворота...

И вот в одно из последних воскресений марта собрались мы возле нашего катка для приема особо почетных гостей — команды с другого края нашей Пролетарки.

Мороза, по сути, в тот день не было, да прокатился он у каждого по спине, когда увидели мы на льду множество рыбацких лунок, свежих-свежих...

А когда подтянулись гости, общее огорчение от невозможности сыграть один из последних матчей сезона стало просто невыносимым. Масла в огонь подлили языкатые бабы, бравшие воду из близлежащей проруби.

Одним словом, с утра на катке посмел порыбачить один из наших углянских мужиков.

Глубокой ночью возле его двора, огороженного длинными плетнями, собралась вся мальчишеская братия Пролетарки. Плетни по одной команде хрустнули с концов кольев и по глубокому снегу «ушли» далеко в лес — в чащобу...

К концу дня от этой новости хохотала не только наша Пролетарка, все село по сути.

Туго пришло рыбаку после той ночи. Лихие деньги сорвали с него мужики-лошадники за доставку плетней из лесу обратно...

Ох, простите великодушно. Заболтался. И чуть было не забыл о самой главной истории, произошедшей несколько позже. О хуторянах-хрепищенцах она. О тех, которые лишь вскользь упомянуты выше.

В зимнюю пору они ходили в школу как раз через нашу Пролетарку. И каждое утро раздавался их посвист возле того или иного двора. С хуторянами дружили, а некоторые из нас попросту приходились друг другу двоюродными или троюродными братьями.

Тем не менее, когда по школе прокатилась новость о том, что хуторяне предложили сборной школы по хоккею сыграть матч в одно из ближайших воскресений, — смешок покотился нешуточный. Даже карапузы живо обсуждали эту тему и вместе со всеми пребывали в томном предчувствии жесточайшего разгрома хуторян.

В то долгожданное воскресенье погодка удалась на славу — солнечная, безветренная, с легким морозцем. И потянулись к середине села на Кривушу со всех концов игроки и зрители. Конечно же, все торопились, и вскоре возле катка атмосфера сложилась до того лакомая, что хоккеисты вышли на лед, не выдержав ожидания. И зрителям любо-дорого было на них посмотреть: все при всем — парни на подбор, конечки на ботиночках, клюшечки фабричные, свитера нарядные. Однако же игра «свои против своих» резко остановилась от чьего-то громкого возгласа: «Идут!»

Хуторяне шли через широкий луг по снежной целине на лыжах — ровно шесть человек, след в след. Время от времени задний обходил всех и становился передним. Когда эта небольшая колонна подошла поближе, все рассмотрели, что хуторяне шли без палок. Клюшки-самоделки торчали из-за спины, как ружья, а удерживали их на правом плече коньки, прихваченные сыромятиной за ручку в противовес.

Неторопливо спешившись, гости принялись привязывать «дутьши» на валенки. И тут тишину разорвал безудержный общий хохот. Один из хуторян был никому не знаком, и был он рыжим-рыжим, и вязал он, в отличие от всех на валенки «снегурки», а клюшка, стоящая возле него ручкой в снег, все также была смешной до потехи — крючок, да и только.



Хохот стих, как по команде, когда гости закрутили карусель разминки возле своих ворот, а рыжий пошел в раскат, по всему катку. Он нарезал круг за кругом, ловко избегая столкновений, демонстрируя такую скорость, от которой становилось жутковато и нашим хоккеистам, и зрителям.

С первых минут игры шайбы стали влетать в ворота Среднего Икорца одна за другой. Хуторяне играли гораздо смелее и на большей скорости, полностью господствуя на катке. А рыжий играл лучше всех и забивал больше всех в своей команде. Вдобавок ко всему только он умел с хода щелчком вонзить шайбу в ворота.

Лишь под занавес нашей сборной удалось забить гол престижа под ликование девчат. Да что с того? Хуторяне мгновенно огрызнулись тремя шайбами в ответ, и время матча истекло.

В понедельник в школе на переменах царила тишина, о причине которой знали даже технички. А хуторяне держались стайкой, ни от кого не скрывая своего отличного настроения.

С тех пор сборная школы уже не рисковала играть с хуторянами. Просто несколько лет подряд случалось одно и то же. Хуторяне появлялись на катке самой сильной уличной команды по очередной зиме, громили соперника и уходили при абсолютной тишине по уже протоптанной лыжне...

В начале семидесятых в Среднем Икорце господствовала мода на Воронеж. Он, как огромный магнит, находящийся поблизости, вытягивал из села молодежь. Одни уезжали на учебу, другие — сразу же на работу. И село ежегодно теряло три-четыре выпускных класса. Терял ежегодно свою молодежь и хутор Хренище. Вместе со всем этим само по себе стихло соперничество хуторян с командами Среднего Икорца по хоккею с шайбой.

Оно просто превратилось в страстную борьбу последних поколений послевоенной пацанвы нашей Пролетарки с хуторянами.

Они по-прежнему ходили к нам в школу. Мы, видевшие самую первую игру на Кривуше карапузами с борта, мечтали о победе. Они, воспитанные старшими братьями, неизменными победителями матчей в Среднем Икорце, — ни за что не хотели отдавать верхушку.

Хуторяне однажды пригласили нас к себе по перволедью на озеро Песчанку. И разгромили нас в пух и прах среди родников на катке... Зная эти родники сызмальства и привыкнув к ним, играли они в тот день с особенным куражом, дескать, знай наших. Правда, и берегли нас друзья-соперники в том матче по-особому: даже не позволяли никому из гостей отправиться за шайбой, ушедшей за линию ворот. Родников за обоими воротами было еще больше.

С той поры по общей договоренности матчи случались только у нас на реке Икорец — на катке, сдвинутом в самую ближайшую точку от хутора.

Вырвали мы победу у хуторян-хренищенцев в 1976-м. Это был честный матч по составам команд — год в год. Хуторяне, кстати, к этому времени уже давно тоже играли фабричными клюшками, на «канадках» с самодельными задниками. Да вот только наш Виктор Фоминов стоял в воротах на коньках, с поролоновыми щитками на ногах, с маской на лице, с ловушкой-самоплеткой на рукавице. А за нашими воротами хрипло кричал весь матч единственный зритель — его старший брат Петр, великодушный вратарь по футболу и хоккею, отлученный от этой игры по случаю своей великовозрастности.

И Виктор не подвел ни нас, ни брата — творил чудеса. Его чудеса и принесли нам долгожданную победу, ведь игра на площадке шла на равных.

Увы, это была последняя игра «последних из могикан». Хоть и договаривались мы с хуторянами о матче-реванше на другой год, да как-то не собрались — ни мы, ни они. Несколько человек с обеих сторон разъехались, а достойных замен им не нашлось.

...До боли грустно теперь смотреть на заснеженную реку Икорец по приезде домой в зимнюю пору — ни одного пяточка чистого льда. И редко кто теперь помнит о хоккейных страстях, всевластно царивших здесь над молодежью всего Среднего Икорца.

\* \* \*

...По мере того, как затихает клев краснопера, так и гаснет мой интерес к рыбалке. Не хватает у меня терпения высидеть подлещика и плотву с глубины. Не тот клев на них, как в былые годы, — Федот, да не тот... Дед Петр бурчит на меня потихонечку — дескать, чего прогуливаешь. Однако невольно сам тому способствует, ежеутренне жалуясь на этот самый пресловутый клев.

Вся сила вспыхнувшего детства начинает уходить у меня на плавание. Утро начинается с родимого мосточка возле нашего огорода. Он идеально приспособлен батеи и для забора воды, и для купания. Чуть попозже плыву в затон, на песочек возле сосны. Немного далековато кажется поначалу. Зато через несколько дней крепнущее тело уже просит этот ежедневный заплыв как лакомый кусочек.

А после полудня время от времени хаживаю под Кручу. Это — наш углянский пляж — присутственное место, так сказать, ибо в летнюю пору здесь происходят все встречи блудных сыновей и дочерей родимого Угла.

Вот и в этом году многие опять поднагрнули. Кто в одиночку, а кто и с семьей. Людно под Кручей. Сердце радуется. Все — как в былые годы.

Отец поначалу на меня поругивается, что хожу под Кручу босиком. А потом понимающе успокаивается. Чего рисоваться, коли помнит тебя здесь каждый голопузого, дочерна загоревшего, рассекавшего по улице и под Кручей в одних трусах сатиновых?..

Оттого под этой самой Кручей иной раз хочется крикнуть: «Да что же вы делаете, девчата?!»

Все потому, что девчата наши, уже давно ставшие мамашами городскими, не дают своей ребятне вволю купаться. Силком тянут из воды белоснежных чад, кутают их в огромные махровые полотенца на солнце палящем. Смех, да и только: чуть зазевалась мамаша — чадо откидывает шикарное полотенце на пыльную траву и с торжествующим воплем бросается в воду...

Спасибо тебе, милая моя река, за вагон здоровья, который подарила ты нам всем в свою пору. С нами рядом никто не стоял во время купания. И купались мы до синего подбородка, до гусиной кожи.

Помнится, выскочишь на бережок весь замерзший, сожмешься в комочек на солнышке, и оно тебя за несколько минут без полотенца и подсушит, и согреет. А как только начнет немного припекать спину и голову, ты уже опять с гиком и криком бросаешься в воду. А как иначе? Ведь все там, в воде — там смех, брызги, игра в латки-догонялки, там плавает китом перевернутая кверху пузом лодка, с которой можно попрыгать и вниз головой, и бомбошкой...

Вот тут, под Кручей, вдруг и выплыла из памяти довольно поучительная история.

Одним словом, наша двоюродная сестра после окончания художественного училища попала на работу по распределению в Москву и там вышла замуж.

После свадьбы я ее долго не видел. Потом однажды, будучи в Икорце, заглянул как-то проведать родителей сестры — тетю Фросю и дядю Колю. Мы сидели во дворе и делились новостями. И тут из дому вдруг вышел их внук Славка — красивый, ладный, крепкий. И я с огромным удовольствием познакомился с племянником.

Потом Славка, попросив деда с бабкой не беспокоиться, исчез куда-то по своим мальчишеским делам. И старики с гордостью и смехом стали рассказывать о своих методах воспитания внука.

Славка был еще очень маленьким, когда родители впервые привезли его в Икорец. У сестры, увлекавшейся научными методами ухода за малышом, что-то не получалось. Оттого Славка поначалу был слаб и бледен, неуверенно ходил. И супруги решили ехать на море, но перед тем заглянули к старикам — внука показать да повидаться.

Увидев внука, поняв суть дела, дед с бабкой восстали и выдворили молодых родителей на море одних, без Славки, на прощание небрежно слушая многочисленные советы по поводу того, чего можно, а чего нельзя есть и делать чаду...

По приезде родители, как говорится, бегом бежали от станции, сгорая от нетерпения. Распахнули калитку, а во дворе — дед с бабкой на скамеечке посиживают. Славки нет.

— Где он? — воскликнули они в один голос.

— В огород пошел, к речке, — отмахнулись старики.

— Как?! Один?! — возопили родители, и отец уже действительно бегом бросился в огород.

Добежав до бугра, увидев Славку живого и невредимого, замер вдруг на месте, не угадав сына. Тот босиком, в одних трусиках, загоревший, весело и крепко шагал по тропинке, на ходу уминая хлеб с зеленым луком...

Беспредельно радостной в итоге стала встреча родителей с сыном. И потом Славка уже каждое лето непременно обитал в Икорце у деда с бабкой.

\* \* \*

По вечерам, без рыбалки, для полного счастья мне не хватает только футбола. Ох, и погоняли мы в него в свою пору всласть...

После схода снегов, как звездочка, вспыхивала лапта. До того страсти накалялись, что взрослые иной раз не удерживались и присоединялись к нам.

Вспыхивала лапта, да быстро гасла. Ребятня дружно уходила из лапты на футбол — готовится к традиционному матчу с ветеранами.

Была такая крепкая углянская заправка — сыграть этот матч на Пасху. Играли на денежку. Ветераны клали в призовой фонд по рублику, ребятня — по полтинничку.

Никогда, скажу я вам, ветераны не хотели проигрывать — всерьез бились с ребятней. А победу все-таки чаще всего вырывала ребятня. И призовая денежка неизменно шла только в одно русло — на покупку но-

вого футбольного мяча — общего, прошу заметить. И этот мяч никто не мог ни зажать, ни зажилить. Ночевать мяч мог в любом дворе, а целыми днями до вечера его ждала только одна судьба — быть битым азартно и безжалостно, пока не истреплется окончательно.

Непонятно откуда к нам однажды прикатила игра с футбольным мячом под ласковым названием «жопка». Представьте себе такое. Все сидят на травке, а один — на ногах, в разгоне — водила, стало быть. Задача водилы — поразить мячом любого из сидящих ударом или броском в руку, живот, грудь, плечо или голову. При этом все стараются замотать водилу до предела: ужами извиваются, уворачиваясь от летящего в них мяча, ловко передвигаются по траве, не отрывая от нее заднее место. А самая главная задача — как можно дальше отбить мяч от сидящей компании, с хохотом или присказкой. Тот, кто изловчился и сумел поймать летящий в него мяч, не коснувшись им земли, имеет право торжественно встать и садануть мяч с рук ногой как можно дальше — гуляй, водила, работай ножками, право посидеть на травке можно заслужить только ловкостью и точностью.

Вновь прибывший и желающий войти в игру должен сначала отводиться. Того, кто не смог отводиться сегодня, сия кара не минует завтра. «Мудрецу», забывшему вдруг это правило, никто и никогда не постесняется напомнить. Умри, но отводись — такой закон.

Все хорошо, вот только матушки гоняют за зеленые от травы штаны — плохо они отстирываются на этом месте.

«Жопка» — это прелюдия перед футболом. Игра прерывается в любой момент, когда народа для матча уже достаточно. А как быть, если нечет? Лишний игрок в компании футболистов — это яблоко раздора. Никому не хочется сидеть в запасе, никому не хочется проигрывать из-за лишнего игрока, никому не хочется быть нечетом. Споры и обиды случались на эту тему нешуточные. И никто не хотел уступать.

А брат Иван, отличавшийся с детства игровым изобретательством, вдруг пресек все препирательства раз и навсегда, выдав гениальное футбольное изобретение. С той поры и повелось. Если случался нечет, то каждый ставил себе небольшие ворота по кругу и играл только сам за себя: и как вратарь, и как полевой игрок (лишь одно крепко-накрепко не позволялось — ловить мяч руками в рамке ворот или поблизости от них, за это нарушение следовало наказание — пенальти, который бился с небольшого расстояния пяткой в пустые ворота провинившегося). В борьбе за единоличную победу главное — не пропустить пять мячей в свои ворота. Пропустил — сиди, жди финала. Мечтай о чемпионстве в следующей игре. И будь уверен — ежели повезет и ты станешь чемпионом, то в следующей игре толпа тебя не простит и сразу же возьмется общими усилиями выбивать тебя с поля пятью голами. А потом, добившись желаемого, рассыплется на коалиции и будет страстно и не без интриг выявлять еще одного сильнеешего.

К счастью, все наши футбольные перипетии каждый вечер мудро сглаживала река под Кручей. Она заботливо смывала с нас пыль баталий и гасила страсти своей освежающей парной теплотой.

\* \* \*

...Вот так и подошел последний день моего отпуска. И на песочек в затоне сплавал, и с батеи покалякали о многих вещах, о которых никогда не упоминали доселе, и под Кручу раза три-четыре сходил. А теперь вот сижу вечерком под все той же Кручей после купания на зорьке и не хочу уезжать.

Не хочу уезжать из детства в мир взрослых — с одной стороны, интересный и привлекательный, а с другой — обманчивый и колючий, донельзя завистливый. Уже не первый год брожу я в нем вдали от родимого Угла. Спасаясь и защищаясь от него всегда и везде только работой. Она, как правило, поглощает меня с головой, помогает крепче спать, меньше задумываться обо всех несправедливостях, никому не завидовать.

Вот здесь, в прощальный вечер, под Кручей, ни с того ни с сего передо мной неожиданно выкатывается самое главное и вытягивается в единую крепчайшую нить...

Вместе с нами жила вдовья мать отца — бабушка Любаша (именно так ее называли люди). При моей памяти она больше полеживала — как бы отдыхая. Зато когда вставала, в доме назревал праздник. Это означало, что бабушка будет печь хлеб в печи.

Хлеб у нее никогда не подгорал и никогда не случался непропеченным, а пекла она его на капустных листьях. Бог ты мой, какой это был хлеб! Какой запах стоял в доме, как быстро расходился этот хлеб и к столу, и без стола! Магазиновый хлеб не шел с ним ни в какое сравнение.

А с пасхальными бабушкиными куличами в нашем Углу не мог сравниться никто. С годами она обучила этому искусству матушку. Пекли они эти куличи не на капустных листьях, но всякий раз случалось одно и то же: зайдешь в дом после полудневной отлучки от него по сему случаю и сразу же садишься — голова кружится от восхитительного аромата. Как было выдержать такую пытку до утра?

На первый взгляд, матушка грешила, тайком от бабушки деля меж нами один кулич руками до освящения и разговения. А если вдуматься, может быть, вот так легко и просто уводила она нас по жизни от воровской дорожки.

Неспроста получались у бабушки такие хлебы и куличи. Бабушка прожила долгую несладкую жизнь. Пятерых деток поднимали они с мужем в жесткую пору между двумя мировыми войнами, поди, всласть по жизни наработалась и при том научилась каждую мелочь до ума доводить (две войны эти прошел дед Федор, а домой к жене и детям чуть-чуть не дотянул — погиб в 1945-м). В довесок ко всему бабушка умела лечить. Она истово верила в Бога. Зачастую к ней приходили женщины. По сему случаю приносилась из реки водица свежая, и бабушка начинала священнодействовать. Подмогой ей в этом были семейные серебряные, потемневшие от времени, оклад с распятием Христа и Божья Матерь с младенцем. По икорецкому убеждению, эта вода сильно помогала грудным детям. Помогла эта вода и мне когда-то.

Именно под Кручей случилась со мной в раннем детстве серьезная беда. Здесь зимой и летом, кроме наших детских забав на бугре, под бугром, в реке и на реке, царило и хозяйство так называемого «Плодоовоща».

Прямо на Круче как бы висел огромный соляной сарай, чуть ниже сидела впаянная в Кручу землянка, используемая как склад. Напротив землянки, возле берега, над водой стоял широченный дощатый мосточек, а возле мосточка притыкался баркас. Охранял все это хозяйство одноглазый сторож с презабавным прозвищем. Ох, и доставалось же ему хлопот! Не давали ему покоя углянские пацаны, так и клубились возле «Плодоовоща».

Организация эта занималась засолкой овощей в бочках. А бочки с соленостями опускались для хранения и особой доводки в реку до глубокой зимы. Для этого по обоим берегам были прочно прикопаны парами столбы. Меж столбов натягивалась проволока, и бочки подвешивались на нее. Чтобы они не всплывали, на проволоку подвешивали еще и балласт — такие же бочки, но только с песком.

В итоге груз получался немаленький, оттого-то парные столбы прикопывались под углом к глади реки.

Вот один из таких столбов и поймал я лицом по ранней дошкольной младости, когда скатывался с Кручи вниз на санках. Отлила, отмолила мое лицо бабушка. Только крохотная ямочка на правой щеке осталась на память по жизни.

Не осталось только следа от крепчайшей детской веры, от почитания образов уже с порога начальной школы, в которую я пошел с крестиком на груди.

На первом же медосмотре так отожгли меня за это прилюдно, что бежал я после уроков домой, как ошпаренный. И, прибежав, что-то кричал родителям и бабушке про их обман и неправду. Мало того, и крестик в пылу сорвал, и креститься перестал надолго. Словно держал меня кто-то за руку крепко-крепко...

Сурово посматривали на меня образа в родительском доме всякий раз при возвращении. Вновь и вновь при этом оживал в душе уголок, в котором царили острастка от всего худого и непотребного, крепкая детская вера в то, что где-то там есть ОН — мудрый и справедливый, воздающий всем по заслугам.

И лишь через три десятка лет после терзаний и сомнений, после копания в книгах, после череды особых случаев с мистической окраской поднялась рука и с некоторым трудом вспомнила, как надо осенять себя крестом.

...Прости, бабуля, меня за эти годы. Прости за то, что почти тридцать лет понадобилось мне, чтобы понять всю горечь есенинских строчек: «Стыдно мне, что я в бога верил. Горько мне, что не верю теперь». Ученые — вот чума, ученость — вот причина. Хотя, как сказать, может быть, за счет высокой грамотности Россия сейчас находит в себе смелость среди высот цивилизации искать «родники» в храмах.

Я каждый раз радуюсь, как ребенок, когда вижу строительные леса возле забытых, полуразрушенных церквей. Когда я был подростком, мне казалось, что вымрут бабули, и вместе с ними уйдет в никуда их «обманчивая» вера. А время выкинуло всем нам такое коленце, что в церквях становится все больше и больше молодых лиц, которые так же, как и я, или ищут, или уже нашли эту самую крепчайшую нить...

\* \* \*

Идя из-под Кручи мимо самого крайнего дома, в почти уже стусившихся сумерках замечаю на крылечке Василия Ефимовича. Он трогает мое задумчивое настроение словом:

— Что-то поздновато ты сегодня, Гриш?

— Последний раз был, завтра уезжаю, — отзываюсь я и усаживаюсь около него на ступеньках крылечка.

Некоторое время мы согласно молчим, а потом Василий Ефимович роняет:

— Все-таки красота у нас здесь редкая. Зимой хоть волком вой, зато летом рай. Всяко бывало, всяко светило, а вот оторваться от этого бугра я так и не смог. И не жалею.

Перебросившись еще несколькими скупыми фразами, мы на том и прощаемся. До дома рукой подать, а мое утонченное состояние не исчезает, и я автоматически приписываю эту встречу к той же крепчайшей нити, исходя из того, что случайных встреч не бывает...

Терпеть умел Василий Ефимович в свое время как никто другой. Целыми днями сиживал в лодке неподвижно, как сфинкс. Ждал хотя бы одну-разъединственную поклевку. А если случалась та поклевка, то умудрялся он взять сазана на удочку, да такого, что весь наш Угол сбегался полюбоваться его уловом...





**Наталья Евгеньевна Харитоновна** родилась в городе Красногвардейске Белгородской области. Окончила Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работала инженером-технологом в локомотивном депо Лиски. Публиковалась в «Литературной газете», журнале «Подъём», региональных изданиях, альманахах. Автор поэтических книг «Спрятанный город», «На семи ветрах». Лауреат фестиваля поэтического творчества «Воронцовая Русь». Живет в городе Лиски.

**Наталья Харитоновна**

## **ЗАСТУПНИЦА ЛЮБВИ**

### **БЕРЕЗОВАЯ РОЩА**

По тропинке пустой и печальной  
Ноги сами приводят сюда.  
Здесь за сук зацепились случайно  
Пролетевшего века года.

Их уставшие пальцы немеют,  
Ощущая утраты свои.  
Здесь отпеть чьи-то души посмеют  
Только иволги и соловьи.

Здесь в жару, и в дожди, и в морозы,  
Неповинной склоняюсь головой,  
Словно матери плачут березы  
Над окопом, заросшим травой.

Я с березой беседу затею,  
Не боясь показаться смешной,  
Потому что я тоже владею  
Этой грамотой берестяной.

И отмоют счастливые слезы  
Мою душу в святой тишине...  
Я хочу, чтоб хотели березы  
Иногда вспоминать обо мне.



\* \* \*

Ой, вы, чащи, заповедные леса!  
Что вещают ваши птичьи голоса?  
Есть поляна меж березой и сосной,  
Там лежит, раскинув руки, Царь Лесной.

Были, видимо, придуманы не зря  
Воды, волны, океаны и моря.  
Прислонясь к скале обветренной щечкой,  
Там в кораблики играет Царь Морской.

Ты не вейся, черный ворон, надо мной —  
Да не даст меня в обиду Царь Лесной!  
Не ходи за мною, скука, день-деньской —  
Да не даст меня в обиду Царь Морской!

\* \* \*

Я глобус — шар земной — в руках держу.  
На нем своей страны не нахожу.  
Там, где была она, страна чужая.  
Ну, кто бы знал, что доведется мне  
Когда-то жить совсем в другой стране,  
При этом никуда не выезжая?  
Да стоит ли все к сердцу принимать  
И звонко копыа острые ломать?  
Печаль бездонней, если глубже знанья.  
И светит мой костер на берегу,  
В котором я сухие листья жгу,  
А, может быть, свои воспоминанья...

\* \* \*

Как упрямо метель крутила,  
Заметая следы на снегу!  
Только я его не простила.  
Просто думала, что смогу.

Время вышло, когда какое.  
Время — стуже и время — цветам.  
И оно роковой рукою  
Все расставило по местам.

А потом даже некогда было  
Оборачиваться на бегу.  
Я навеки его забыла.  
И не думала, что смогу.

## НА СЕМИ ВЕТРАХ

Ни уютных юрт,  
ни цветных шатров —  
не найти приют  
у семи ветров,  
не разжечь огня,  
не согреть воды,  
не отнять меня  
у моей беды.  
Промотаюсь в пух,  
проиграюсь в прах  
на семи ветрах,  
на семи ветрах.

Но откроет там,  
скромен и велик,  
Твой пресветлый храм  
Твой пречистый лик.  
И горит в судьбе  
свет Твоих очей.  
По плечу Тебе  
боль моих ночей!  
Чтоб живую кровь  
замутить тоской?  
У семи ветров  
силы нет такой.  
Одолею ночь  
и развею страх  
на семи ветрах,  
на семи ветрах!

\* \* \*

Я как в воду глядела.  
Пролетела весна,  
И теперь твое дело —  
Сторона, сторона...

Было делу основа —  
Обещать, обольщать...  
Смысл дела иного —  
Понимать и прощать...

Но для каждого дела  
Наступает предел.  
Я как в воду глядела.  
Ты как в воду глядел.

## МОНАСТЫРЬ НА ГОРЕ

Не спешите, дойдем понемногу.  
Монастырь на горе — ближе к Богу.  
Как святая рука,  
Как огонь маяка  
Для людей, потерявших дорогу.

Он под небом бездонным ночует,  
Человечии души врачует.  
А над ним — тишина.  
А за ним — глубина —  
Времена, времена, времена...

Не спешите, дойдем понемногу,  
Непрерывно отыщем дорогу.  
Да кого ни спроси —  
Так всегда на Руси —  
Монастырь на горе — ближе к Богу!

\* \* \*

*И звезда с звездою говорит...*

М.Ю. Лермонтов

В мире только речка,  
я и тишина.  
Успокой сердечко,  
тихая волна!  
Что оно так бьется  
от разлук и встреч?  
Что в нем остается?  
Что ему беречь?

Скрыты глубиною  
Чистые ключи.  
В небе надо мною  
звездные лучи.  
Волей неземною  
вечности укор —  
В небе надо мною  
Звездный разговор.



**Валерий Владиславович Бубельник** родился в 1964 году в городе Троицке Челябинской области. Окончил Воронежский государственный педагогический институт. Работал учителем, обозревателем районной газеты «Лискинские известия». Публиковался в региональных изданиях, журнале «Подъём». Автор книг художественной и документальной прозы «Чертово колесо», «Мешочек серебра», «Лискинская сторона» и др., соавтор фотоальбома «Лиски и Лискинский район». Лауреат премий Союза журналистов России, администрации Воронежской области. Живет в городе Лиски.

**Валерий Бубельник**

## **ЗАКЛАДКА ДЛЯ ПАМЯТИ**

*Рассказы*

**К**атя и Марина — маленькие сестры с большими глазами. Особенно они большие, когда девочки ссорятся.

— Катька! Ты мне всю жизнь испортила! — верещит Маринка, имея в виду свою трудную семилетнюю судьбу.

Сестра, молча сопя, на правах старшей отпихивает Маринку руками и ногами. Вокруг них с лаем носится городской пес, взятый на деревню для укрепления нервной системы.

Причина ссоры — кленовый лист. Правда, не совсем обычный. Он одиноко висит на нижней ветке, вцепившись в нее костистой коричневой лапкой. Лист — необыкновенно крупный и весь наполненный изнутри разноцветными жилами, хотя еще только середина лета. Корни старого клена холодит ручеек, живой, как утро.

Кто первым увидел этот замечательный листок и, следовательно, кому он должен принадлежать, как раз и выясняют сестры. И тут появляется бабушка, возвращавшаяся из магазина.

Поле брани переносится к бабушкиному подолу. Бабушка, наученная дипломатии долгим добыванием жизни сначала для детей, а потом для внуков, берет слово:

— Кто вам сказал, что это ваш лист?! Он вырос на клене, ему и принадлежит. И рвать его незачем. Вам волос сорви — больно будет? Так и дереву. Вот когда он слетит на землю, тогда и делите.

— Я из него закладку для книг сделаю! — первой находится Катя.

— Нет, я сделаю!

— Ты же читать не умеешь!

— Зато буквы уже знаю! А остальное мне бабушка прочитает! Прочитаешь, ба?

— Обедать пора, грамотеи!

После борща со сметаной листок показался еще роскошнее. Девочки разглядывали его на солнце, любуясь таинственными узорами. А лист в ответ помахивал удивительно широкой ладонью, словно поддразнивал.

— А правда, что листья — это волосы деревьев? — спросила Марина, когда они вернулись в дом.

— Только у людей они седеют, а не желтеют, — назидательно уточнила Катя, — но тоже выпадают каждую осень. К старости.

— Тогда выходит, что деревья каждый год стареют... заново? Жалко.

— Что — жалко?

— Жаль, что человек так не может.

— Зато он может посадить сколько угодно деревьев, — вступила в разговор бабушка. — Они дадут человеку и дом, и тепло. Когда вырастут.

— Когда станут большие, как папа и мама?

— Какие они большие? — усмехнулась бабушка. — Если с вами не справятся.

— Ба, а тебе тот кленовый лист понравился?

— Нет.

— Почему?

— Чтоб вам больше досталось.

Пролетала неделя, другая. Старый клен по-прежнему не хотел отпустить от себя лист. Между тем листок потихоньку жух, сворачиваясь в лодочку. И девочки стали опасаться, что ночью, оставшись без присмотра, лист разожмет свой черенок и отправится в плавание по ручью. Сестрам казалось, что лист давно мечтает об этом путешествии, устав от неподвижности. Они даже хотели укрепить черенок шариком пластилина, но потом передумали и не стали вмешиваться.

Сидя под кленом, слушая листву и тонкий гомон ручья, они мечтали. Мечтали о новых куклах, мечтали, чтобы приехали в гости мама с папой. Гадали, чего вкусного опять приготовит бабушка. И какой портфель купят Маринке-первокласснице, до сих пор не решившей, кем ей лучше стать: врачом от всех болезней или библиотекарем, как бабушка. А Катя уже твердо видела перспективу: она будет учить детей, чтоб они не оставались такими неграмотными, как Марина.

После долгих сомнений они написали фломастером на кленовом листе свои имена. На случай, если листок потеряется. Выводили очень аккуратно, подложив книжку, чтобы не повредить нежную мякоть растения. Для этого Марина специально тренировалась на бумаге.

Каникулы кончились. Но листок так и не собрался покинуть ветку. Девочки уехали в город, строго наказав бабушке следить за будущей закладкой для книг. Уехали. И за мультфильмами и учебой вскоре позабыли о своей прекрасной находке.

Прошло много-много времени. Сестры выросли, вышли замуж, а бабушка умерла. На семейном совете было решено продать бабушкин дом: пустые дома, скучая, быстро вянут, а покупатель подвернулся щедрый.

...Шофер грузовика курил в кабине, пока собирали бабушкины вещи.

Перевязывая в стопки бабушкину библиотеку, Екатерина и Марина наткнулись на потрепанный томик сказок. Тех самых, какими бабушка убаюкивала внучек. Краска на обложке выцвела и потерялась, а страницы распухли.

Сестры с восторгом принялись перелистывать сказки, вспоминая то лето у бабушки. И тут из страниц вылетел кленовый лист. Неправдоподобно большой, щедро расписанный осенней палитрой. Пахнувший теплым лесом.

— Чур, я первая нашла! — с детской дурашливостью воскликнула Марина.

— Нет, я! — в тон ей повторила старшая.

Они со смехом начали отбирать друг у друга находку. И вдруг замерли. На листе синими буквами проступили их имена, написанные несмысленным детским почерком.

— Хорошая закладка получилась, — дрогнув голосом, сказала Катя.

Упаковав оставшиеся вещи, они, не слушая мольбы водителя, отправились на родину кленового листа. На их любимое место у ручья, где они не были столько лет.

Там все осталось по-прежнему. И ручей, и большой клен, и огромное небо.

Только поодаль от клена оперилась молодая стайка деревьев, которые каждый год стареют заново.

## ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Начиналось утро. Шурику, бывшему инженеру, хотелось выть. На его шее равнодушно затягивалась петля денежных долгов, а большая часть заработанного вбивалась в такси, владельцем которого Шурик теперь являлся.

Начиналось утро. По улице носились собаки с напружиненными хвостами, а на порожках близкого пивбара с уместным названием «Заря» прикорнул бомж Федя, грея на коленях кота-алкоголика по кличке Вермут. Своих денег он обычно не имел и потому будто порывом ветра пристраивался к компаниям, молча и преданно заглядывая в рот пьющим. Тридцатилетнего Федю били за назойливость. Впрочем, сильно Федю никогда не били, поскольку это была своеобразная достопримечательность городка.

Федя очнулся, мучительно поглядел по сторонам и, держа пьяного кота в охапке, направился в сторону такси Шурика. Вояж имел единственный смысл, давно известный таксисту. И потому, не желая вникать в особенности Федино похмелья, Шурик медленно поехал серым асфальтом в надежде на клиента.

Пышные дворничихи мели по тротуарам осень. Проскакали, как мячики, веселые мальчики с портфелями, не изучавшие слова «инфляция». Из подъезда вышла мятая девушка. Шурик знал ее.

— Подвезти?

Валентина свалилась на сиденье:

— Только у меня денег нет. С собой. Хочешь, милый, пойдём ко мне, там и рассчитаемся?

Утро начиналось с обедков ночи.

Такси, не торопясь, двинулось к вокзалу, неподалеку от которого жила Валя и где Шурик рассчитывал на одуревшего от баулов пассажира.

По дороге заехали на заправку. Водители молча глядели на давно выматеренные цены и совали в окошечко деньги. Со вчерашнего бензин опять подорожал. Но это уже не бесило.

Таксист ехал мимо серых от дождей домов, среди которых время от времени вспыхивали витрины магазинов и магазинчиков, примелькавшиеся, как слово «привет».

Вот и вокзал с умершим фонтанчиком неподалеку. Раньше фонтанчик включали по праздникам. Потом в горле его что-то засорилось.

Валентина побежала домой отсыпаться. А таксист остался ждать удачи, неприязненно поглядывая на конкурентов в полированных «Волгах» с желтыми шашечками на бортах.

Поезда приходили и уходили. Пассажиров с баулами развозили конкуренты, бросаясь на добычу с крокодильим темпераментом. На «жигуль» Шурика никто не соблазнялся, хотя хозяин чуть ли не танцевал на капоте, зазывая клиентов. Какой-то смурной мужчина сунулся было в окошко, но увидев раздолбанную приборную доску, которую Шурику бесплатно изуродовал пьяный пассажир, устремился дальше.

Таксист расстроено поводит глазами по сторонам. По ряду машин, явно выбирая, ходили двое хорошо одетых, один в темных очках. Что-то их не устраивало.

Бывший инженер одернул пиджак, выходя из авто, как на панель.

— Командир, не устроишь экскурсию по городу для моего друга? — обратился мужчина без очков. — Он тут родился, но не был здесь уйма лет. У нас четыре часа до поезда, и он просит показать нынешние достопримечательности.

— В какую сторону поедем? — равнодушно поинтересовался Шурик, боясь спугнуть удачу.

— Ты не понял. Ему требуются достопримечательности. А я пока посижу в баре — не переносу машин. Успеешь?

Таксист торопливо кивнул. Товарищ с облегчением пожал ему руку, усаживая спутника на переднее сиденье. Что-то в поведении молчаливого человека в очках показалось Шурику странным.

— С чего начнем? — поинтересовался водитель.

— На ваше усмотрение, — ответил пассажир, глядя вдаль. — Курить можно? Я волнуюсь. Помогите, пожалуйста, я плохо вижу.

«Вот так турист!» — чуть не сказал вслух Шурик. А непонятный клиент жадно вдыхал воздух улицы вперемешку с табачным дымом.

«Ну, сейчас я тебе напомню историю родного города! — обрадовался таксист. — Не рассчитайся! Вот тебе и бензин на завтра и завтрак в придачу!»

— Тронем помалу? — обратился он к незнакомцу.

Решив проверить догадку, Шурик для начала назвал дохлый фонтан монументальным сооружением, мрамор для которого везли чуть ли не из Греции. Пассажир оживился:

— А на моей памяти здесь стоял старенький фонтанчик!

— Это когда было!

Дальше к Шурику пришло настоящее вдохновение. Не торопясь, кружа вокруг вокзала, он трещал без умолку о прекрасных памятниках, гостиницах высшего разряда, дворцах молодежи и кафе с ресторанами,

высотных зданиях, которых здесь отродясь не бывало. После пятого или шестого круга увлеченный водитель обозвал жалкую конуру фотографа районной фотостудией. Контраст был настолько сильным, что таксист покраснел от собственного вранья, и собрался было в оправдание продемонстрировать действительно новое здание администрации, но вовремя вспомнил о расходах на бензин.

Клиент улыбался от восторга, крутил головой и все время просил подробностей. Шурик не скупился, эксплуатируя ностальгию пассажира на полную катушку.

— А седьмая школа? Цела? Я в ней учился.

— Ее отремонтировали так, что не узнать! Подскочим?

Слепой кивнул. Машина снова пошла по кругу.

— Вот смотрите: пристроили подсобки, навесили балкончики, а у входа — колонны! — беззастенчиво лгал Шурик, удовлетворенно поглядывая на счетчик. — Может, проедем до вашего дома? — сжалился таксист. — Адрес помните?

Адрес пассажир помнил. И денег, судя по всему, у него было немерено.

На указанном месте стояло покосившееся строение, словно скрюченное зубной болью.

— Ну что?! — встрепенулся клиент.

— Стоит, — первый раз сказал правду таксист.

— Пустой?

— Пустой.

— Подведите меня, я хочу потрогать его, — изменился в лице клиент.

Шурик, не выключая мотора, исполнил просьбу. Незнакомец долго гладил морщинистые стены, вошел на крыльцо, где, отвернувшись, снова курил.

— Все! На вокзал. Пора! — сказал глухо.

Расплатился слепой щедро. Долларами. Сунул пачку, на которую Шурику можно жить безбедно месяц и, горячо поблагодарив, отправился с товарищем под руку на поезд. Шурик проводил его взглядом до самого перрона. А затем еще раз пересчитав дурные деньги, поехал по городу в дальнейших поисках. И чем дальше он ехал, тем неотвратимее мрачнел. Казалось бы: что за дело? Монета в кармане, довольный экскурсант в поезде. Долги похерены, жизнь прекрасна. Но вот город-то остался. Чужой и неуклюжий, совсем не похожий на тот, какой он только что выдумал. И он остался в этом городе. Такой же никому не нужный, как и несколько часов назад. И старенький мотор «жигуленка» снова зачихал, как гриппозный, напомнив о реальности.

Утренняя тоска с новой силой накатила на таксиста. Он тормознул возле бара, вышел из машины и заказал себе пива.

— Долларами берете? — спросил у бармена. — Бармен оживился:

— Может, вам отдельный кабинетик?

— Нет, я сегодня в народе.

— Вобла, раки?

— И рюмку водки.

Спустя полчаса у стойки Шурика вздыхали похмельные, среди которых ошивался бомж Федя, выпрашивая для своего кота стакан вермута, которые он каждый раз делил с братом меньшим.

Деньги летели. Летел и Шурик, без конца повторяя историю про то, как он якобы заключил выгодный контракт с иностранцем, и это его прощальный вечер. Ему очень охотно верили. Поднимали тосты за то, как



красиво Шурик заживет, как хорошо ему будет за границей, а такси свое он загонит по дешевке или лучше подарит.

Напоследок разомлевший Шурик сунул добытые доллары любимцу котов Феде, а дальше в памяти его случился провал.

Очнулся он в постели Валентины.

— Милый, — сонно потянулась к нему она: — Тебе хорошо было? Начиналось утро.

### КУ-КА-РЕ-КУ!

Витькин сосед купил по случаю петушков. Купил, чтобы поправить свое экономическое положение путем положения петуха в кастрюлю.

Для этого мероприятия в дворике общего дома в непосредственной близости от Витькиного окна был выстроен из дощечек слепой курятник. И поначалу все шло просто великолепно. Петушки исправно паслись, незаметно делали моцион и являлись образцовым семейством пернатых. До той поры, пока не оперились и не принялись громко заявлять о себе каждое утро.

Как вы догадываетесь, утро в понимании петуха и в понимании человека — не совсем одно и то же. Если быть точным, то далеко не совсем.

Когда это случилось в первый раз, тридцатилетний Витька, слесарь депо, проснулся в холодном поту. Витька жил один, а за темным окном явно кого-то душили. Причем жертва неестественно долго оказывала сопротивление.

С полчаса Витька тревожно вслушивался в незаконные интонации, комкая простыню длинными тонкими руками, пока не сообразил, что милые петушки начали ставить голос.

К чести пернатых нужно сказать, что драть горло они выучились довольно скоро. Да так, что не помогали ни задраенная наглухо форточка, ни подушка на голову.

Витька невзвидел белого света, оттого что стал видеть его слишком рано. Петушиный вокал сдергивал с него сон в три утра и с короткими передышками не затыкался до звонка будильника. Если бы слесарь был рыбаком! Но он был слесарем, и утренняя рыбацкая зорька не являлась предметом его вожделения.

С ошалевшей головой Витька чистил зубы и бороздил бритвой щетину. Работа в депо проходила в полудреме, а к ночи, упаковываясь в постель, он с ужасом ждал неурочной побудки. И, в конце концов, не выдержал.

Сосед не оказывал сопротивления — слишком уж красноречивы были красные от бессонницы глаза слесаря. Единственное, о чем молил сосед — об отсрочке:

— Ну, потерпи еще две недели! Корм, понимаешь, есть! А потом я их, сволочей, сам в банки закручу!

Прошло две недели. Потом еще две. Витька осунулся, стал путать правую и левую руки, что сказывалось на производительности труда. О чем бы он ни начинал говорить, речь неизменно сводилась к куриной теме.

Во время ночных бдений он до зубовного скрипа вынашивал планы истребления проклятых пернатых. Таким изощренным способом умерщвления подивилась бы даже инквизиция. Но наступало утро, и Витька отказывался от вендетты: слишком явными были бы улики.

Поняв, что еще неделя таких свиданий с природой — и он не сможет

считать себя достойным членом общества, Витька, психуя, изложил свою беду участковому.

— На каждый роток не накинешь платок! — демонстрируя фольклорную подготовку, возразил участковый. — Курица — птица глупая, но полезная. Так что не вижу здесь никакого криминала.

— Так не курица! Петухи, мать их!

На работе посоветовали: подсыпь вымоченного в вине зерна, петухи опьянеют и просят зарю.

В магазине слесарь долго стоял перед выбором: на какое вино могут клюнуть птицы? Не пожалел денег, взял дорогого, марочного.

...Ту ночь он никогда не забудет. Произошла ли ошибка в методе, или расположение планет было неудачным, только петухи, наклюкавшись, затеяли жуткий содом.

Для начала они выбрали себе вожака. Причем выбирали долго и ожесточенно. В конце концов, определился самый голосистый. Он взял ноту. Остальные нестройно подтянули.

Петухи не знали удержу! Начав гулеванить с вечера, они без устали продолжали до полуночи, перепев весь репертуар. И продолжили по новой.

Вычерпав в доме валерьянку, Витька взял водки и постучал к соседу. Всю ночь они обсуждали трудное экономическое положение страны под неистовый звон птиц.

На другой день сосед добросовестно законсервировал Витькины мучения. А одного петуха, изжарив на кавказский манер, съели за совместную дружбу. Ложась спать, слесарь аж перекрестился, чего сроду не делал. Заснул, как убитый.

В три часа ночи глаза открылись сами собой. Витька прислушался. Тишина. Ничего не мешает. Вышел на балкон покурить. Не помогло. Не спится и все тут!

Вот где начались настоящие мучения! Каждую ночь он ждал, что его сон потревожит негодная птица. И каждый раз ожидания не оправдывались. Нет, это, конечно, хорошо, что они не оправдывались. Но он стал вслушиваться в сон с такой же силой, с какой раньше пытался не замечать истошное ку-ка-ре-ку.

Слух обострился до болезненной крайности. Витька вздрагивал от любого шороха. Иногда ему казалось, что где-то издалека доносится петушиное пение. Он вскакивал, выбегал на балкон и — бдил. А когда на улице заходило, не ленился натянуть одежду, чтобы лишний раз убедиться, что сосед сдержал слово. Убедившись, успокоенно закуривал, но заснуть уже не мог. Что-то мешало. Стоял, любовался ленивым рассветом, на который давно не обращал внимания.

Витька вдруг поймал себя на том, что в эти утренние часы стал разговаривать с собой, спорить, чего за тридцать лет никогда не бывало...

А через пару месяцев вынужденных прогулок на балкон принес в редакцию журнала рассказ, начинавшийся так: «Витькин сосед купил по случаю петухов...»

## МУЖИК

Орел бьется с лебедем над порогом его дома. Отчаяньем вывернутая шея лебеда уже испачкана красным, и на полотне застыли сорванные перья орла.

— Где Толик живет?

— Дом с птицами увидишь — толкай калитку.

Калитка полновесная. А за ней, у забора, в перловке февральского снега — оттянутые уши двухпудовых гирь. По скамейке расселись круглыми задами гантели, нержавеющие свидетели давнего помешательства Анатолия. Они могут подтвердить, как сельский мужик вязал вместе пару двухпудовок и по двадцать раз подряд гири забывали про земное тяготение. Или как на спор с заезжими циркачами продельвал знаменитое упражнение гиревиков «крест», когда прямые руки разведены в стороны, и в каждой тужится гиря. Еще несколько лет назад, до травмы, Анатолий тешил душу и тело соревнованиями, до онемения срывая с груди призовое железо. Сейчас ему шестьдесят и он живет, где родился, в своем селе, где шапки-ушанки стогов, речистый Дон и взвесь комаров над озерами. Где многообещающий, как девушка перед расставанием, закат, и доносится прибой нового дня.

Анатолий идет по сено. Плачет от росы тропинка, меловые холмы вдоль реки лбами туман расталкивают, небо... черт знает какое небо! И коса за плечом дух с веток стряхивает.

Волнует все это. Так волнует, что на душе тяжело становится. Широкая у мужика душа, грузоподъемная. Но вберет в себя столько красоты, и как обкормленная птица взлететь не может. Хлопает крыльями: и поднять сил нет, и сил нет бросить. Идет Анатолий по сено, седой волос поблескивает.

Отец Толика погиб на войне, и мальчик нарисовал его по памяти. Соседки крестились и уверяли, что вылитый, мать молчала, подливая экономный керосин в лампу. А после того, как правление колхоза заказало Толику портрет Сталина во френче и березовой раме, стала посматривать на сына со слепым уважением.

Говорили, что у мальчика способности. Педагоги трепали по голове и советовали учиться. Семиклассник не послушал: испугался города и чужих людей, поэтому он самоучка.

Рисовал он обычно карандашом и тушью, называя эти рисунки черно-белыми. Покупка красок и кистей на месяц лишила покоя юного художника. Он никак не мог к ним подступиться, нюхая и глядя свинцовые тюбики с аккуратными лысынами пробок, щекоча холостой кистью натянутый, как барабан холст.

Был у Анатолия перерыв — лет на двадцать. Потом опять прорвало. На поднятие тяжестей.

И вот боковая комната — в разноцветных запахах краски, по некрашеному теплomu полу расползлись червячки охры и ультрамарина, а вдоль окон спина к спине построились картины. В доме их нигде больше не увидишь: жена считает это неудобным. Она гораздо моложе и современнее и до сих пор нравится мужчинам. С кокетливой выгодой. Муж же не разговорчив и свои картины не продает, и не выставляется, хотя давно хочет, но придиричив он к своей работе, стыдится.

Сейчас сидит, отслеживает красоту, устроившись на низеньком стульчике перед очередным пейзажем, ласково сугулясь, словно корову доит, и вскипает пена небесного молока, чуть зеленоватого от донника, и брызжут белила светом на полотно. Неправильно брызжут, неуместно, как кажется Анатолию. И он деловито, будто подбивая свихнувшийся черенок лопаты, напускает свежего сока в картину. То!

Сделав размашистый круг по комнате, снова возвращается к полотну. Не то!

Медленно топча вязаными носками пол, он подходит к прежним ра-

ботам, тасует, вглядывается — зацепку ищет, спокойно, без раздражения осматривается в самом себе и снова втыкает кисть, как лопату, в теплый чернозем холста.

Почернела сельская церковь из дуба, Дон сохнет на картине, а здесь — конец огородов, озеро. Стоит у печки старая копия васнецовских «Трех богатырей», раздражает:

— Надо ее загрунтовать...

Анатолий голый по пояс — жарко в доме. Оттого краски отметились не только на пальцах, но и на поклатом плече.

Тряпочкой вытирается кисть, распрямившаяся после трудов и ставшая похожей на своих собратьев. Сырая картина отставляется в сторону, сморщенные тюбики краски корчат ей рожи. Хозяин мастерской, закончив хлопоты по хозяйству, крепко моет мозоли ладоней.

Но можно быть уверенным: спустя час-другой, когда все уснут, лицо картины вновь преобразится: ведь душа крыльями бьет, ввысь рвется, груз ей подавай!

Разминаясь, Анатолий растягивает самодовольные пружины эспандера. Гири старается не трогать.

— Забрухали тяжести, — сопит он, — годы надо уважать!

Рдеет от усилий мощная плоть, хватает за живое эспандер и, прости, медицина, мужик сам не замечает, как ухватился за дужки гири, как вынесло их на недозволенную возрастом высоту.

Все вроде бы в порядке. В порядке скотина и пятьдесят соток огорода, каждую весну перемальываемого вилами в одни руки. Жена встанет в помощь и через полчаса вареная делается:

— Иди в дом!

Пружинят блестящие клыки вил, блестит тело от пота — спешит мужик. Пока до низа огорода доберется, наверху, на припеке, редиска уже налилась денежным соком. Корчевать, в пучки лохматые вязать, мыть. Да, повидал Анатолий рынки, но города так и не полюбил, терялся он в городе. Бессилел. От торговли без отпуска, от денег, которые любят счет. Бессилел и бесился, ощущая ненависть к неоновым магазинам, толпе автобусных остановок и себе самому, неизвестно для чего здесь оказавшемуся.

Ведь есть же у него дом, лично выстроенный, стойкая времянка, шпалы для которой Анатолий таскал на плечах, вызывая здоровый интерес окружающих. Дом в первый же год замело разливом по самые окна. Вода неохотно спадала, оставляя на стенах коричневые илистые рубцы, а хозяин занимал деньги на ремонт. Теперь каждый гвоздь дома снимает перед ним шляпку. Хороший у него дом, хотя многое следовало бы переделывать, считает Анатолий. И переделывает.

Летом, в четыре утра он будит в гараже мотоцикл. Жало косы отбито с вечера. К половине восьмого — на основную работу. Дальше — опять в борозду, пока не стемнеет в глазах.

Беспокойный он мужик. Тесно ему, до тоски. Оттого не работает — вламывает. Будто надеется наверстать что-то несбывшееся, но важное. И трещат жилы под тяжестью. Дурной он насчет тяжестей.

И снова тропинка. Вечереющая. Успокоенная. Сдержанная. По краям ее строки рассыпаны. Анатолий складывает их стопочкой.

Заблужусь в степи под первым громом,  
Убегу в осиновую синь.  
Только дома, только дома  
Слаще меда горькая полынь.

Стихов он стесняется и никогда не записывает. Побаивается, чтобы не нашли тетрадку и в то же время... Эх, время, время! Ведь вон под тем деревом когда-то с девкой стоял...

Недавно Анатолий купил баян. Хороший баян, за большие деньги. Приехал к другу в город. Решительный.

— Научи «Яблочко» играть!

— Да как тебя научить?!

— Да так, показывай!

Прошло с месяц. Прибыл Анатолий на урок, сыграл.

— О! Да ты на баяниста уже похож! Давай ноты учить!

Теперь он иногда выступает в клубе на праздники. Чаше же замкнет-ся на кухне, сидит, рыпит на баяне до утра, думает. И орел все бьется с лебедем над порогом его дома.

## МЕЖПЛАНЕТНЫЙ СОН ИНВАЛИДА СТЕПАНА

Попав в аварию, Степан на всю оставшуюся жизнь возненавидел любое средство передвижения, кроме собственных ног. А поврежденные ноги обеспечивали его только по дому и немного по двору.

Он лыс, сух и смел в своих суждениях, происшедших от запойного чтения, в перерывах которого включался телевизор. Если садился с мужиками в домино, то через пять минут партнеры бросали игру: Степан седлал своего любимого конька — путешествия — и скакал на нем до полного изнеможения слушателей.

Однако после недавнего события Степану пришлось заручиться мнением и печатью городского психиатра, подтвердившего письменно, что Ульяшин Степан Гаврилович, 1936 года рождения, житель Покровки, после контакта с инопланетянами и межзвездного полета на планету Сириус пребывает в здоровом уме и рассудочной памяти.

Сам-то Степан Гаврилович не сомневался в себе ни на процент. Жена его после стольких лет совместной жизни тоже не сильно сомневалась. Но вот окрестности утверждали, что с Сириусом Степан явно перегнул. Что инопланетяне — это уж слишком для Покровки.

Не найдя понимания, Степан нашел ручку и бумагу и сел за письмо, где намеревался изложить все как есть для пользы человечества.

Перед тем как отправить письмо в Академию наук, Ульяшин, как личность добросовестная и пунктуальная, предложил мне по дружбе проверить орфографию, объяснив попутно, что орфография — единственное, в чем он может ошибаться.

Поскольку вопрос: «Одиноки ли мы во Вселенной?» мучает меня самого по несколько раз на дню, я решил опубликовать письмо инвалида в надежде на то, что надежда умирает последней.

Опуская ряд авторских отступлений в адрес не верящих, предлагаю вашему вниманию отчет Степана Ульяшина о полете, вложенный в конверт вместе со справкой от психиатра.

«Тридцатого, вы знаете, у нас был апрель месяц. А я любитель последних известий. Включаю телевизор. Гляжу — показывают. Сидит за столом плотный мужчина, ну, ученый. И сидит диктор. Это я уже после в собственной мозге прокрутил — была какая-то конференция ученых, консилиум. Прежде чем выпустить это дело в эфир, они же обязательно проконсультируются друг с дружкой.

И полный ученый говорит: у нас ежегодно, не по России, а по планете, до пятисот человек крадет НЛО. Диктор задает встречный: «Зачем, — говорит, — крадут? Что, для экспериментов, что ли?»

Ну что за дело эксперимент, я, как земной человек, здравомыслящий, представляю. Я в пятьдесят девятом году побывал в Батуми и Сухуми. Знаю, в Сухуми есть институт. Биологический. И в одно прекрасное время, хотя грех сейчас говорить, меня вербовали как молодого человека для скрещивания с самкой обезьяны. Чтобы доказать, кто от кого произошел. Я как человек отказался!

Сейчас дойду до главного. Так вот. Эти инопланетяне владеют гипнозом. Ученые даже составили фоторобот инопланетянина с глазами молодой лани. Посмотрит он глазами молодой лани, и человек забывается. А меня баба моя уверяет: ты лежал на койке, и ты спал, а я рядом сидела! Что же тогда со мной случилось? Я лежал, но я же их видел! Бабку, ее, наверное, гипнозом подцепили и отключили! Как штепсель выдернули!

И входят в комнату трое. Такие же, как на мне, трико, только белые и цвет рыбьей чешуи. Двое взяли меня под руки, третий ноги подхватил, и понесли из коридора.

А тот ученый из телевизора рассказывал: большинство людей они возвращают. Это меня и подтолкнуло: не стал сопротивляться, лучше потом опишу все!

Плыву я, зажатый с боков, вместе с ними по улице. Прохладно, они ж меня прямо с койки взяли. Минут через десять вижу корабль.

Представьте себе болотную шестилепестковую лилию на нашем Белом озере — вот это точно он! Три лепестка — крылья корабля, три — опора.

На борту три кресла. Командир, чернявый такой, садится вперед. Меня размещают меж двух кресел.

Командир берет ручку, похожую на ручку коробки передач в машине, и дергает на себя.

— Что вы делаете? — спрашиваю.

— Произвожу регенерацию магнитного поля.

Может, они имеют какой-то свой язык, но они только молча переглядывались, опутанные проводами, а со мной говорили обыкновенно. И сами как обыкновенные мы.

— На каком топливе летаете? — интересуюсь.

— Без топлива. За счет изменения направления магнитного поля, — отвечает их главный.

— А на месте как зависаете?

— Да за счет перемычки.

Позже до меня, земного человека, дошло, что значит «перемычка». Я-то сам всю жизнь сварщиком проработал и представляю: вот я зарядил электрод в держатель. Прикасаюсь электродом к металлу. В этот момент короткого замыкания (перевожу сразу на земное!) железо гуд создает. Если к нему другое железо прислонить — прилипнет, остановится.

Поднялись мы. Инопланетянин термос открывает, и мне кофе в большую белую чашку. Заметил, видно, что иззяб я, пока до корабля добирался. Я еще внутри умственно подумал: неужели у них на планете кофейные плантации есть?

Когда долетели, раза два вокруг их планеты окружились. Планета похожа на веретено. Или, точнее, на батон с утолщениями по краям. А перед этой планетой, километрах в пяти, на мой земной глаз, крутится кругляш. Сверху на нем вроде как паски мы мажем гоголем-моголем —

снег или что-то еще. Потом идет серый слой. И так через раз. Они сказали — это образцы планет. Значит, не один год уже летают, большой пирог насобирали. Любопытствую:

— Сколько ж ваша планета существует?

— Сириусу две тысячи лет. Мы назвали ее в честь рождения Сына Божьего. — И сразу мне: — Смотри в корень!

И тут моя память начала возвращаться в сорок седьмой год, когда я учился в пятом классе. Я ж русский проходил, знаю, из чего состоит слово: приставки, корня, окончания. Кумекаю: «с» пусть будет приставкой, тогда «ир» — корень? Не получается. Ну, середина, думаю, ладно: раз мне подсказали «в честь рождения», станем считать, что «р» означает — «рождения».

Они намекают дальше: бери букву слева, бери справа. Выходит два «и». А теперь возьми начало и конец. Получается «р. Иисус»! Удивительно!

Там, где мы сели — огромное здание. И такое большое, как в Москве Дворец Съездов. Все утыкано микролампочками, называется по-ихнему Банк Данных. То есть все, что есть на Земле, все на каждого человека записано. Добрые дела записываются на зеленую лампочку, ну запись идет, вот такая там техника развита, радиопромышленность, понимаешь! А на красную пишется все плохое. И я сам тогда подумал: куда я попал? К Богам? Или к наивысшей цивилизации? Если к Богам, то мне теперь как-то неудобно спрашивать дальше!

Неподалеку от Банка — вышка. Захожу на нее по винтовой лестнице. Про большие ноги даже не вспомнил. Встречается мне еще один инопланетянин. Мужчина или женщина, сказать не могу — не щупал. Меня же не щупали, когда забирали!

Вышка очень высокая, имеет название «Сторожевая башня солнечной системы». Вид вокруг на сто квадратных космических километров! Красивые места! НЛО снуют повсюду, словно лодки на нашем озере в разлив. Я, правда, на озере давно не был по причине ног, но знаю.

...Очнулся я у себя дома утром, на койке. Как они меня обратно доставили — у них спросить надо. А вы теперь думайте.

С уважением, Степан Ульяшин, пенсионер».

Закупорив письмо, инвалид вручил мне его с наказом побыстрее опустить в почтовый ящик. А сам, разгоряченный вновь пережитым, замечтал вслух:

— Воспряну вот духом и обязательно пройду по тем улицам, где они меня несли! Дойду с отдышкой, с остановкой. Ведь не может быть, чтоб далеко их корабль стоял — минут десять всего несли они меня. Должно же что-то остаться на том месте?! Я-то сразу найду!

Посидев еще немного, он поднялся с лавочки и, привычно морщась от боли, трудно пошагал к своей койке и телевизору.





**Николай Николаевич Самойлов** родился в 1947 году. Окончил Воронежский государственный университет. Работал в республике Коми директором леспромхоза. В 2004 году вернулся в Лиски. Уже в зрелые годы серьезно увлекся литературным творчеством: пишет стихи, басни, сказки, перевел 154 сонета Шекспира. Публиковался в региональной периодике, альманахах и сборниках. Живет в городе Лиски.

**Николай Самойлов**

## ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ ЖИТЬ В ЛАДУ

\* \* \*

Ну, конечно же, мы не Европа!  
Нет там ни авось, ни небось,  
Там дороги — в России тропы,  
У них прямо — у нас наискось.

Там у Бога просили удачу,  
А мы молим не дать беду.  
Там гордясь говорят: «Я трачу»,  
Для нас главное жить в ладу.

И к суме и к тюрьме мы готовы,  
Любим каяться без вины;  
Неулыбчивы и суровы,  
Будто климат нашей страны.

Там улыбкой прикрыв бездушье,  
Ищут в сытости благодать,  
А в России в почете радушье,  
Нищих принято привечать.

Ну, конечно же, мы не Европа,  
Там на все отыскиали ответ,  
Не осталось следов от окопов,  
В душах выветрен дух побед.



\* \* \*

Бит кнутом, на дыбе ломан,  
Знай московских палачей!  
По рукам, ногам закован,  
Шел казак под звон цепей.

Буйну голову не вешал,  
Богатырский стан не гнул,  
Брата Фрола он утешил  
И девицам подмигнул.

С плеч рванул палач рубаху,  
Кожа в клочья, мясо в кровь...  
Атаман ему без страха  
Крикнул грозно, хмуря бровь:

— Почему не мыта плаха,  
Может, лень царю служить?  
Вытри кровь моей рубахой, —  
Ловок был поговорить.

И в бою не ведал страха,  
И у плахи не дрожал,  
Палача учил: — Я махом  
Саблей голову снимал!

Умирал не унывая,  
Ни о чем не горевал,  
Буйну голову теряя,  
Он толпе команду дал:

— Вытри слезы, люд мой русский,  
Стеньку песней поминай,  
Не ходи дорогой узкой —  
На широкой погуляй.

\* \* \*

Погасло солнце, прожит день,  
Но на душе тоска и смута,  
Опять из русских деревень  
Уходит жизнь, ища приюта.  
По хатам стон и плач старух.  
Забывших, брошенных не холят.  
К ним даже Бог с иконы глух,  
Когда его о смерти молят.

\* \* \*

По ряду следствий и причин  
Меняется картина мира:  
Осточертел английский сплин  
И европейские кумиры.

Слетели маски с лиц друзей,  
Вдруг стали злобными врагами,  
Пора бы, выгнав всех взашей,  
Заняться нашими делами.

Их, как всегда, невпроворот:  
Опять угрозы революций,  
С тревогой ждем переворот,  
А с ним и новых конституций.



**Валерий Алексеевич Тихонов** родился в 1946 году в городе Лиски Воронежской области. Окончил Воронежский лесотехнический институт. Многие годы трудился на комсомольской, партийной, профсоюзной работе. Более 10 лет возглавлял Лискинский районный Совет народных депутатов. Поэт, прозаик, публицист. Автор многих книг прозы и поэзии, публикаций в «Литературной газете», журналах «Наш современник», «Подъём», в других центральных и региональных изданиях. Член Союза писателей России. Почетный гражданин Лискинского района и г. Лиски. Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Живет в городе Лиски.

**Валерий Тихонов**

## ВЫРУЧИЛ

*Повесть*

**А**лкоголиком Санька не был, хотя выпить любил. И когда жена сгоряча обзывала его этим обидным словом, он, выслушав гневные обвинения, терпеливо ей объяснял:

— Ты, Клав, женщина вроде бы и неглупая, а вот несешь ересь. Алкоголику что главное? Водка или другая какая дрянь. А для меня в выпивке сам процесс важен, общение, полет, так сказать, мысли!

— Полет-то полет, — не сдавалась жена, — только процесс-то день да через день, так ведь и спиться можно.

— Ну, уж хватнула! Я ж не Федька с седьмой квартиры, в запой не пускаюсь.

— Только что! — согласилась вроде бы супруга, хотя толком не понимала, в чем отличие каждодневной выпивки от запоя.

— Ладно, мать, не шуми! Нынче вот, коли в Вешенскую выйдем, выпивку долго ждать придется. Работа есть работа!

— Да знаю я вашу работу — баржа, почитай, сама плывет, воздух свежий, начальства нет. Чего брехать-то? Молчал бы уж!

Санька спорить не стал, тем более что жена была права. Работал он помощником капитана в речном порту, на самоходке, перетаскивающей в огромном брюхе баржи по донскому руслу то уголек, то лес, то песок. Исколесили они с Володькой Колдуном, капитаном своим, Дон и вверх и вниз,

знали на нем каждый поворот, каждую отмель. Запросто могли даже без бакенов ходить!

Но в этот раз рейс предстоял необычный — в Вешенскую, где они бывали не так уж часто.

Вчера позвал их к себе заместитель начальника порта Егорыч и сказал: — Пойдете на родину Шолохова Михаила Александровича, писателя известного. Надеюсь, «Поднятую целину» и «Тихий Дон» читали иль кино глядели. Туда — обратно с грузом, так что без баловства. Маршрут неблизкий, потому в кассе аванс небольшой возьмете, на всякий случай, ну а питание, как всегда, получите на складе. Думаю, суток за пять-шесть обернетесь. Вопросы есть?

— Вопросов нет, — отвечал капитан. — Проведаем казацкий край, с удовольствием. Может, и Шолохова увидим?

— Ну, вы очень-то там распоглядами да знакомствами не увлекайтесь, а то казачки молодые, не заметишь, как заворожат. Поглядеть на места шолоховские, конечно, надо, но главное — работа.

С тем и отпустил.

Вот и собирается сейчас Санька в рейс.

— Слышь, Клав, мож, чево от казаков привезти, гостинец какой? Первый раз в Вешенке-т буду!

— Сам возвращайся. А на гостинцы деньги нужны, — собирая в большую сумку походные вещи мужа, отозвалась жена.

— Дык, мож, авансик дадут какой, как-никак на дальняк идем, — продолжал свое Санька.

— Ну, правильно, авансик с собой, значит, а мы тут с Ленкой с тюри на воду?

Ленку, дочку свою, Санька любил. Вон уже в седьмой перешла, невеста. Лицо, глаза особенно, прямо с Саньки списаны. «Портрет мой», — ласково звал он дочь.

— Мож, и не дадут, по графику-т через неделю. Скажут, вернетесь из рейса, тогда и получите. А продуктами в дорогу, как всегда, отоварят, — Санька решил умолчать о вчерашнем обещании замначальника, чтобы, получив аванс, сюрпризом привезти жене да дочке подарки какие-нибудь. Рады будут, это уж точно. А насчет прожить эти дни, приbedняется Клавка, есть в доме деньжата, пусть немного, но есть.

— Ну, ладно, вроде все. Потопал я, — целуя в щеку жену, попрощался Санька. — Ленка вернется со школы, поцелуй за меня, скажи: люблю я ее, картинку мою ненаглядную.

Дом речников, как он значился в общегородском лексиконе, находился неподалеку от порта, а потому уже минут через десять Санька подходил к знакомому зданию конторы.

— Слав тебе, Господи, дождалася, — услышал он сбоку женский голос. — Слышала на Вешенскую нынче пойдете, дык ты, Сань, передай мому тута вот сумочку. Полтора месяца уж безвылазно сидит там, на жирафе своем чертовом!

Ильинишна, жена портовского крановщика Лехи, протягивала Саньке увесистую сумку.

— Тута и белишко сменить, и сальца положила, сахарку, чуть-почуть, а набила под завяз, — щebetала она.

Леха, известный в порту ас своего непростого дела, чуть ли не каждый сезон уходил с плавучим краном в казацкую станицу, вернее, в ее донской порт, где разгружал-загружал приходящие баржи. Так, придет

за лето раз до дому и опять туда. Заработок был, конечно, неплохой, округа донская подпитывала далеко не богатырскую фигуру Лехи природным эликсиром, и все бы ничего, да вот от дома далековато. Потому и норовила жена передать ему редкую посылочку.

— Ладно, не переживай, доставлю в лучшем виде!

— Ну, и дай тебе Бог, — замолилась Ильинишна.

С двумя сумарями Санька направился было к дверям конторы, как его тут же остановил доносящийся от расположенного неподалеку магазина крик:

— Эй, на барже, гребн сюда! Харч забирать будем, да грузиться, а то Колдун уже икру мечет!

С порожков магазина Саньке кричал Пончик, повар со второй гэтешки. Не их, четырнадцатой, а со второй.

— А ты че, с нами, што ль?

— Дык, Мрия прихворнула, вот меня к вам и кинули на прорыв, се равно наша-т посудина на ремонте.

Мрией называли они жену капитана Марию, которая вот уже сколько лет вместе с мужем входила в состав команды в качестве матроса-повара. Так, на пару, плавали многие речники — и вместе всегда, да и зарплаты, как-никак, две.

— Стал быть, мужицкий рейс нынче выходит, — подходя к магазину, улыбался Санька.

То, что команда чисто мужская, оно вроде б и неплохо, как-то посвободнее, что ли, себя чувствуешь. Хотя к Марии за много лет привыкли так, что почти не ощущали какого-либо дискомфорта, с нею связанного. Одно только плоховато — якорем она была таким надежным, что когда во время рейса нетнет да и приспичит грамм по сто тяпнуть, сорваться с него было невозможно.

А тут — Пончик! Звали его так по двум причинам — во-первых, был он невысоким, кругленьким таким толстячком, что и впрямь напоминал сытную пампушку. А во-вторых, будучи отменным поваром, лепил он эти самые пончики и жарил так мастерски, что сравниться с ним в этом деле даже женщины не могли.

— Эх, не зря Клавка с утра про выпивку затеяла, как в воду глядела! Якоря — Мрии нет, Пончик на борту — тут без поллитры не обойтись, — подумал про себя Санька, помогая повару отовариваться в дорогу.

— Ну, а там че? — кивая на контору порта, спрашивал он у кока.

— Да ни че!

— А че ж так?

— А черт их пойми!

Никто, ни за какие деньги не расшифровал бы суть этого странного диалога, хотя он был прост, как ничто другое: речь шла об авансе. И по всему выходило, что, хоть и пообещал вчера заместитель начальника порта выдать деньги, но впустую — с авансом произошел обвал.

Положенные в рейс продукты — тушенку, вермишель и другую нехитрую снедь, выдаваемую плавсоставу, получили быстро, тут же перетаскав ее на борт самоходки.

Капитан, как всегда, чисто выбритый, в форменном кителе, фуражке, сверял какие-то документы, переговаривался по радио с диспетчером, одним словом, готовился к отплытию. Второй его помощник, напарник Лехи — Толик, пришедший недавно на теплоход после армейской службы, сновал по узкому борту баржи, обходил ее вокруг и, взмахивая руками по сторонам, будто пытаясь улететь, громко ругался:

— Им че? Им бы поболе навалить! Подзатарили старуху по самое брюхо, того и гляди мель отловишь!

Огромные связки бревен возвышались над бортами баржи, и хотя лес вроде бы и легкий сам по себе, судно погрузилось в воду по самую ватерлинию.

Продолжая бурчать, Толик, или, как звали его за непоседливость и колготу — Баламут, нагинался за борт, что-то там высматривал, бегал взад-вперед, хотя каких-то практических действий не совершал.

— Эй, мужики! Все на борту, чего тянем? — послышался из капитанской рубки голос Колдуна.

— Так мы чего, мы готовы. Отходить — значит, отходим, — затараторил Баламут.

— Отдать концы! — закончил дискуссию своим басистым голосом капитан...

Завопившая над рекой сирена самоходки подняла с топчанов дежуривших на понтонном мосту мужиков, неспешно делавших свое дело при любой ситуации, пусть даже самой экстремальной. Дело было постылым и привычным: развести мост и пропустить баржу, но оно настолько наскучило дежурным, что свершали они его, как в замедленной киносъемке — не торопясь, тягуче, да еще и поругиваясь.

— Вот черти, опять еле шевелятся, придется подждать, — недовольно закричал Колдун, стоящий у штурвала.

— А куда им спешить, щас сведут, тяпнут по соточке и опять в люлю, — прокомментировал Санька. — Им-то че, у них там, на берегу, свои порядки...

Донские волны шаловливо щекотали железный нос баржи и, убедившись в его бесчувственности, разочарованно откатывали в сторону. Баржа шла не спеша: во-первых, груженная под завязку, во-вторых, плыли по течению, а, значит, спешка ни к чему: Дон не Волга, не заметишь, как влезешь куда-нибудь. Повороты-извороты да коленица такие выписывает батюшка, что порой, коли сверху поглядеть, на змеюку извивающуюся похож. Так что уж лучше несपехом, понадежнее. Да и красотища вокруг — глядеть не наглядеться!

Уж сколько лет проплывают они по бескрайним полотнам этих вот придонских картин с белоствольными березками, горами меловыми, заводами тихими да пляжами рыжими, деревеньками, разбросанными по берегам реки, будто цветные лоскутки необъятной России-матушки...

По весне, при первых рейсах по почти не сошедшему еще половодью, цветет вся эта прелесть разноцветьем неповторимым, кажется, по раю самому настоящему плывешь, только по земному. Аромат весенний льется в душу, распирает ее душистыми пряностями природными, — вот-вот задохнешься от избытка их да чувств нахлынувших. Кажется, без крыльев улетел бы в эти донские просторы, коим нет ни начала, ни конца! Весна, она, брат, человека лечит получше любого лекаря!

Летом своя красота — нависшие над рекой густые брови примкнувшего к воде дремлющего леса, желтые шарик-кувшинки да распустившиеся лилии в подвенечной фате... А костры рыбаков на ночных берегах — от них какая-то особая радость, особое тепло, свет особый, радующий не только глаз, но и сердца человеческие. Вот она, жизнь-то, протяни руку и дотронешься до нее — настоящей, живой, будто к лани трепещущей с горящим сердцем, угольками-глазами постреливающей.

У осени свои краски, свои отметины, не зря золотой зовут. Вроде бы

чего тут, на реке, какие такие купола-дворцы? А куда ни глянь, все этим самым золотом вышито да накрыто — и камыши рыжие, и луга-леса прибрежные. Волна-то, волна, и та, под солнцем играя, позолоченной кажется...

Природа!

— Дык мы как, перекус на борту организуем иль причалим на полчаса? — разбудил уснувшую было тишину звонкий голос Пончика.

— Вообще-т, пора. Часа два уже шлепаем, — отозвался Баламут.

— А, капитан?

Колдун, не отрываясь от штурвала и глядя на бежавшие по воде кудрявые облака, отозвался не сразу — все никак не мог оторваться от этих знакомых с детства красот. Перекусить, конечно, надобно, с утра ведь все в хлопотах, да и дело, почитай, к вечеру идет, да вот... Хотя часом раньше, часом позже — никакой разницы. Все равно будет так, как будет.

Капитан, получивший свое прозвище от фамилии своей — Колдунов, был мужиком строгим, но добрым, понятливым. Его и уважали, и любили, и побаивались как-то одновременно. Ну, поругает, коли за дело, а зла не помнит, поможет, где надо, заступится... Потому-то несмотря на общепортовское это прозвище — Колдун, члены команды звали его, уважительно и тепло — «Пахомыч», хотя Володька и ушел-то от них по возрасту не так далеко. К водке относился Пахомыч ровно — пьянки не любил, но сто граммов в компании выпить не отказывался. Был он и противник выпивок во время рейсов, как ни говори, а с водой шутики плохи, но жизнь есть жизнь. Понимал мужицкую душу, вырвавшуюся на простор речной волны, а потому порой и не противился предложениям своих подчиненных сполоснуть горлышко. Тем паче, сегодня сам Бог, видать, повелел — и рейс необычный, и команда мужская... Главное, чтоб без перебора!

— Давай накрывай на палубе, становиться некогда! — прокричал он Пончику. — Вы начинайте, а меня потом Санька сменит, подсоединюсь.

День хоть и катился к закату, но железная палуба самоходки еще грелась под лучами падающего на горизонт солнышка, а потому притягивала к себе и этим летним теплом, и небольшим столом, накрытым нехитрой походной едой. И когда виртуозный Пончик успел соорудить такое пиршество? На большой сковороде купалась в подсолнечном масле целая гора жареной, подрумяненной картошки. Разрезанные вдоль туловища свежие огурцы веером разбегались от центра тарелки, а между узкими их полосками рядками лежали краснопузые помидорчики вперемешку с белорозовыми шариками хвостатой редиски. И все это было укрыто узорчатым зеленым покрывалом петрушки, укропа, длинностебельного лука-порея... Другая тарелка, чуть поменьше первой, отливала здоровенными ломтями соленого сала, уложенного между аппетитными кружками колбасы, называемой в народе «краковской». К Польше она, скорее всего, кроме названия, никакого отношения не имела, но была сочна, вкусна, а главное пахла натуральным мясом. По окружности тарелки, будто зубчики древнего индейского ожерелья, рассыпались дольки очищенного чеснока — остроносые, пахучие.

— Ого! Да ты тут целый ресторан плавучий сообразил, — оценил «волшебство» Пончика подходящий к столу Баламут.

— Эт он мастер, токо вот для полного счастья кое-чего не хватает — поправить надо, — оглядываясь на капитанскую рубку, «заразмышлял» Санька. — Природа, она, брат, пустоты не терпит, коли где чего не хватает, значит, чем-то обязательно должно заполниться. А коли где чего без

дела лежит, знать, должно быть применено по назначению, иначе все законы физики нарушатся.

— Ну, ты, Склифосовский, короче! Чего нас-то обхаживать, пошел бы лучше вон Пахомыча сменил, без него все равно ничего не получится. А уж коль он потянет стопарик, тогда и нам Бог повелел. Иди, Сань, у тебя это ловко выходит!

— Давай, а я тут покедова еще кой-чего поднесу, глянет — язык не повернется отказать. — И Пончик застучал ботинками по металлической лестнице, ведущей в его кухонное хозяйство — камбуз.

— Слышь, Пахомыч, давай я постою, а ты спускайся, перекуси там с ребятами. Уж вон сколько вахтуешь, передохни, а к ночи Баламут сменил. — Санька глядел на капитана так заботливо, так душевно, что Колдун, помявшись минуточку-другую, передал штурвал помощнику:

— Ну, давай, я недолго!

Накрытый «царский» стол и впрямь поразил капитана. К уже стоявшим ранее закускам Пончик поднес кастрюльку с еще дымящимися жареными пирожками, а главное — тарелку с широкими кусками здорового вяленого леща. Желто-коричневые куски его блестели на солнце бисеринками выстуженного жира, будто вспотели от жары. Они настолько удачно вписывались в общий закусочный коленкор, что подошедший Колдун, едва глянув на стол и хитро улыбающиеся лица друзей, крикнул:

— Лихо! Ну, ладно, чего уж там, давай!

И скоростной винт теплохода не успел сделать полного оборота, как откуда-то из длинного рукава баламутовского пиджака вынырнула, будто рыбина из глубин донских, бутылка «Столичной».

— Свеженькая, прям с прилавочка утешнего, — звякнув доньшком бутылки по столу, обрадованно доложил Толик.

Разлили всем, однако Баламут, хоть и горели его глаза, будто угли раскаленные, крикнув, прокрихтел:

— Вы, давайте, дернете, а я опосля, мне ночь стоять. Ты, капитан, поспи, а утром сменишь, я догоню. Утром-то выпивка, под воздушок свеженький, да зореньку ясную — благодать одна! Так что — вперед!

Юркнула водочка из стопок, проскользнула обжигающей струйкой вовнутрь и растеклась теплом по всему телу...

— Хорошо! Плыл бы вот так и плыл — тихо, спокойно, — похрустывая огурчиком, задумчиво отозвался Колдун.

— Вот я ж и говорю, чтоб красоту эту неописуемую увидеть, надо обязательно зенки-то подрасширить. Дернешь стопарика два, тада они и становаются будто волшебными, все вокруг тебя, как в сказке, — по-своему оценил слова капитана Пончик. Выпив водку, он с таким аппетитом и азартом метал в себя закуску, что, казалось, человек не ел уже целую неделю.

— Ты, шеф, вон глянь на Баламута, разве он замечает эту красоту, как мы? Не-е! А все потому, что глаза сухие, без росинки, — тараторил дальше кок, разливая по второй.

— Толик молоток, знает, когда пить-гулять, а когда и стерпеть надо. Так што не поддразнивай, нехорошо это.

Выпив рюмку и громко крикнув, капитан улыбнулся:

— Всяк выпьет, — не всяк крикнет!..

И загоняя в рот длинную зеленую луковицу, прошамкал:

— Ты бы, Пончик, лучше талант свой пошире нам открыл, коль на борт попал. Когда еще такое случится? Иль забыл, не взял двухрядку свою?



— Обижаетесь, командир! Чтоб Пончик на борту без гармони? Эт все равно, что батюшка без кадила! Щас сбачаем!

Дожевывая на ходу румяный пирожок, Пончик метнулся вниз и уже через пару минут вышел на палубу с висевшей на животе тульской гармонью. Усевшись на табуретку, он несколько раз пробежал пальцами по перламутровым пуговкам вверх-вниз, потом прижался щекой к гармонии и развернул меха.

И поплыла, понеслась над батюшкой Доном эта веками незабываемая песня про донского казака, про плачущую деву, про цыганку, предвещающую печальную судьбу молодницы, про обрушившийся мост... Слушают песню пончиковы друзья, даже стоящий за штурвалом Санька от удовольствия расплылся в улыбке. Слушают ее заросшие кустарником берега, седые меловые горы и даже летящие над головами птицы, расправившие крылья и бесшумно парящие над водой, будто боясь случайно спугнуть редкие для этих мест звуки.

Пончик допел последний куплет, свернул меха, посидел минуту в наступившей тишине и вдруг ни с того ни с сего сорвался со стула, распахнул, будто пытаясь разорвать надвое меха гармони, и пошел, пошел по палубе, выделывая короткими ногами кренделя-коленца.

Не успевшая глотнуть тишины округа, так и захлебнулась виртуозной русской «страдovouхой», которую искусно выплескивал из своей двухрядки пританцовывающий по палубе Пончик. Сделав короткое музыкальное вступление, он приостановился и громко запел чуть хрипловатым голосом:

Петухи поют — проснулись!  
Женихи идут — согнулись... Оха!

При этом Пончик, давая на клавиши еще сильнее, согнулся, изображая утренних подзамерших ухарей, да так удачно, что мужики закатились в смехе. А Пончик продолжал:

Девки! Где вы? Тута, Тута!  
Ох, разогрейте Баламута! У-ух!

Он как-то боком прошелся рядом с сидевшим на стуле Толиком, тернулся об его плечо и снова пошел по кругу, припевая:

Полюбил хохол хохлушку  
За картошную пампушку! Э-Эха!..

— Загуляла беднота, затряслись лохмотья, — без обиды, но уже и без смеха прокомментировал частушки Пончика Баламут.

Пройдя еще пару раз вокруг стола, раскрасневшийся Пончик свернул гармонь и поставил рядом с собой.

— Ну что, еще по стопарику, да и к ночи готовиться будем, а?

— Ты дерни, коли душа просит, вон она у тебя какая музыкальная да широкая, а мне хватит. — Колдун поднялся со стула. — Ты уж, Толь, давай становись, видать, за штурвал, а я, как выплюсь, сменю! А Санька пусть идет — покушает, выпьет, да тоже на отдых.

— Дык это, я тада Саньку подожду, с ним и жажну еще стопарь, веселее будет, — обрадовался Пончик. — Тем паче, завтрак у меня уже готов — дело мастера боится!

— Ну-ну! Ладно, только без этого, без лишняка. Чтоб казакам вешенским дурь завтра не показать, — направляясь в спальную каюту, заключил Пахомыч...

Ночь отблескивала в волнах искрами-звездами, упавшими с неба оку- нуться-покупаться в донской водице, в чернях берегов спряталась уснув- шая тишина, монотонно и негромко рокотал двигатель самоходки, вспа- рывал темноту ярко-желтый луч прожектора, выхватывая из ночного плена контуры берегов да прятавшиеся от света чудные тени.

Спали матросы, видя в снах именитую станицу казацкую — Вешенс- кую. Зорко вглядываясь в освещаемое прожектором русло реки, редкие фонари поплавок-бакенов, твердо держал в руках штурвальное колесо Толик Баламут, когда надо, ловко раскручивая его, как карусель, в ту или другую стороны. Спал крепким сном Санька, которому, в отличие от дру- гих, снились жена его Клавдия, дочка Лена, подарки, которые он вроде бы привез им из шолоховских мест...

Гладила гэтээшка своим металлическим брюхом водную простынь Дона, уверенно продвигаясь к цели.

## II

Все-таки чуден он, этот летний день! Глянь на него с одного боку — короткий, как у ежа нос. Утро — обед, и вот тебе уже мгла ночная. Про- бежал, как мышь, юркнул из угла в угол. А размотай эти «утро — обед — вечер», вытяни во всю длину — ох, и потянется нитка дневная эта. Сколько дел поделано, сколько за просто так времени прошло, кажет- ся, вечность, а он все еще тянется, распутывается клубок этот нескон- чаемый.

Санька успел уже и на вахте постоять, и кой-чего по технической части управиться, и палубу подраить — все же чище, да и жарой не так палит. И в карты с Пончиком погоняли круга три. Может, и еще б игра- ли, да скучно стало. А Баламут после ночной вахты спит-отсыпается, храп его может пересилить даже двигатель.

А чего ему, завалился утром в люлю, спи не хочу! Колдун у штурва- ла, так что напарники при деле, а они с Пончиком... Хотел было недавно Санька капитана сменить, да тот отговорил, мол, места пошли малоизве- стные, вдруг что. Да и не устал еще.

Вот и тянется эта послеобеденная полудрема, как резинка жеватель- ная. Ту хоть выплюнуть можно, а здесь... Санька спустился в каюту, при- лег на топчан и начал было читать-листать попавшуюся под руку «Роман- газету». Он никогда не читал так, как все, а просто бегал взглядом по стра- ницам, выискивая, что поинтереснее, и, как правило, через пять-десять минут чтение заканчивалось.

Так и в этот раз журнал вскоре вывалился из Санькиных рук, а из его пухленьких губ начали выливаться такие серенады, что Баламуту с его храпом надо было еще долго и долго тренироваться, чтобы достичь недо- сязаемых высот своего друга.

Проснулся Санька от громкого скрежета металла, какого-то непонят- ного шума, людского говора. Продрав глаза, он неспешно поднялся с кой- ки, поглядел на свою явно невыглаженную физиономию в небольшом зеркальце и уж потом, пройдясь узловатыми пальцами по свалывшемуся чубу, поднялся наверх.

— Вот-те на!

Гэтээшка, притянутая к резиновым покрывкам причала толстеньким канатом, пританцовывала на легкой донской волне. Несмотря на уже сгу- стившиеся сумерки, в ее брюхо падал откуда-то сверху здоровенный крюк

плавучего крана, стропальщик цеплял очередную связку бревен, и она медленно, описав дугу, через минуту-другую опускалась на берег.

— Вот-те на! — повторил еще раз Санька, удивляясь тому, что они уже в Вешенской, а он проспал это долгожданное свидание со станицей.

— Эка, Леха дает, и темноты не боится! Хотя какая уж тут темнота, вон прожектора какие лупят, не то, што у нас, — Санька завистливо оглядывал станишные причалы.

— Ну что, отоспался, сурок? — к Саньке подходил Пахомыч. — Иди помогай Пончику ужин готовить, щас Леха еще повыкидывает маленько, и будем на сегодня шабашить. Почин есть, а завтра разгрузимся, зерном засыпемся и домой! Ну, а нынче, так и быть, встречу с казацкой станицей отметить надо. Тем паче, Леха соскучился по своим, да еще друг его какой-то тутошний подойдет. Так что глядите там, чтоб не посрамиться!

Пончика Санька нашел в его пропитавшемся сытными запахами камбузе. Кок что-то строгал, резал ножом, на переносной газовой плитке аппетитно шкворчала сковорода. Одним словом, Пончик старался вовсю.

Завидев Саньку, он заулыбался своей неповторимой улыбкой, и сразу же перешел к делу:

— Давай хлеб режь, буханки две-три и в пакет. Потом все остальное сложим, щас вот пережарку сделаю, заправлю котлеты и все.

— А складывать зачем? — не понял Санька.

— Дык ужин-то, это самое, на берегу будет. Леха, вроде как, прием организует в честь нашего прихода. Вы, говорит, дюжа не колготитесь, уха, рыба, мол, за мной, ну а вы, коль желание совпадут с возможностями, — добавите чего-либо. Только ты же Колдуна знаешь, мужик гордый, давай, говорит, кок, изобретай на всю катушку, покажем вешенцам, как лисяне гуляют! Ну, да поглядим, — философски закончил Пончик...

Прибрежная полянка оказалась уютной — окружавшие кусты надежно защищали ее от ветра, ворсистый ковер из душистой травы покрыла изумрудом, зеленью, а лупоглазый луч прожектора, захватывая своим желтым полукругом, освещал так, что ни о какой ночи и думать не могло.

В углу поляны жаркими языками пламени костер облизывал бока солидного чугунного котла, побулькивающего почти готовой ухой. Рядом в большой чашке лежала остывающая вареная рыба — куски сомятины, карасей, щуки. Тут же в другой чашке дожидались своей участи присоленная сверху, тоже сваренная мелочевка — окуньки, красноперки, пескари, сопливые бирючки. Сразу было видно, что уху, да не какую-нибудь, а двойную, варил настоящий мастер этого дела. Лежавшая в чашках рыба означала одно — сначала сварили мелочь, потом, взяв из нее все соки чудотворные, вытащили, а в котелок забросили жирные куски крупняка — вторую очередь вкуснятины рыбной.

Мастер, невысокий сухощавый мужичок, чем-то напоминающий деда Щукаря, суетился у котла, помешивая кипящую жидкость здоровенным деревянным черпаком. Время от времени он черпал им уху, подув, подносил ко рту, смачно втягивал ее в рот и уже в который раз успокаивал глядевших на него с нетерпением мужиков:

— Счас! Три-четыре минуты, пень его в колоду, и зачем! Ты пока, Лех, оживинку плесни, да полено готовь, подкострим маненько.

Леха, крякнув, поднялся с пенька, налил из лежавшей неподалеку бутылки стакан водки и вылил ее в уху. Потом вытащил из костра солидную полусгоревшую дровняку и передал ее Щукарю.

— На, сам костри, а то вдруг што не так, загомонишь потом.

Щукарь, помешав еще раз уху, принял дымящее полено, ловко су-нул его тлеющим концом в котелок, отчего тот сразу ошетинился огром-ным клубом то ли дыма, то ли пара, после чего вытащил и отбросил пал-ку в сторону.

— Ну, вот теперича готова уха, настоящая, донская, а не супчик ка-кой-нибудь там рыбный, — щебетал он довольный и своим поварским ис-кусством, и повышенным вниманием к нему незнакомых людей.

— Давай чашки, пока не остыла, — скомандовал он неизвестно кому.

Но мужики, оживившись после томительного ожидания, уже протя-гивали ему поочередно расписные деревянные чашки, гордость Пахомы-ча в его многообразном «бортовом» хозяйстве. Ложки тоже были деревян-ными, с тем же окрасом, видно, покупались в комплекте.

— Ну, за встречу, за знакомство с казацким краем! — поднимая рюм-ку с водкой, провозгласил Леха, будучи здесь и хозяином, и гостем одно-временно. Опрокинув горючку в рот, он жадно начал захлебывать ее еще дымящейся ущицей, приговаривая:

— Хороша, эк как костром-то отдает! Вкусна, ничо не скажешь, и впрямь, мастер ты, Щукарь!

— Надо ж, мы токо подумали, што на Щукаря похож, а он и вправду Щукарем оказался, — прожевывая пищу, удивился Колдун.

— Тут, Володь, такая история, — вливая в себя очередную порцию ухи, начал рассказывать Леха. — По-настоящему в Вешках он Кузьма. Кузьма Каргин! А вот прилепилось к нему «Щукарь» и все тут. Да ладно б прилипло и все, а то ведь с Михал Санычем целую войну устроил.

— С Шолоховым, што ль? — оторвался от чашки молчавший до сих пор Санька.

— А то с кем же, с ним, с самим! Говорит, списал ты, Александрыч, с меня портрет Щукаря и в книгу, мир весь «Целину... твою... поднятую» токмо из-за меня и читает, а я што имею? Тот ему толкует, что Щукаря-то он поначалу придумал, изобрел, так сказать, а уже потом, мол, ты, Кузьма, в натуре явился. Да токо бесполезно все это: Кузьма свое гнет — давай гонорар и все тут. А?

Прыткий Кузьма, уже хвативший пару рюмок и дохлебывающий вторую чашку ухи, будто только и ждал этой темы. Вскочив с колен и бросив на траву ложку, он прищурил хитрые маленькие глаза и начал:

— Хто мене не верить, слепые есть? Нету? Ну, тады, пень его в коло-ду, скажи кто, что я не Щукарь! Натуральный, потому как по книжке Ляксандрычевой всю свою обличью сверил. Капля в каплю, лучик к лу-чику — все сходится. Даже на крючок попадал, как там, в целине энтой, гляди на губу-то, вся как есть порватая. Ить эт, пень его в колоду, нату-рательное вещественное доказательство! Иль нет? Нет, уперся Михал Са-ныч, как бык об стену. Временной фактор, говорит, не сходится! Какой там фактор, если вот он — я, весь схожусь, а у него не сходится. Так бы уж честно и сказал, денег жалко, гонорару этого. Оно ить, если разобрать-ся, я для него ж как энтот, с кого художники портреты пишут.

— Натурщик, што ль? — спросил кто-то.

— Хрен его знает, натурщик иль ищо хто, токмо с головы-то меня не выдумашь, даже шолоховской!

Кузьма топтался по полюне, взмахивая, словно крылышками, корот-кими ручонками, и говорил, говорил, говорил.

— Ладно, Щукарь, успокойся! Давай-ка мы за тебя выпьем, за нату-

рательного, не книжного, тебя-т вон вся станица Щукарем кличет, чего тебе еще? А што касается Шолохова, не жадный он, душа-т у него мужицкая, добрая, эт все знают. К нему хто не обратись — всякому поможет, выручит. Тут уж ты хватнул лишка! Ну, за Щукаря — друга нашего, героя неопознанного! — поднял рюмку Леха.

Звякнуло стекло друг об дружку, звонко так, весело, и, будто поддерживая общее веселье, вспыхнул, проснулся задремавший было костер, засалютовал звездочками — искрами в ночное небо.

— Вы рыбку-то, рыбку отведайте! Глянь, куски какие, сами в рот просятся, — потянулся к чашке Леха. Хошь не хошь, а передачку Ильинишны, дай ей Бог здоровья, откупорить надо. За нее и выпьем, — доставая из сумки, переданной ему женой, бутылку водки и срывая с нее желтую металлическую пробку, пробасил он.

Жене передай мой прощальный привет,  
а сыну отдай бескозырку...

Это Леха пропел известный мотив и отбросил «бескозырку» в кусты.

Разлив по еще не высохшим стаканам «гостинец», он разбудил засыпавшую ночную тишину громким тостом:

— Ну за них, любимых наших женушек — подружек верных, дай им Бог! — и булькнул рюмку одним здоровенным глотком.

— Хороша!

Выпили и остальные. По разруганным их лицам и небольшой кучке порожняка, лежавшего под кустом, можно было, не гадая, сказать — хватнули уже немало. Но ведь русскому мужику, особенно под настроение, да еще в хорошей компании, да на природе-матушке, где просторы ее да воздух волшебный душу от счастья переполняют, водки никогда много не бывает. Сколько б ее ни было. Вот и тут, и Колдун вроде б не осрамился — весь запас велел на берег снести, а эт, как-никак, четыре поллитровки, и Леха, как положено, выставил, даже вон из сумки Ильинишной достал... А это уже, если кто до конца не захмелел и сосчитать может — три литра выходит. На шестерых. По пузырю, значит!

— Сколько водки ни бери, а два раза бегать, — хихикнул Кузьма — Щукарь. — Щас еще бы по рюмахе, тады можно и к девахе!

— Куда-а? — захохотал тоже уже подзахмелевший Колдун. — Тебе скоко уже годков-то, Кузьма?

— Дык, анадьсь вот семь десятков откуковало, как птица крылом смахнула. Токмо я бабку свою, Лушку, пока што не обижаю, жалею, так сказать, хоть и редкостно. И водочки выпью, до дому однако дойду, пень его в колоду! Махнул бы ты, Лех, на дебаркадер свой, там я у тебя замотал одну на такой вот случай. Первячок, крепенький. А?

— Вот и сбегай, раз замотал. Где искать-то, — видимо, жалея старика, поднялся с травы Леха.

— А прям аккурат в каюте твоей, в ящике с лекарствами. Там она, родная, и покоится, спаси ее и сохрани, — закрестился Щукарь.

Мужики, уже без стеснения, хохотали над приколами своего нового, необычного знакомого.

Леха растворился в темноте, направляясь к своему донскому «дому», а Кузьма снова хитровато сощурил глаза и, будто продолжая начатый когда-то рассказ, защебетал:

— Добрый-то он, конечно, добрый, тут и гутарить неча! Бывает, как-зак какой получку просадит подчистую, а домой к бабе да дитям без де-

нег не пойдешь, ну и в поклон к Ляксандрычу: «Выручай, мол, благодетель ты наш. Виноватый, мол, да куда теперь ее, вину нашу? Нешто она деньги заменит? Выручи, Ляксандрыч, вовек не забуду, Богу за тебя молить буду!»

— И дает? — подал голос Санька.

— Поначалу поворчит, повоспитывает маненько, а потом смилостивится. Главное, говорит, штоб совесть не пропил, совсем штоб не потерялся. Ну, раз понятное дело мужицкое, ну два, а потом, потом пропал человек. И не приходи, говорит, в другой раз!

— И сколько ж, много дает? — опять полюбопытствовал Санька.

— Дык оно, кому как, пень его в колоду. Коли первый раз, да ишо причина уважительная, хорошо подсобляет. А ежели не впервой колени бьет, и на сухую вытурить может. Мне, правда, раза два выручку делал, по четвертной отхлестывал. Опять же, думаю, можа, вину свою заглаживает, долг, так сказать, неоплаченный за натуру мою щукарскую? Кто знает!

Затрепавшие сбоку кусты да громкое учащенное дыхание Лехи известили о его возвращении.

— Ну, ты, Щукарь, и запрятал, еле нашел, — доставая из кармана бутылку, запыханно пробурчал крановщик.

— Кабы не запрятал, дык щас бы и куковали на сухую, — философски, стараясь быть до конца похожим на героя шолоховского романа, ответил Кузьма.

— Давай, пень его в колоду, хучь разок, за край наш вешенский, за казачью сторонущку потянем! Ведь нету ничего боле такой красоты! Как же не выпить за нее, ненаглядную, а?

Бутылка кончилась быстро, только вроде бы налили из нее, а уже вон она, пустобрюхая, улеглась в рядок со своими опороченными подружками, притихла под кустом.

А может, и правильно, что кончилась? Вон уже и костер совсем затух, и ночь прохладцей потянула, и ресницы Санькины, как он их ни старался разомкнуть, липли друг к дружке, как медом смазанные. Вон уже и Баламут, полусидя-полулежа на траве, завел свою сольную трель — похрапывает, причмокивая губами. На коленях у него лежит посапывающая голова Пончика — тоже, видать, витает где-то в сладких снах. И только капитан, Пахомыч, сидит, поджав колени, и смотрит в небо на звезды, на рассыпавшиеся огоньки Большой Медведицы, на красавицу Луну, зависшую золотой серьгой над необъятным краем донским.

Хлопотавший у костра Щукарь собирал в холщовый мешок котелок, все причиндалы и прибамбасы, шепча что-то себе под нос. Леха укладывал в пакеты чашки, ложки, остатки закуски, стараясь не мешать сморившимся друзьям.

— Ну, по домам?! — то ли спросил, то ли скомандовал Колдун. — Подъем!

Повскакивали с травы Пончик с Баламутом, расклеились глаза у Саньки, зашагал в сторону станицы с перекинутым через плечо мешком Кузьма-Щукарь. Потянулась вереница мужиков к Дону, качавшему своей легкой волной, будто на колыбели, их посудыны-баржи.

— Ну, до утра! — направляясь к дебаркадеру-крану, протянул Леха.

— Давай! — за всех ответил ему Пахомыч.

### III

Молоточки-кувалдочки постукивали в голове так, что ею было больно даже пошевелить. Во рту было сухо и мерзко, будто там переночевала солдатская рота. Состояние было явно никудышним, а потому Санька лежал на своем топчане и глядел в потолок. Не впервые он испытывал такие вот муки после очередного перебора. Дома, бывало, Клавка хоть и пошумит, а найдет грамм пятьдесят, протянет ему, так сказать, руку помощи:

— На уж, алкаш неподобный. И када вы ее нажретесь, будет конец или нет?

Санька похмелялся молча, тут не до оправданий, отлеживался с чашок, и жизнь потихоньку налаживалась!

А на барже... И похмелиться нечем, да и на службе, как-никак. Вон Баламута уже нет, топчан пустой, Пончик, небось, завтрак готовит, Пахомыч, видать, разгрузкой руководит — крюк бабахает и бабахает по барже, черт бы его побрал! И так головушка раскалывается, а тут он — бух да бух!

— Охо-хо, лежи не лежи, а вставай да бежи, — закричал, поднимаясь с лежака, Санька.

Работа наверху кипела вовсю: Леха заканчивал выгрузку оставшегося с вечера леса, Пахомыч готовился к зачистке баржи и постановке ее под засыпку зерна.

— Привет! — Санька протянул капитану шершавую руку. — А где ж мужики?

— А кто где! — хрипатым голосом ответил тот. По этой самой хрипотце, по лицу Пахомычеву Санька понял, что тому тоже утро не в радость. И будто разгадав Санькины мысли, капитан громко процитировал чье-то точное высказывание: «Если утром хорошо, значит, выпил плохо, Если выпил хорошо, значит, утром плохо!»

— Эт точно, — улыбнулся Санька. — Дык где ж братва?

— Пончик в станицу пошел, в магазин — хлеба свеженького на обратный путь прикупить, мож, еще чего, денжат-то не особо, не разбежишься. А Баламут вон на берегу, на пляже отмокает, к зачистке подойдет. Хватнули вчера, хворь у всех. Оно и ты, я вижу, страдаешь! Сами виноваты, теперь терпи! А Леха силен, пришел поутру, хоть бы тебе што! Как огурчик, хоть и пили вместе, закаленный! Уже и лес вон почти выгрузил, управился спозаранку. Да ты пойдн, окунись, гляди, и полегчает!

Санька сел в капитанское кресло, крутнул штурвальное колесо и задумался. Какая-то неясная мысль пыталась пробиться сквозь звенящие молоточки в его просыпающийся мозг, сверлила его, глушила шум, но силенок явно не хватало. Тогда он закрыл глаза, отогнал летавшую у лица назойливую муху (тоже, што ль, с похмелья?) и попытался сосредоточиться... Так, начал он помогать своим воспаленным извилинам, вспоминая вчерашний вечер. Что-то тогда его толкнуло, пронзило чем-то, проснулась идея какая-то! Какая? Постой-постой, что-то дед этот, Щукарь или Пескарь, говорил! И Леха! Елки-моталки! Да вот же она, родная, пробилась наконец-то! Про Шолохова толковали, про писателя. Про доброту его душевную. Точно! Слава тебе, господи, вспомнил!

— Слышь, Володь, идея есть!

Колдун, продолжая что-то писать в журнале, оглянулся на помощника:

— Ну?

— Слыхал, вчера Леха с дедом Щукарем про Шолохова рассказывали, мол, выручает, коли туго кому. Может, попробовать, а? Ведь с деньгами у нас хуже не придумаешь, все подскребли. А ведь и гостинчиков домой купить надо, да и в дорогу без продуктов не пойдешь, мало ли что? Положеньице-то, прямо скажем, никудышнее. Как считаешь?

Пахомыч положил авторучку и задумчиво уставился вдаль, на противоположный берег Дона. Санька понимал, что капитан думает, не мешал.

— Мысль-то, может, и неплохая, — озвучился наконец Колдун, только ведь чужие мы тут, не свои. Это он вешенцев выручает, поддерживает, а таких, как мы... Да и опять же кто пойдет? Я — никогда! Баламут подойдет — зачищаться да переставляться к элеватору надо. Пончик не гош для таких дел.

— Дык, может, мне? А чо? Идея моя, мне и идти! Язык у меня сам знаешь, подвешен, хоть и не писательский, но, думаю, поможет нам понять друг друга. Пока вы тут управитесь и я вот он! А?

— Гляди! Хошь иди, коль засвербило, а нет — так нет. Дело твое.

— Пойду, видать. Чего не испробовать? Раз гутарят, что выручает, знать, и вправду человек добрый. А свои, чужие, эт с какой стороны поглядеть. Вроде б и нетутошные мы, а лесок-то им, станишникам, притянули. Вот и думай, чужие мы иль свои. Попрошу пожалобней, никуда не денется, подкинет маленько. У него этих гонораров знаешь скоко? Со всего миру! Отщипнет чудок, не обедняет! Так што смысл есть побирнуться.

Санька спустился в каюту, сполоснул лицо, придухарился остатками дешевенького одеколона, натянул свежую тельняшку, брюки и двинул в путь.

Где жил писатель, он знал и скоро поднимался на пригорок к домам. И чем ближе подходил, тем сильнее катил соленый пот по его лицу. Вон он, дом писателя, правее от церквушки, особняк двухэтажный, на пригорке. Других таких нет — с колоннами белоствольными, ухоженный весь, видный такой. А забор, забор-то какой — крашенный зеленой краской, высокий, абы как не попадешь.

Дошагав до калитки, Санька остановился, перевел дух и нажал на ручку щеколды. Во дворе залаяла собака, но в приоткрывшуюся дверцу он увидел, что пес заперт в большом, просторном вольере. Дорожка от калитки вела к высокому крыльцу, над которым будто царская корона отливала красками открытая терраса. Не успел речник отворить до конца калитку, как откуда-то с боку, из флигеля вышел мужичок — в фуражке с красным околышем, полувоенной рубашке, галифе с лампасами, вправленными в хромовые, начищенные до блеска сапоги... Настоящих казаков Санька видел только в кино, и то давно уже, а потому, остановившись, во все глаза пялился на охранника. То, что это охранник, он понял сразу, ну не Шолохов же! Уж Михаила Александровича Санька знал, правда, по книгам, по портретам... Ну, ничего, Бог даст и воочию сейчас увидимся.

— Кто такой? — охранник строго посмотрел на вошедшего.

— Здравствуйте! Я к Михаилу Александровичу, к Шолохову. По делу, — добавил Санька, глубоко вздохнув.

— Привет, коли не шутишь. По делу или от безделья, токмо нету щас Ляксандрыча, в Москве, почитай, уж третий день.

И видя сразу скисшее лицо гостя, спросил:

— А ты по какому такому делу-то, коль не секрет?



Санька соображал, говорить — не говорить этому служивому про причину своего визита.

Ну, скажу, думал он, а толку что? Что он денег даст, что ли? Сам, небось, от получки до получки живет. Но тут же другая, какая-то озорная и настойчивая мысль, видимо, та самая, что так долго стучалась утром в Санькину голову, напрочь отгоняла первую, сомневающуюся: «Ну, а если и откроюсь, расскажу все как есть, что потеряю-то? Да, ничего! Зря, что ли, в гору топал, пот проливал? А вдруг что получится, всяко ведь бывает».

Санька еще ниже опустил и без того повисшие плечи, сделал кислую мину с жалобно-просящими глазами, и негромко сказал:

— Речники мы. С гэтэшки, лесок в Вешенскую привезли из Лисок. Ну и...

Остальное, недосказанное он решил оставить на сообразительность казака.

— За деньгами, што ль?

Казак, видать, не впервой встречал вот таких ходоков, потому-то его натренированный мозг недолго решал заданную Санькой задачу. — Пропились, али как?

— Али как, — ответил Санька, опять не говоря ничего конкретного.

— Ну, тады иди в дом, там секретарша его есть. Коли причины серьезные, может, и решит что! Вон туда, — показал на крыльцо охранник.

— Дык, как же она, без хозяина-то? — удивился такому ответу пришедший.

— Иди говорю, пока не ушла!

Санька в мгновение ока одолел дорожку, вошел на крыльцо, открыл дверь в дом и на одной из коридорных дверей увидел табличку «Секретарь». Не раздумывая, он постучал костяшками пальцев и, услышав «да-да», открыл ее. Попал он в уютный такой кабинетик, напоминавший приемную их начальника порта, Александра Андреевича. За небольшим столиком сидела симпатичная девушка, раскладывая по папкам какие-то бумаги. Увидев вошедшего, оторвалась от своих бумажных дел и полуспросила-полуприказала:

— Слушаю вас!

— Здравствуйте! — решил показать свою воспитанность Санька.

— Добрый день! — получил он ответное пожелание.

— Я... В общем, речники мы. Лес привезли на гэтэшке. Вам в станцию. Разгружаемся. — Санька смолк, чтобы перехватить дыхание. — Так бы все ничего, да только вот в дороге двигун подломался. Ну и, понятное дело, больше суток простояли за Павловском. Харчишки-то, само собой, ушли и кушать не на что — обещали аванс дать, да не дали.

Девушка смотрела на Санькино припухшее лицо и внимательно слушала его исповедь. Чувствуя, что для полного убеждения в его рассказе не хватает чего-то главного, ударного, Санька сжал пальцы, громко хрустнул ими и добавил:

— А тут еще оказия. Мы ведь в рейс когда идем, у кого что есть из денег, отдаем коку нашему — Пончику. И в этот раз так же. Рублей пятнадцать наскребли. И надо ж было ему кошелек свой в рубаху, в карман боковой положить, — Санька глубоко вздохнул и помолчал. — Ну, нагнулся он за борт, воды черпнуть, а кошелек-то и тюкнулся в Дон. Ищисвищи! Вот теперь и кукуем без хлеба, без соли. Нам бы хоть до дому добраться.

— Так чем могу помочь? — девушка все так же внимательно глядела на Санькино лицо, особенно в его серо-голубые глаза, и оттого ему казалось, что видит она всего его насквозь, вместе с придуманной на ходу брехней этой.

— Люди станишные подсказали, что, мол, Михаил Александрович выручить может. Говорят, добрый он, в беде никого не оставляет. Но, вишь, оно как вышло — нету его, а значит, и рассказ мой ни к чему. Ну, хоть душу излил.

— Почему же? — чуть улыбнувшись, ответила секретарша писателя. — Михаил Александрович, действительно доброй души человек, и никого в беде не оставляет. Ну, а отсутствие его в настоящий момент на решение вашего вопроса не повлияет. Его система выручки отлажена четко.

— Паспорт с собой? — спросила она Саньку.

— Ага! — достал тот из кармана красную корочку.

Девушка встала из-за стола, прошла к книжному шкафу, взяла оттуда какую-то бумагу и протянула оторопевшему от неожиданной удачи Саньке:

— Заполняйте бланк заявления, укажите фамилию, имя, отчество, место работы, должность и сумму, в которой нуждаетесь.

— Дык, это, а сколько можно? — растерянно глядел на секретаршу речник.

— Ну, сколько вам нужно, чтобы до дому добраться? Прикиньте, столько и пишете.

«Ничего себе! — подумал Санька. — Не зря идея пришла, недаром пот проливал да башку ломал над сочинением своим. Голова!» — мысленно похвалил он себя и начал заполнять бланк. Дойдя до строчки «сумма», он почесал авторучкой кудрявые волосы, выдохнул из себя воздух и четко написал: «Двадцать рублей». Расписавшись своим размашистым росчерком, он протянул бумагу секретарю.

— Не многовато? — пробежав текст, спросила та.

— Дык, четверо ж нас, по пятерочке на брата. Да и дорога не на час, — жалобно, боясь, что девушка откажет, протянул ходок.

— Ну, смотрите, вам виднее.

Секретарь возвратила Саньке паспорт, открыла сейф и достала оттуда деньги. Пересчитав бумажки, она протянула Саньке четыре хрустящих пятирублевки.

— Получите! Постарайтесь больше в такие истории не попадать, ни к чему хорошему они, как правило, не приводят, — нравоучительно, будто рентгеном просветив ходока, закончила она.

— Ды што вы! Теперь ни в жизнь. Спасибо и вам, и Михаил Александровичу, дай ему Бог здоровья, — затараторил Санька, пряча деньги в карман. — У хорошего человека все по-хозяйски. Вишь, самого дома нет, а доброту-то оставил в родных местах. Не обманули, станишники, прав дело, не обманули! Дай вам Бог, и до свиданица! — Санька отвесил поклон и рванул в двери.

— Ну што, получилось? — встретил его во дворе охранник-казак, хотя по светящемуся лицу просителя и так был виден результат.

— Ага! Во мужик, где еще такого сыщешь? Потому-то он и Шолохов! Герой, лауреат, любимец всенародный! — Санька от счастья сыпал такими эпитетами, что сам удивлялся, откуда они приходили в его еще неочухавшуюся от похмелья голову.

— Ну, бывайте, Михал Александрычу поклон передайте от лискинс-

ких речников, дай ему Бог здоровья, и вам всем, помощникам его! — шагая бодрым шагом к калитке, слал Санька пожелания свои нескончаемые.

— И тебе не хворать! — закрывая за Санькой калитку и лукаво улыбаясь, отвечивал служивый.

Не помня себя от радости, удачи такой редкостной, Санька в первую очередь направился в магазин. Его одухотворенный везением ум уже прикидывал: две бутылочки водки да килечки — 6 рублей, колбаски, хлебушка, барбарисок для Пахомыча (Санька знал, как капитан любит сосучие конфеты), рубля в четыре — пять влезу, ну а остальные — пусть мужики не обижаются, на подарки для своих дорогих — Клавдии да Ленушки. Что-нибудь необыкновенное, казачье куплю, чтоб ни у кого такого не было!

Станичный магазин товаром был богат. Тут тебе и продукты разные, и выпивка, даже пиво бутылочное — надо ж! С другой стороны — промышленные товары — одежда, обувь, игрушки разные, ситцы с шелками...

Народу в магазине почти не было, а потому продавцы — две средних лет женщины — сразу заметили незнакомца.

— Что вам?

Санька перечислил весь продуманный им заранее список из съестного, добавил в него четыре бутылки пива, рассчитался, и перешел к другому отделу.

— Мне бы что-нибудь в подарок жене да дочке.

— Ну, а что именно вы хотели бы? Смотрите, может, что и приглянется — товару много!

— Казацкого бы чего, вешенского, ить с донского края домой придем, с шолоховского, так сказать.

Женщина не спеша провела своим профессиональным взглядом по полкам и предложила:

— А вы возьмите дочке книжку Шолохова «Донские рассказы», понравится точно, и вот, гляньте, уж такого-то вы нигде не купите, — протянула она Саньке матерчатого, расписного донского казака.

— Пойдет, спасибо! А жене?

— А жене подойдет вот этот полушалочек. У нас, у казачек, в моде такие — по праздникам вся станица расцветает ими.

Санька повертел в руках расписной платок, на всякий случай посушил его в пальцах, хотя в материях и понятия не имел, и согласился.

Довольный покупками, и особенно подарками домочадцам, Санька, теперь уже вразвалочку, направился к барже.

И недорого, думал он. Глянь, скоко накупил, а еще чуть ли не два целковых в кармане. Заначка!

Баржи у знакомого причала не оказалось, и Санька сразу же догадался — ушли в Базки, зерном грузиться. Ждать долго, самому не добаться, базковская пристань на другой стороне Дона, да и далековато, километра три-четыре будет.

Выручил Саньку лодочник. Моторка мигом домчала ходока до крутой горы, с которой по толстеному шлангу в баржу сыпалось зерно. Стоявшие в барже Баламут и Пончик изредка переносили тяжелый конец шланга с места на место, распределяя сыпавшееся «золото» ровным слоем.

Санька знал, какое это нелегкое дело, и ему стало несколько стыдно за себя — вон, ребята ишачат, а он... Хотя, если разобраться, он тоже не на пляже валялся, можно сказать, такой дипломатический приемчик

провернул, так что еще неизвестно, чья тяжесть больше. И он смело зашагал к друзьям.

У капитанской рубки стояли Пахомыч и Леха.

По их застывшим в ожидании лицам Санька понял, что Колдун уже успел раскрыть товарищам тайну его похода.

— Ну-ну? — первым не выдержал капитан. — Как встретил великого комбинатора великий русский писатель?

— А, главное, с чем проводил? — добавил, посмеиваясь Леха.

Санька не счел нужным давать скороспелые ответы.

Он молча прошагал по трапу, поднялся к рубке и протянул сумку с продуктами Колдуну:

— На! На обратную дорогу на всех хватит, дай Бог здоровья Михал Саньчу!

— Что? Правда, што ль, выручил? Ну, ты даешь!

— А вы думали, я головой своей токмо уху ем или водочку выпиваю? Я еще ею и думаю, в отличие от некоторых, — непонятно кого имея в виду, отрезал удачник.

— Што, вот так запросто и дал деньги? Сам?

— Оно, конечно, не повезло маленько. Человек он государственный, в Москве сейчас. Но прав Щукарь, доброту ее не пропьешь — не потеряешь, коли есть она. Так и у Шолохова — система четко работает. Главное, причина штоб серьезная была. Ну, пришлось, конечно, попридумать — присочинить кое-што для пользы дела. Двадцать рубликов ниоттуда — ниотсюда, эт тебе не хухры-мухры, тут покумекать надо, — продолжал хорохорится Санька, но вдруг осекся. Ведь про подарки-то он решил умолчать. Теперь придется всю правду рассказывать. Да и как ее скроешь, коли вот он, пакет с ним!

— Прикупил все в сельмаге, в основном к столу гостинцы. Тебе, Пахомыч, сосулек взял, водочки на всякий пожарный, подзакусить. На остаток, правда, невестам своим гостинчики, — крутнул пакетом Санька. — Так что не зря мысля пришла, — философски заключил он.

Пока Санька переодевался, чтоб помочь друзьям в загрузке, те уже почти заканчивали работу. Зерно отливало рыжим золотистым светом, и казалось, это кусочек бескрайнего пшеничного поля улегся в уютную колыбель и греется — нежится под ярким горячим солнцем. Санька так залюбовался этим зрелищем, что даже вздрогнул от громкого голоса капитана:

— Давай иди на стол накрывай, подмени Пончика. Счас закончат, помогут и обедать! А там и собираться будем — домой пора!

За столом Саньку славили как героя.

— Ты уж, Пахомыч, разреши в честь такого подвига одну-то расчехлить! И лес разгрузили благополучно, и погрузка прошла, и Санька вон с добычей какой вернулся. Так что, можно сказать, трофейную пить будем!

— Тебе-то, Лех, оставаться, отдыхать будешь. А нам через час-другой в путь. Трезвыми быть надо!

— Дык мы по маненькой, по глотушечке, чего с нее будет? Да еще на таком вот просторе донском — тут воздушком захлебнешь рюмку, округой-красотой оглядишься — и будто и не брал ты ее, горькенькую баловницу! — Леха жадно вздохнул полной грудью, словно и впрямь влил в себя душистый аромат, повел выпуклыми глазами окрест и, налюбовавшись цветущей природой-матушкой, уставился на Колдуна.

Может, необычные слова крановщика, а может, жадно смотрящие на

него глаза всех троих его помощников перевесили чашу сомнения капитана:

— Ладно, так и быть — одну на прощаньице полыхнем. Давай, мыслитель, неси, — взглянул он на Саньку.

Выпили по рюмашке, закусили. Килька и впрямь, как расхваливала Саньке продавщица, была «пальчики оближешь».

— Слышь, капитан, поизбаловались мы лецом вяленым да чехонью, а килька-то, если разобраться, не хуже будет. С картошечкой — мед! — уплетая за обе щеки еду, промурлыкал Пончик.

— С картошечкой, оно, конечно, может, и мед, да вот пивко твоё, Саньк, к этому случаю не помешало б, да и хранить его долго нельзя! А? — лукаво подмигнул Леха.

— Ну, вот началось, — буркнул недовольно капитан: — Щас пивка дернете, ещё на водку потянет.

— Не, бугор, пивком подшлифуем, и все, — весело отозвался Санька. — Продавщица правду сказала — сутки сроку, а то забурдит.

— У вас забурдит, заждется. Но, учтите, если кто-нибудь...

Договорить Колдун не успел, потому что четыре мужицкие глотки, будто сговорившись, выдохнули разом:

— Не-е! Ты што!

Прощанье было недолгим. Леха передал Саньке домашнюю сумку, заменив гостинцы Ильиничны на свои — связку вяленой чехони, кулек с конфетами и белыми здоровенными пряниками...

— Передай моей, пусть внучат угостит. Скажи, через пару недель наеду, побуду дома маненько. Пусть не скучает там!

Уже сходящего с трапа на берег, его догнало пожелание земляков:

— Ты уж тоже, держись тут! Туда-суда и сезону конец! Да Щукарю-Кузьме привет от нас передавай. Спасибо ему за мудрый совет, а доведется с самим встретиться — в ноги от нас кланяйся за доброту его!

Друзья, конечно же, имели в виду Шолохова.

— Ладно! Попутного ветерка вам да водички легкой, — уже с берега отозвался крановщик.

Нарисовав на донской воде плавный полукруг и отсалютовав казачьему краю протяжным гудком, гэтэшка уперлась тупым своим носом в напиравшее в него донское течение и, покоряя его, взяла курс вверх, к родной пристани.

#### IV

Встречала она их ранним хмурым утром, морозящим мелким дождичком и до боли знакомой картиной — в уютной запазухе затона стояли у причалов катера, баржи, белоснежные красавицы теплоходы. От воды вверх вытянули свои жирафьи шеи плавучие краны с длинными, будто у Буратино, носами-стрелами...

До начала дня было еще часа три, а потому порт был почти безлюден. Пришвартовалась к причалу и вернувшаяся из дальних странствий самоходка Колдуна, известив о своем прибытии, как положено, завывающим звуком сирены.

— Ну, што, братцы? Спасибо за рейс, за службу, я в диспетчерскую, документы пооформлю, начальство дождусь, отчитаться надо, а вы уж, так и быть — отдыхайте, дуйте по домам.

Никто возражать не стал. И вот уже топчет Санька ту же самую, не-

дельной давности, дорогу, только теперь в сторону дома своего, к ненаглядным своим красуньям. Соскучился — и по жене, и портретику своему — Ленке... «Спят небось еще, сны смотрят, — подумалось ему. — Может, и снится што про подарки мои?»

Хотел Санька войти тихо, незаметно, как бы сюрпризом утренним, да не получилось. Уже хлопотавшая на кухне Клавдия, слышав скрежет ключей в двери, открыла сама:

— С прибытием! Что-то долговато вы...

— Да не, эт мы еще быстро обернулись! Даль все-таки! Ну, здравствуй, как вы тут? Ленок спит небось?

— Спит, куда ей спешить! Соскучилась по тебе, уж так ждала, так ждала.

— А ты? — с озорством кинул взгляд на супругу Санька.

Клавдия хотела было ответить чем-нибудь с бабьей язвинкой, но, видя мужа трезвым, хоть и уставшим, однако каким-то неизменно бодрым, тихо проронила:

— И я!

Санька молча обнял супругу, прижал ее голову к своей груди и как бы в награду за сказанное протянул ей пакет с подарками:

— На вот! Гостинцы вам с Ленкой с казачьего края.

Подарки Клавдии понравились, это было видно сразу по ее повеселевшим глазам, довольной улыбке.

— Аванс, што ль, дали?

— Не-е-е! Мыслью заработал, мозгами, так сказать.

И Санька, усевшись с Клавдией на диван, похихикивая то тут, то там, описал супруге во всех подробностях свой поход к великому писателю.

— Не брешешь? Неужто вот так, с бухты-барахты, незнакомому человеку и сразу двадцать рублей? С какого такого рожна?

— Говорю тебе, с доброты его душевной! Великий человек, а про нас, смертных, вишь, не забывает. Отлажено все, отточено, обратился кто — выручит, в беде не оставит.

— Дык, обман это, а не беда, — не сдавалась Клавдия. — Ить облапошил ты порядочного человека и радуешься теперь, как ребенок маленький. Эх, живешь-живешь, а ума не прибавляется, — бурдела она, направляясь в кухню.

— Ладно, иди завтракай, выдумщик!

Проснувшаяся дочка обрадовалась и возвращению отца, и особенно привезенному им игрушечному казаку:

— Пап! А они вправду там все такие, усатые?

— Да разные, есть и усатые, и безусые. Как и наши мужики, токо вот шаровары у ихних с лампасами, да фуражки особые...

До дня полочки Санька со товарищи сходили еще в два коротких рейса — один раз в Павловск, другой — вверх по Дону, до Коротояка. Оставшиеся рубль с мелочью ушли на бочковое пиво в их портовской столовой да сигареты, тем самым поставив последнюю точку в Санькиных материальных ощущениях от той незабываемой вешенской проделки.

«Ну, ничего, и так хорошо, — думал он, вышагивая к портовской касе, где нынче выдавали долгожданный аванс. — И в обратной дороге не скучали, и гостинцы домой привез, да какие еще, поищи, попробуй у кого другого! И пиво попил да сигаретками задымачил в свое удовольствие! Как ни говори, а микитка сработала неплохо. Ну, схитрил, ну обманул чудок писателя, с кем не бывает», — размышлял Санька.

Очередь была небольшой, человек пять-шесть. Все знакомые Саньке сослуживцы, кто из плавсостава, кто из береговых. Как всегда в подобных случаях, шутили, ведь дело шло к самому приятному в жизни моменту, коих всего два в месяц — аванс да получка. Кто анекдот рассказывал, кто гоготал над чьей-то удачной шуткой, одним словом — зубоскалили. Вместе со всеми веселился и Санька, предвкушая приятный хруст полученных денежных купюр. За шутками-прибаутками он и не заметил, как подошел к маленькому окошечку кассы.

— Андросов Александр, — заглянул он в него, показываясь кассирше Дусе.

— Вижу, — отозвалась кассир и, спустя полминуты, подала в окно ведомость: — Расписывайся!

Санька протянул бумагу к себе, нашел строчку со своей фамилией, повел авторучкой вправо, к последней графе, и уже было собрался поставить свой несравненный каракуль, как глаза его наткнулись на выведенную красивым почерком сумму: «Пять рублей».

— Дусь, я ж двадцать пять беру, как всегда! А тут почему-то пять нарисовано. На, исправляй, — протянул он ведомость назад в окошко.

— Все там правильно, Андросов. Двадцать пять я тебе и выписала, как всегда. Только двадцать-то по письму-счету в Вешенскую отравила, Шолохову. Ты ж занимал у него? Чего ж теперь претензии выставляешь?

Санька сначала ничего не понял — какой долг, какое заявление? Потом потихоньку до него начало доходить. И чем яснее он понимал суть происшедшего, тем сильнее колотилось его сердце, тем больше охватывала тело какая-то неумемная судорога, переходящая в мелкую, звенящую дрожь.

«Вот тебе и система отработанная! Да уж, ничего не скажешь, отработана так отработана доброта казацкая. И та, размалеванная эта, хоть бы предупредила! А то: постарайтесь больше не попадать, ни к чему хорошему...» Саньке вдруг стало так противно и обидно за самого себя, как не было никогда в его теперь уже немолодой в общем-то жизни.

Чуть не плача от злости и обиды, он молча чиркнул в ведомости, взял у кассирши пятерку и вышел на улицу. Светило солнце, пели птицы, из дверей портовского магазина уже выходили мужики-сослуживцы, затаренные положенной в таких случаях выпивкой да закуской... Они над чем-то хохотали, им было весело и радостно, и только Санька уныло удалялся от портовской конторы. В его глазах, как кадры из кинофильма, пронеслись и вешенский затон, и дед Щукарь, черт бы его побрал, и красивый дом Шолохова, и хрустящие пятерки, и магазин, и подарки, и...

«Эка влетел-то, как карась на наживку! Остолоп, он и есть остолоп, — всыпал себе неудачник. — О, Господи!»

Он сразу же представил себе жену Клавдию, ее насмешливые глаза: что, мол, домозговался, мыслитель? Но страшнее страшного отчего-то казалась встреча с Колдуном, Баламутом, Пончиком. Вот уж поржут, так поржут, поизгаляются... Да и разве только они?

Санька и не заметил, как дошел до дому, до двери, за которой ждала его с авансом любимая супруга. Постояв минуту, он глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка... Судьба!





*Людмила Ивановна Титова родилась в городе Спаске-Дальнем Приморского края. Окончила Воронежский государственный педагогический университет. Работала школьным учителем, преподавателем Хреновского лесхоза-техникума, журналистом. Автор двух поэтических сборников. Лауреат регионального журналистского конкурса «Благодатный огонь — 2006» и 1-го фестиваля бардовской песни «Парус надежды». Живет в городе Лиски.*

**Людмила Титова**

## **УСТАЛОСТЬ ТИХАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ**

\* \* \*

Ничего не хочу —  
Только вечной сиренью забыться...  
Вышивай, вышивай  
Нежным крестиком радость мою.  
Ничего не хочу —  
Только быть заблудившейся птицей  
В добровольных тенетах,  
В лилово-дурманном раю.

Ничего не хочу —  
Пусть другим обещают рассветы,  
Суматошные полдни  
И сытый покой вечеров.  
Мне б дрожать в унисон  
С ненароком разбуженной веткой  
И цветок отыскать  
Из счастливых пяти лепестков.

Ничего не хочу.  
Осени первозданным дыханьем,  
Мая крестная мать,  
Твой спасающий жест узнаю.  
Укрывай, укрывай  
От беды голубыми листьями,  
Вышивай, вышивай  
Нежным крестиком радость мою.



\* \* \*

Вниз по Дону на рассвете  
Уплывало бабье лето.  
Я стояла, провожала  
И грустила, но чуть-чуть...  
Ты меня уже согрело  
И немного пожалело.  
А теперь других погреешь —  
Так и надо. В добрый путь!  
Как тревожна неба просинь.  
На пороге бабья осень.  
Я встречаю, привечаю,  
Светлой грусти не тая.  
Говорю печально: «Здрасьте!  
Пусть не сбудется ненастье,  
Пусть задержится в дороге  
Бабья зимушка моя!».

### МОИМ РОВЕСНИКАМ

Усталость тихая вечерняя  
Уже ложится на поля...  
— Не надо понимать, зачем она,  
Цикады шепотом велят.

Я головой кивну, согласная,  
И чуть печально улыбнусь.  
Спасибо за совет-участие —  
Мы поровну разделим грусть.

Осилит каждый эту капельку,  
Росинку горечи сглотнет.  
Но просветленье обязательно  
И радость мудрости придет.

Усталость тихая вечерняя...  
А мы об утре говорим.  
Воспоминанья, как кочевники,  
На поле грусти только дым...



**Валерий Михайлович Роншин** родился в 1958 году в городе Лиски Воронежской области. Окончил исторический факультет Петрозаводского государственного университета, Литературный институт им. А.М. Горького. Сменил много работ: электрик, слесарь, радиотелеграфист, преподаватель. Публиковался в журналах «Континент», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Огонек», «Юность» и др. Автор более 40 книг художественной прозы, в том числе детской литературы. Лауреат премии им. В.П. Катаева, а также Ордена Кота Ученого (за книги для детей). Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в Санкт-Петербурге.

**Валерий Роншин**

## **ЧУДЕСНЫЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЕГОРА СЛАДКОСОЛЕВА НА ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ**

*Повесть*

### I

**В** канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, в самом конце жаркого августа, ехал на электричке мужик по имени Егор, а по фамилии Сладкосолев. Он ездил в город Бежецк на воскресный базар продавать своего бычка Степана. Продал очень удачно и теперь при деньгах и навеселе возвращался в родное село Хлевное, которое вполне соответствовало своему названию, напоминая загаженный хлев нерадивого хозяина.

Доехал Егор до райцентра Сонково, где ему следовало с электрички на автобус пересесть, и тут ему (как это часто с нашим братом, русским, бывает) моча в голову ударила. Дай, думает, пешочком пройдусь. И в мыслях не держит, что идти добрых тридцать верст. А время к ночи.

Ну, дурацкое дело не хитрое: руки в брюки, хрен в карман — пошел! Шел — и застала его в дороге ночь. А он только-только до Лбово дотопал, что в трех верстах от Сонково. На дворе ночевать ему,

естественно, не хотелось — комары сожрут; да тем более при таких больших деньгах. В один дом постучал, в другой. Люди наши известно какие — отзывные к чужим горестям и бедам. А тут как-то никто и не отозвался, еще и собак спускают. Ходил-бродил Сладкосолев, никто на ночлег не берет. Совсем исчался. Хоть на землю ложись да рукой накрывайся.

Вдруг видит: в самом конце деревни (ближе к густому лесу) дом стоит. Старый-престарый, все бревна черные-пречерные. Забора вокруг нет, травы кругом — по пояс, и окошки не светятся. Ни дать ни взять — заброшенный. Егор скорей туда. Толкнул дверцу, вошел и при последнем дневном свете оглядел нехитрую обстановку: стол, лавка, печка. Сверху не капает, снизу не поддувает. Чем не жилье? Кинул Егор, не мудрствуя лукаво, свой колушек на лавку да и завалился спать.

И снится ему сон.

Будто находится он в этой же самой избе, а все вещи — из его избы (той, что в Хлевном). И будто еще не ночь, но уже глубокий вечер. Свет ярко горит, печка жарко топится; на столе — помидорчики, огурчики, шматок сала, то да се... А у печи жена Егорова с ухватом суетится. Варенька. *Лет десять как умершая*. Раскраснелась вся. Лепешки печет.

Приподнялся Сладкосолев на локте, глазам своим не верит: ну все как есть — его вещи! Даже две картинки на стене, из журнала «Огонек» вырезанные. На одной картинке — баба в шапке с перьями, «Незнакомка» называется; на другой — тоже баба, но голая, Даная какая-то... Впрочем, примечает Егор, не совсем все как у него. Иконы в красном углу нет, Божьей Матери с младенцем Иисусом на левой ручке. Вот нет-таки, нет! А иконка эта не простая, старинная, Егоровой матерью собственноручно для оберега повешенная. А тут нет как нет. О-о-очень это Сладкосолева смутило и расстроило. А еще кот черный по скрипучим половицам так и шастает, так и шастает. Отродясь Егор котов не держал. Тем более черных. Пригляделся Сладкосолев — а голова у кота в подпалинах. И это тоже неприятно поразило.

Варя знай себе ухватом шурует; глубокую миску румяными лепешками наполняет, маслом золотистым поливает да сахарком посыпает. Самая что ни на есть любимая Егорова еда (после водочки, конечно). А тут не тянет; даже смотреть на лепешки противно. Отвернулся Сладкосолев, глянул в окно и чуть не матюгнулся — звезды на темном небе совсем не так расположены, как всегда. А уж когда Луна выплыла из-за тучки, тут уж Егор не шутя затосковал. Потому как никакая это была не Луна, а совсем неведомая планета, раза в три больше Луны. И не желтая, а вся какая-то ядовито-зеленая.

Варя между тем с лепешками закончила и к столу подседа. Взяла в руки нож и стала сало резать. Сегодня ж Иван Постный, лихорадочно соображает Сладкосолев, грех в руки нож брать. А Варя режет себе и режет, хоть бы что; нарезала, ножик отложила и на Егора уставилась. Прии-истально так разглядывает, будто в первый раз видит. Черный кот к ней на колени запрыгнул и клубком свернулся. Мур-р, мурлычет, да мур-р; и не ласково мурлычет, а зловеще: мур-р-р... словно рычит. Варя его глядит и на Егора глядит.

Сладкосолев, хоть и не робкого десятка, а тут — сробел.

А Варя говорит как бы себе самой:

— Ишь глазки-то подленькие, так и бегают.

— О чем это ты, Варюш? — Егор спрашивает, а у самого сердце в пятки уходит.

— О том самом, — отвечает Варя, — о том самом... Расскажи-ка, мил дружок, как ты меня на тот свет спровадил.

— Вот этого, Варвара, не надо, — закипятился Егор, — не надо! Сама отлично знаешь, что у тебя было двухстороннее воспаление легких. И справочка от врача имеется. И от судмедэксперта тоже.

— Справочки твои, — говорит Варя и котову голову в подпалинах чешет, — липовые. — И такой вид у нее сделался, что вот сейчас кинется Егора душисть. Даже кот что-то почувствовал — испуганно с колен прыгнул.

У Сладкосолева внутри так все и охолонуло.

— Что боишься-то? — спрашивает Варя с усмешкой. — Не бойсь. Не трону. Одно только, Егорушка, я тебе скажу: ребеночка я под сердцем носила. Он уж ножками в живот толкался, а ты нас — в гроб да на кладбище.

— Какого еще ребеночка?! — Сладкосолев досадливо морщится. — Тебе ж вскрытие делали. Никакого ребеночка и в помине не было. Ты что думаешь, врачи совсем дураки?! Ребенка не заметили?!

— А вот и дураки, — отвечает Варя. — А вот и не заметили. Как будто ты наших врачей не знаешь.

Ну, в общем-то... верно, соглашается про себя Егор, вспомнив, как на Масленицу ходил больной зуб лечить, а ему вместо этого два здоровых выдрали. А в другой раз, за неделю до Пасхи, в Вербное воскресенье, палец занозил; так вместо того, чтоб занозу вытащить, всю руку, гады, оттяпали. Правда, не ему, а Гришке-соседу. Ну, так оттяпали ж.

— Да-а... — задумчиво тянет Сладкосолев.

— Вот тебе и «да», — говорит Варя. — Ребеночек во мне по сей день мается.

— Как это мается? — удивился Егор. — Ты ж черт-те когда померла.

— Я-то померла, а ребеночек мается.

— И... что? — Сладкосолев не поймет, куда она клонит.

— Ничего, — отвечает Варя. — Вытащить его нужно. Тем более что сыночек это твой.

Егор хоть и трусил отчаянно, но мужское самолюбие в нем так и взвырало! Так и взвырало!..

— А вот этого не надо, Варвара! — запальчиво вскинулся. — Насчет того, чей это сыночек, бабушка надвое сказала. Я ж тогда на целине был. В Казахстане. Забыла, что ль?!

Ничего ему Варя на это не ответила. Только лицо у нее зеленым сделалось, как планета за окном. И две слезинки из глаз выкатились. И обе — кровавые. А черный кот непонятно откуда: мя-я-а-а-у-у-у-у...

Тут Сладкосолев и проснулся.

## II

Проснулся, а в окошко солнце светит. Наше родное, земное солнышко. Птицы на деревьях заливаются, петухи по деревне перекликаются. Благодать!.. Вскочил Егор с лавки, подхватил свой колушек и — бе-жать из странного дома. На дворе утро раннее-прераннее, небо синее-пресинее... бабы коров к общему стаду выгоняют... Бежит Сладкосолев вдоль плетней и заборов, а самого любопытство разбирает. Что ж это за дом такой, где сны такие сняты? Дай-ка, думает, спрошу.

Русские женщины хоть и славятся своей красотой в заморских стра-

нах, хоть и премии там всякие за это самое получают, но в Лбово почему-то одна баба была страшнее другой. Ну, буквально глаз не в кого окунуть. *Та-а-а-а*кое на морде наворочено, не приведи Господь. Все ж таки нашел Егор женщину более-менее поприятственнее и приступил с расспросами.

— Слышь, тетка, а чо это за изба?

— Которая?

— Да вон, на краю. Вся в траве.

Баба тотчас перекрестилась и лицом похмурила.

— Поганое место, — говорит. — Ведьма там одна жила, лет пять как помёрла. Ох, стерва была, ох, сте-е-ерва. Чо тока не вытворяла, поганка! Мово мужика, Харитона, энтой самой силы лишила. Лежит теперича на печи, бревно бревном. Соседскую корову Зорьку тож сгубила; та вместо молока кровью доиться стала. Правда, помногу крови дает, ведра по три за одну дойку. Ну, дак это ж не молоко, много не выпьешь.

— А не знаешь ли, — интересуется Сладкосолев, — был ли у нее черный кот?

— Как не быть, был котяра! — тетка рассказывает. — Ох страше-е-енный черт. С подпалинами тута и тута, — показала она пальцем на свою голову. — Видать, когда ядовитые зелья заваривала, плеснула на него нена-роком.

У Егора сердце так и екнуло: вспомнил он — были! были! у кота подпалины, и аккурат в тех местах, где баба показала.

А тетка дальше рассказывает:

— Как поганка померла, веришь ли, ни запаху от нее, ни порчи. Лежит в гробу, как живая. А кот энтой, сказывали, ночью к ней в гроб залез и клубком на груди свернулся. А как хозяйку схоронили, так он и пропал невесть куда... М<sup>а</sup>рфушка, М<sup>а</sup>рфушка, — ласково обратилась она к своей корове. — Ступай, милая, ступай, щипли травку.

Покачал Сладкосолев головой на необычный теткин рассказ да скорей на автобусную остановку припустил. Тут уж не до пеших прогулок. Вскочил в автобус и поехал... А вскорости и Хлевное за грязными автобусными стеклами показалось, с милым сердцу родным домом и столь же милой и родной Нюрой, второй Егоровой женой. Ласковой, говорливой, работающей. Зарылся Егор лицом в две ее необъятные груди, мягкие, как пуховые подушки, да и позабыл про странный сон, в котором ему первая жена Варя ребеночка у себя из живота вытащить наказывала.

А потом пришел студеный месяц декабрь, а вскорости и Рождество, а следом — глядь! — уж и Сретенье (когда зима с летом встречаются), и пошло-поехало... ночь на убыль, день на прибыль. Пасха наступила — Светлое Воскресение Христово, Святая Троица — веселый месяц май. А затем и лето красное пришло.

И вот как-то раз, под Петров пост, мужик какой-то в постояльцы к Сладкосолеву набивается. И деньги хорошие сулит. С виду мужчина серьезный, городской, в очках; обещает не беспокоить, так как не отдыхать приехал в Хлевное, а — наоборот — поработать в деревенской тиши. И называет себя как-то чудно, не по-нашему: господин Шульц.

Ну что ж, а у Егорова дома пристроечка имеется, никем не занятая. Стол там стоит, стул, топчан... И деньги никогда лишними не бывают.

Ка-а-ароче, столковались на все лето.

Вскорости господин Шульц перебрался в сладкосолевскую пристроечку с одним лишь маленьким чемоданчиком. И как обещал, так и поступил: целыми днями не видно его и не слышно. Даже на речку Кашинку,

что в двух шагах от деревни, и то не сходит. Сидит себе, как мышка-норушка в норке. Нюра, по уговору, каждое утро кринку коровьего молочка и миску сметанки под дверь ставит, да творожка домашнего кладет. Иной раз и это нетронутым остается.

Выйдет Егор под вечер во двор — горит свет в пристройке; выйдет в другой раз, уже за полночь, по малой нужде — опять оконце светится. И под утро — то же самое. Пару раз Егор все ж таки заглянул к постояльцу — часом, не помер ли?.. Нет, живой: над столом склонясь, пишет что-то.

А за Сладкосолевым грех такой водился: любопытный был он очень. Ну до того — извините за умное слово — *интригует* Егора таинственное поведение господина Шульца, ну прямо сил никаких нет. Сон потерял. Аппетит. Уж и Нюра ворчать стала, что Егор ею по ночам пренебрегает, чего отродясь за ним не водилось. Наконец все! край! мочи нет больше терпеть!.. Открыл Егор решительно дверь в пристройку и столь же решительно вошел; а постоялец даже головы не повернул, все пишет.

— Простите великодушно, — говорит Сладкосолев, уже не столь решительно. — Не подумайте чего плохого. Но чем это вы с утра до вечера занимаетесь? Коли, конечно, не секрет.

Господин Шулец от стола повернулся, снял очки в серебряной оправе, платочком стекла протер. Лицо без очков еще умнее, чем в очках. Да и вообще он мужчина видный. Вот только... подпалины на голове его наружность слегка портят.

— Да нет, — отвечает, — не секрет. С удовольствием расскажу. И рассказал.

### III

Давно это было, гораздо раньше тех времен, когда большевики на Руси верховодить стали. Жил в этих краях один барин. Вот как раз в том самом доме, где сейчас колхозный свинарник, его усадьба и располагалась. Звали барина Петр Ильич, как композитора Чайковского. По тем временам считался он человеком образованным, да и не по тем тоже. С Пушкиным дружбу водил, сам пером баловался; и не только пером, а еще и кистью — картины писал в духе Карла Брюллова. Конечно, такой человек не мог себя похоронить в деревенской глуши. Он и не хоронил. Бóльшую половину года по заграницам разъезжал или в Москве и Петербурге обитался. Везде у него свои дома имелись. О-о-очень богатый был, да и здоровьем его Бог не обидел, да и внешностью... Но, как известно, русскому человеку без странностей никак. Хлебом не корми, а подай ему чего-нибудь этакое... с перчинкой. Вот и у Петра Ильича странность была: любил он своих крепостных девок на конюшне пороть. (Егор понимающе хмыкнул. «Нет, нет, — покачал головой господин Шулец. — Это совсем не то, о чем вы подумали».) Так вот, любил он пороть молоденьких крестьянок. Для этих целей у него и плеточка имелась, кожаная, крученая. Оттого-то при всей своей любви к барину дали ему его крестьяне прозвище — «Лютый». Хотя правды ради надо отметить, что до смерти он ни одну девку не засек, а после порки щедро вознаграждал подарками и деньгами.

И вот однажды привез Петр Ильич к себе в усадьбу прямо из Парижа хрупкое, воздушное создание по имени Луиза Дюваль. Она была балерина. Француженка тут же переделалась в русский сарафан, косу заплела,

полюбила пить квас и есть окрошку. А на утренней заре ходила к пруду (где теперь грязная лужа) и крутила там фуэте, а затем купалась. И вот на ее беду нашло на Петра Ильича очередное помутнение. Схватил он плеть и в сад бросился. А навстречу Луиза, которая как раз с купания возвращалась. Петр Ильич без лишних слов — за косу ее да на конюшню. И начал там сечь. И засек. *Насмерть!* (Это же вам не русская баба. Много ли француженке надо? Тем более балерине.) Конечно, здесь имело место и недоразумение. Ведь француженка могла крикнуть. По-французски. Воззвать, так сказать, к духовной сущности Петра Ильича. Но, возможно, Луиза Дюваль приняла грубое обращение за неистовую страсть. Ей показалось, будто русский барин с ней заигрывает. И даже когда на ее нежные плечи посыпались первые удары плети, она все еще принимала это за пылкость загадочной русской души. Ну а потом... потом было уже поздно. Петр Ильич в раж вошел. Тут уж хоть по-французски кричи, хоть по-итальянски — не поможет.

Когда все открылось, горю Петра Ильича не было границ. Он так убивался по несчастной Луизе, что дворовые опасались за его рассудок. Два раза к пруду бегал топиться; всерьез подумывал в монастырь уйти. Но не ушел, а уехал в Петербург. Там он нашел китайца, специалиста по бальзамированию, и привез его в усадьбу. И китаец, надо отдать ему должное, сделал все по высшему классу. Луиза Дюваль лежала в гробу живее живых. Тем временем на кладбище закончили сооружение часовенки с витражами, рубиновым крестом на куполе и изваянием самой Луизы в мраморном гробу.

Настоящий же гроб с настоящей Луизой установили в комнатке под часовней. И мало кто знал, что от барской усадьбы туда был прорыт тайный ход. (Егор покивал; да, да, помнит он эту полуразрушенную часовенку на кладбище. Босоногими пацанами туда бегали. Правда, никаких витражей и рубинового креста и в помине уже не было, но статуя с отбитым носом сохранилась). И вот как схоронили француженку, так и пошла про то кладбище дурная молва: будто бы из-под земли голоса доносятся. А один божий странник клялся, что видел в три часа ночи женщину в белых одеждах, танцующую меж крестов. Ну а уж в следующем веке, в расстрельные тридцатые годы — все по тем же глухим слухам — чекисты стали свозить на кладбище тела своих жертв и тайно захоранивать. Говорили даже, что и самого царя-батюшку с семейством не в Екатеринбурге порешили, а сюда привезли умертвлять... Короче, — закончил свой рассказ господин Шульц, — загадочное место во всех отношениях.

Выслушал Сладкосолев со вниманием эту любопытную историю.

— И что? — спрашивает.

— И ничего, — отвечает господин Шульц.

— А чем вы все-таки занимаетесь? — не отстает упорный Егор. — Если, конечно, не секрет.

— Да какой там секрет, — говорит господин Шульц. — С удовольствием расскажу.

И рассказал:

— Занимаюсь я инфернологией. Слыхали о такой науке?

Егор головой мотает: — Нет, не слыхал.

— Это наука об аде, — разъяснил господин Шульц. — Дело в том, что по моим расчетам, ад находится в России.

— Как это в России? — озадачился Сладкосолев.

— Точнее, не в самой России, — поправился господин Шульц, — а под Россией. Вот тут, прямо под нами, — постучал он каблуком ботинка в пол.

— А почему именно под Россией? — еще более озадачился Егор.

— Ну а где ж ему быть-то, как не под Россией, — убежденно сказал господин Шульц.

— Действительно, — согласился Сладкосолев, сраженный наповал столь веским доводом.

— По моей теории, — продолжал господин Шульц, — ад имеет три входа. Один вход был в Атлантиде, ну и, естественно, исчез вместе с ней под водой; второй — неизвестно где, хотя я подозреваю, что он расположен... — Тут господин Шульц опасливо огляделся и, приклонясь к Егорову уху, прошептал одно слово.

— Не может быть! — с жаром вскричал Сладкосолев. — Не верю!!!

— Однако это так! — припечатал господин Шульц. — Что же касается третьего входа... — Господин Шульц сделал паузу, не спеша закурил сигаретку, выпустил в потолок сизую струйку дыма и только после этого сказал: — То он здесь.

— Где здесь? — озирается Егор.

— На том самом кладбище, где француженка лежит.

Наступила тишина. И только одинокая муха летала под потолком и жуж-ж-ж-жала.

#### IV

С того дня взаимоотношения хозяина и постояльца заметно потепле-ли. А вскоре Сладкосолев с господином Шульцем и вовсе закадычными друзьями сделались, несмотря даже на явный перепад в интеллектуаль-ном развитии. Си-и-дят себе летними вечерочками на завалинке и разго-воры разговаривают. О том о сем; о сем о том.

И вот как-то раз, в один из таких вечерков, Егор и рассказал своему новому другу свой старый сон.

— Любопытно, любопытно, — живо заинтересовался господин Шульц. — А не с четверга ли на пятницу вам этот сон приснился?

— Точно, — припомнил Егор, — с четверга на пятницу.

— Значит, вещей, — заявил господин Шульц и о чем-то задумался, да так глубоко, что Сладкосолев уже и спать было вознамерился идти, но тут господин Шульц очнулся от глубоких дум и говорит, указав пальцем в небо:

— Обратите внимание, Егор, луны на небе нет.

— Ну и что? — не понимает Сладкосолев. — Счас ветер тучи разго-нит, она и появится.

— Не появится, — отвечает господин Шульц. — Сегодня девятнадца-тый лунный день. Сатанинский. Разгул темных сил.

— И что это значит? — опять не понимает Егор.

— А то и значит, что вход в ад открыт.

Сказал это господин Шульц и смотрит на Сладкосолева выжидающе. Егор заерзал.

— И вы... хотите?..

— А почему нет?

— Дак темно уж, — пытается увильнуть Сладкосолев. — Мы ж там ничего не увидим.

— У меня фонарик есть, — говорит господин Шульц.



— А... а... — Егор даже не знает, что ему и отвечать на такую неожиданность. В самом деле: только что спать собрался идти под теплый Нюрин бочок, а тут — на тебе! — как бы в самое пекло лезть не пришлось.

— А вот, — наконец нашелся Сладкосолев, — ежели *они* на нас кинутся?

— Обороняться станем, — невозмутимо отвечает господин Шульц. — У меня пистолетик имеется, длинноствольный. Как раз на такой случай.

— Ну-у... не зна-а-ю. — Егор репу свою чешет. — Надо, наверное, Нюру предупредить.

— Не надо.

— Почему?

— А что она, по-вашему, скажет?! «Иди, Егорушка, в ад»?

— Вообще-то верно, — согласился Сладкосолев.

Господин Шульц пружинисто поднялся с завалинки.

— Я пойду саквояж захвачу, а вы возьмите топор и две лопаты. Штыковую и совковую.

— А лопаты-то зачем? — спрашивает Егор.

— Заодно жену вашу вырою, — бодро пояснил господин Шульц. — Вам же интересно посмотреть, что от нее осталось?!

— Ну, интересно, конечно, — неуверенно пробормотал Сладкосолев. ...На кладбище и днем-то иной раз страх заберет, что ж тогда говорить о безлунной ночи. Тут еще и дождь напористый зарядил. Пока по деревне шли, вроде как нормально было — собаки во дворах брешут, окошки в домах светятся... А как за околицу вышли, где тьма тьмуцая, Егор совсем духом пал. Идет за энергичным господином Шульцем, ногой за ногу цепляет... Еще и филин, з-зараза, вдруг заухал! (У Сладкосолева аж внутри все оборвалось от этого ухастья.) Вскоре прохладой повеяло от речушки Кашинки — значит, и пути всего ничего осталось.

Наконец пришли. Сразу и дождь перестал. И ветер стих. Ни одна веточка на деревьях не шелохнется. Тишина стоит. Жуткая.

Нашли они Варину могилу и за работу дружно взялись. И вскоре лопаты стукнулись о крышку гроба. Вытащили они его из могилы; гроб хороший, дубовый, нисколько в земле не попортился, только что обивка матерчатая сгнила. Подцепил Егор крышку топором — она и отскочила.

*И пред ними предстала мертвая Варя.*

Глядит Сладкосолев на свою бывшую жену во все глаза. Кажется, нисколько она за десять лет лежания в земле не переменилась. Даже как будто похорошела.

А господин Шульц в мертвое лицо фонариком осветил.

— Ничего себе, — присвистнул. — Это же Луиза Дюваль.

— Какая еще Луиза Дюваль? — не сразу вспомнил Егор.

— Да та самая француженка, которую Петр Ильич насмерть засек. Помните, я вам рассказывал?

— Что-то вы, господин Шульц, путаете, — занервничал Сладкосолев. — Это моя первая супруга. Варя.

Господин Шульц, как обычно, глубоко задумался, а потом и говорит:

— Все понятно, ваша жена — фантом. На самом деле она умерла в прошлом веке. Поздравляю вас, Егор, вы жили с фантомом. А я еще думаю, чего это она так хорошо сохранилась... Ну-ка, подержите фонарик, — деловито приказал господин Шульц и, отдав вконец обалдевшему Сладкосолеву фонарь, полез в свой саквояж.

Только теперь Егор заметил, что живот у Вари вздутый, как у бере-

менной. Господин Шульц достал из саквояжа скальпель и, воткнув в Варин живот, разрезал вместе с саваном.

И тут... и тут...

Сладкосолев даже не понял сразу, что же случилось. Какой-то пронзительный визг ударил по ушам, а по ноздрям ударило зловоние; и что-то кроваво-склизкое и мохнато-темное стремительно вырвалось из Вариного живота (Егору с испугу показалось, что это была горилла) и понеслось прочь!

— Лови!.. Лови!.. — азартно закричал господин Шульц.

Да куда там — лови! Уродец, что твой резвый жеребец, заскакал через могилы и кресты. Только его и видели.

Господин Шульц пришел в сильнейшее возбуждение.

— Так я и знал! — радостно потирал он руки. — Так я и знал! Какое блестящее подтверждение моих теоретических выкладок! Ну, теперь держитесь, господа антропологи! Это, пожалуй, что Нобелевкой пахнет!

Сладкосолев растерянно молчал.

— Как вы думаете, кто это был? — весело глянул на Егора господин Шульц.

— Ну-у... не знаю... сынок, наверное, мой.

— Ха! Сынок! Ничего себе — сынок! Это же скунс! Самый настоящий скунс!

— Кто-кто?

— Вообще-то есть такой зверек, — уже поспокойнее начал объяснять господин Шульц. — Он водится в Северной Америке и по виду напоминает нашего хорька. Но дело не в нем. Я взял примерное название, чтобы как-то обозначить явление. Кто же это на самом деле, неизвестно. Лично я предполагаю его внеземное происхождение... — Господин Шульц закурил, выдохнул дым и продолжил: — Тайнственные крошечные особи забираются через влагалище в умерших молодых женщин и там развиваются до взрослого состояния. Женское чрево для них — идеальная питательная среда. Внешне все напоминает беременность. Когда же созревание заканчивается, «скунс» прогрызает живот покойницы и вылезает наружу. Надо сказать, что они очень ловко научились маскироваться в человеческом обществе, и их практически невозможно выявить. Впрочем, все скунсы имеют маленький рост и обладают злобным характером...

Сладкосолев насторожился. Ему показалось, что из Вариной могилы донесся какой-то подозрительный шум. Он посветил туда фонариком и...

И глазам своим не поверил.

— Господин Шульц, — сдавленно шепчет, — глядите...

А господин Шульц уже и сам видит.

— Да-а... — тянет с придыханием.

Дело в том, что в размер Вариной могилы зияет — дыра. А в этой дыре, далеко внизу, земля виднеется. Ощущение такое, будто с громадной высоты смотришь. Как с самолета. И по всей неведомой поверхности, насколько глаз хватает, костры горят. Костры, костры, костры... миллионы костров!.. Черный дым клочьями к небу поднимается (где Егор с господином Шульцем). А вместе с дымом летят человеческие вопли, вскрики, всхлипы... Прямо-таки один сплошной стон несется из могилы. И с такой болью... с такой болью... Стоят Сладкосолев с господином Шульцем, пошевелиться не могут. Оторопь взяла. А из-за ближайшего креста скунс появился. Уже в каком-то рванье и кирзовых сапогах. Подкрался он тихонечко и господина Шульца в могилу ногой толкнул. А затем и Сладкосолева.

Очнулся Егор в подземелье. Тусклые лампочки по стенам горят; вода в отдалении капает: кап-кап, кап-кап... гулко так звук разносится. Рядом господин Шульц сидит. Живой и невредимый.

— Господин Шульц, — спрашивает Сладкосолев, — это где же мы с вами находимся? В аду, что ли?!

— Не думаю, — поразмыслив, отвечает господин Шульц. — Видите, рельсы со шпалами.

Глянул Егор под ноги — точно, рельсы со шпалами.

— Может, это тогда метро? — предполагает.

— Для метро тоннель слишком узкий, — говорит господин Шульц. — Вагоны не пройдут.

— Как же мы тут очутились? — чешет затылок Сладкосолев.

— Черт его знает, — чешет и господин Шульц свою подпалину. — Но надо, по-моему, отсюда выбираться поскорее.

С этими словами он встал и быстро пошел по тоннелю. Егор, конечно, за ним.

— И чего это с нами приключилось? — продолжает недоумевать Сладкосолев по дороге. — А, господин Шульц?

— Понятия не имею.

— А мы с вами ад, что ли, видели?

— Вряд ли, — качает головой господин Шульц. — Мне кажется, это была обычная галлюцинация, вызванная психоэнергетикой, исходящей от вашей мертвой жены. Точнее, от фантома. Я слышал о таких штучках.

— Но тогда... — начал было Егор и осекся.

Рельсы внезапно кончились, тоннель раздвинулся, и они оказались в огромном сводчатом помещении, пол которого был завален... трупами.

— Скорей назад! — закричал господин Шульц и первым бросился бежать, перескакивая через две шпалы на третью. Сладкосолев, разумеется, припустил следом.

— Это тот самый тайник, — на ходу объясняет господин Шульц. — Помните, я вам рассказывал. Куда чекисты расстрелянных прятали.

Вдруг из-за поворота показались какие-то люди с винтовками.

— Стоять! — грозно приказали они.

И сразу же — бах! бах! — пальнули несколько раз для остротки!

Ну, естественно, замерли Егор с господином Шульцем на месте. А куда деваться?.. Вперед — убьют! Назад — тупик с мертвецами... Неизвестные подошли, обыскали, забрали у господина Шульца так ему и не пригодившийся пистолет, связали пленникам руки, заодно завязали глаза и куда-то повели.

Сначала шли в гору, потом под гору, затем какие-то лестницы крутые пошли, разговоры с матюгами, запах махорки, хлопанье дверей. Наконец повязки с глаз кто-то снял (руки связанными остались); смотрит Сладкосолев: большущая комната с большущим столом. А на столе сидит карлик с лицом, как кусок вареного мяса. В углу рта папироска дымится.

— Это же наш скунс, — шепчет Егору господин Шульц.

Пригляделся Егор: точно, он.

Тут дверь в комнату отворилась, и на пороге появился здоровенный детина в папахе и с маузером.

— Товарищ Петренко, — докладывает, — кулаков из райцентра привезли. Куда их девать? Подвалы все забиты.

— Чем забиты? — спрашивает скунс.  
 — Монахинями.  
 — К стенке их!  
 — Кого — их? — не понял детина.  
 — Монахинь.  
 — А кулаков в подвалы?  
 — Нет, — сказал скунс, — тоже к стенке.  
 — А в подвалы — кого? — снова не понял детина.  
 — В подвалы — реквизированный картофель.  
 — А этих тоже к стенке? — Детина показал маузером в сторону Сладкосолева и господина Шульца.  
 — Этих, — посмотрел скунс вначале на Егора, потом на господина Шульца. — Да, этих тоже.  
 Сладкосолева с господином Шульцем провели недлинным коридором во внутренний дворик, поставили у кирпичной стены. И — *расстреляли.*

## VI

Снова очнулся Егор. На сей раз в стеклянном гробу. «Неужто чекисты по-христиански схоронили?» — поразился Сладкосолев и огляделся. Он находился в небольшой комнатке, сплошь увешанной коврами. Даже на потолке был ковер. Вылез Егор из гроба и сразу же увидел... Варю. *Живую.* Она стояла с распущенными волосами и в длинном полупрозрачном платье. Егор так и ахнул. И Варя ахнула. Егор по лицу ладонью провел. И Варя по лицу ладонью провела. Егор насторожился. И Варя насторожилась. Егор ногой топнул! И Варя топнула!.. Тут-то до Егора и дошло, *что он и есть Варя!* И что перед ним зеркало. Прошелся Сладкосолев по комнате туда-сюда, сюда-туда. Странное состояние: груди вперед тянут, зад — назад. Чудно!

Не успел Егор как следует свыкнуться со своим новым положением, как раздался осторожный стук в дверь. И послышался голос, очень знакомый.

— Мадемуазель Дюваль, — промурлыкал голос, что твой кот, — позвольте войти. Это я, Петр Ильич.

— Ну, входи, — говорит Сладкосолев, а сам своему бабскому голоску дивится.

Дверь отворилась, и в комнату вошел... господин Шульц в старинных одеждах. А может, его фантом (Егор уже основательно во всем запутался). Подойдя к Сладкосолеву, точнее — к Варе, а еще точнее — к мадемуазель Дюваль, Петр Ильич галантно поцеловал у нее ручку.

— Как изволили почивать, дорогая Луиза? — интересуется.

— Да ничего, — отвечает Егор. — Нормально.

А Петр Ильич руки Егоровой не отпускает, девичьи пальчики поглаживает.

— А я за вами, — мурлычет. — Окажите честь, отужинайте со мной. — И вдруг — хватъ Сладкосолева за сиськи и ну их мять!

— Но! но! но! — занокал Егор, ошарашенный и огорошенный подобным обращением.

— Мадемуазель Дюваль... Луиза... Лизанька... — лихорадочно бормочет Петр Ильич, покрывая страстными поцелуями сладкосолевское лицо. — Прошу... у-мо-ля-ю... одну ночь...

И, не дав Егору опомниться, подхватил его на руки и понес к дверям...

Довольно долго тащил он Сладкосолева извилистым коридором, затем надавил на выступ в стене, стена отъехала, и они очутились в опочивальне.

Петр Ильич из хрустального графинчика в хрустальную же рюмочку винца налил.

— Отведайте, Лизанька, — протягивает рюмашку Егору. — Ваше любимое. Бургундское.

Сладкосолев отведал. Честно сказать, так себе. Слабенькое. То ли дело первачок.

А Петр Ильич мягко, но настойчиво уже тянет Егора к кровати.

— Лизунчик, — хрипло шепчет, — вы обещали именно сегодня. В годовщину вашей смерти.

Понял тут Егор, что, ежели он и далее будет хранить свое инкогнито, то Петр Ильич его, пожалуй, и... От одной только мысли Сладкосолева аж в жар бросило. Этого еще не хватало, думает, не ровен час и рожать придется.

— Вы же обещали, Луиза, — прямо-таки сгорает от похоти Петр Ильич, — обещали...

— Ничего я вам, господин Шульц, не обещал, — холодно промолвил Егор. — Не выдумывайте.

Петр Ильич резко голову откинул, словно его в лоб звезданули.

— Егор?! — вскричал. — Ты, что ль?!

— Я, — отвечает Сладкосолев.

Тут господин Шульц как примется хохотать. Хохоchet и хохоchet... На кровать от смеха повалился, слезы из глаз ручьями бегут.

— Ой, не могу! — ухахатывается.

— Вам-то смешочки... — Егор тяжело вздыхает. — А мне каково? Даже по нужде теперь по-нормальному не сходить.

Отсмеялся наконец господин Шульц, сел в кресло и закурил сигару.

— Не волнуйтесь, Егор, — попыхивает. — Знаете, что гласит восточная мудрость: «Женщина, не печалься, что ты женщина, ибо в следующей жизни станешь мужчиной. Мужчина, не радуйся, что ты мужчина, ибо в следующей жизни станешь женщиной».

— Чо-то я вас не понимаю, господин Шульц, — пожимает девичьи ми плечами Сладкосолев.

— А я сейчас объясню. — И объясняет: — Многие люди помнят свои прошлые жизни. Вы же, как это ни странно, помните будущую. Проще говоря, французская балерина Луиза Дюваль в следующей жизни станет русским трактористом Егором Сладкосолевым. Уяснила, Лизавета?! — игриво ущипнул господин Шульц Егора за ляжку.

Ничо Егор не уяснил.

— А как же — вы? — спрашивает. — Вы вон как были мужиком, так мужиком и остались.

— Я — это совсем другое дело, — отвечает господин Шульц. — Я, если хотите знать, вообще не человек.

— А кто же вы? — недоумевает Сладкосолев. — Скунс что ли?

— И не скунс. — Господин Шульц помолчал немного и прибавил значительно: — Помните черного кота с подпалинами?

Егор насторожился:

— Ну.

— Баранки гну. Вот и подумайте на досуге своей... — господин Шульц по Егорову лбу пальцем постучал, — задницей.

Сладкосолев чутко носом потянул.

— Горелым пахнет, — рассказывает. — И будто кричит кто.

Господин Шульц принялся и прислушался.

Тонкие занавески на окнах заалели. Господин Шульц их в сторону отдернул. А за окнами все пылает! И дом, и пристройки, и конюшня... А по двору в зареве пожарища чьи-то тени мечутся.

— Что за черт?! — растерялся господин Шульц.

— А вот это я объясню, — говорит Егор, ощущая в душе странное удовлетворение. — Крестьяне вам красного петуха пустили! Ну, держитесь, господин Шульц! Сейчас они с вилами заявятся!

И точно. Двери распахнулись, и в опочивальню ворвались бородатые мужики с вилами, топорами и дико горящими глазами.

— Ага-а! — заорали, — вот ты иде, колдун проклятый, с ведьмакой-полюбовницей!

— Господа! Господа! — залепетал господин Шульц.

Тут ему «господа» острые вилы в лицо и воткнули. А вслед за этим и Сладкосолева рубанули топором по прелестной французской головке.

## VII

На сей раз очнулся Егор в общественном туалете, на заплыванном и зассанном полу. Поднялся Сладкосолев и побрел прочь. Бродяга бродягой. Все на нем грязное, вонючее... Голова гудит, словно по ней чем-то трахнули (впрочем, так ведь оно, по сути, и было). Вышел на улицу — что за хрень, снова он на вокзале в Бежецке, как год назад, когда бычка Степана возил продавать. И так же электричка стоит на Сонково. Сел Егор в вагон. Билет, конечно, не взял, на какие шиши?.. Ладно. Поехали.

Напротив Сладкосолева опустилась на скамейку тетка с авоськами и сумками. Здоровенная, грудастая, чем-то Егорову жену Нюру напоминает... Егор, чтоб с теткой глазами не встречаться, в пол уставился. Неудобно ему от своего бомжеского вида.

Смотрит: а на полу билет валяется. Сладкосолев ногой его к себе подвинул и, наклонившись, поднял. И как раз вовремя.

— Билеты, билеты проверяют, — тревожно понеслось по вагону. И будто что сгустилось. Разговоры разом стихли, газетами перестали шелестеть, даже дети малые и те примолкли... Все чего-то ждут. Чего?! — недоумевает Егор. Ко всему прочему еще и электричка остановилась. Прямо в чистом поле. Дверь в вагон отворилась, и вошли два контролера. Молодые ребята в черной форме и с короткоствольными автоматами.

— Прошу приготовить проездные документы, — вежливо сказал один.

И пошли по проходу. А тишина в вагоне стоит, прямо как на кладбище.

— Ваш билет, мужчина, — обратился контролер к Сладкосолеву.

Егор показал. Контролер повернулся к грудастой тетке.

— Ваш билет, женщина.

Тетка полезла за билетом в карман лияной кофты — не нашла, сунулась в другой карман — тоже нет. Лицо ее жалко исказилось, глаза забегали.

— Я брала, брала... — умоляюще смотрела она на мальчишку-контролера.

— Да вы не волнуйтесь, — успокоил ее тот. — Поищите в сумке. Я подожду.

Тетка принялась лихорадочно рыться во всех своих сумках и авоськах. Билет не находился.

— Да брала же я! — голос ее истерично звенел. — Вот те крест, брала!

— Ну что вы так нервничаете, — улыбнулся контролер. — Давайте я вам помогу. — И он, подхватив теткин вещи, пошел по проходу.

Тетка потерянно поплелась следом.

— Брала я... брала... — обращала она зареванное лицо к пассажирам. Все молча отводили глаза.

«Что за хрень?» — не понимает Сладкосолев. Отдать что ли бабе ее билет? Ишь, как убивается... Кроме Егоровой соседки контролеры выявили еще трех безбилетников: двух девочек-близняшек и старика с седой бородой. Вывели они их из вагона в чисто поле, поставили в один ряд и... *расстреляли*. Электричка, дав короткий гудок, снова тронулась. Весело застучали колеса. Напряжение в вагоне схлынуло. Все разом заговорили, зашуршали газетами... Один только Егор сидит весь в липком поту и бормочет под нос обалдело: «Вот это да... вот это да... вот это да...»

Нечего и говорить, что в Сонково он первым делом напобирался Христа ради на автобусный билет (от греха подальше) и только после этого поехал в Хлевное. За грязными окнами автобуса потянулись родные места. Сладкосолев как-то враз и успокоился. А к родному дому подходил, уже сладостно предвкушая, как он уткнется носом в мягкие Нюрины груди... Открыл Егор дверь, вошел в горницу — глядь, а на лавке сидит безобразная старуха с черным котом на коленях... *С тем самым...*

Подняла старуха морщинистое лицо на Сладкосолева да как заорет проваленным ртом:

— Сатана! Сатана! Сатана! Сгинь! Сгинь! Сгинь!..

Егора как живым кипятком ошпарило. *Это была его Нюра!*

...Дальнейшее Сладкосолеву помнилось, как с перепоем. Набежали в избу какие-то люди, скрутили ему руки, посадили в погреб... Потом приехал милицейский фургон с зарешеченным окошком, и два милиционера-карлика повезли Егора в Сонково. В тюрьму.

Обвинили Сладкосолева сразу по трем статьям. Первая: каннибализм. Будто бы Егор сорок лет назад гражданина Шульца убил и съел. Вторая статья: измена Родине. Будто бы, когда подсудимый Сладкосолев на целине в Казахстане работал, его завербовала казахская разведка. И третья статья: воровство. Будто бы бычок Степан, которого Егор на базаре продал, — краденый.

Суд собрался. Сладкосолева усадили на скамью подсудимых, в клетку, как особо опасного преступника; справа и слева от клетки встали два солдата-автоматчика.

— Прошу встать! Суд идет! — визгливо выкрикнула тетка-секретарь.

Председательствовал на суде опять же карлик с прыщавой физиономией, а по сторонам от него сидели две бабы-прихлебательницы, ну то есть заседательницы.

Не успел суд прийти, как тут же удалился на совещание. После чего карлик-судья торжественно зачитал приговор.

Приговорили гражданина Сладкосолева, ранее несудимого, к разрыву. Что это такое, Егору после суда объяснил словоохотливый адвокат:

— Разрыв — самый распространенный вид казни на Руси, получивший второе рождение в наши дни. Разрыв не требует больших материальных затрат, как, например, электрический стул. Преступника привязывают за ноги к двум приклоненным к земле и друг к другу деревьям, а

после дерева отпускают. И душа преступника улетает на небо... — Видя, что Сладкосолев побледнел, адвокат поспешно добавил: — Не волнуйтесь, Егор Тимофеич, я уже подал прошение в Верховный суд, так что, возможно, разрыв вам будет заменен четвертованием. Надеемся.

— Спасибо, — пролепетал бедный Егор. — Буду надеяться.

А в начале осени, сразу после Михайлова дня, открылась дверь камеры смертников и вывели Сладкосолева в тюремный двор, где две белоствольные березки-красавицы росли, специально одна неподалеку от другой посаженные. А далее — все, как адвокат описывал: приклонили березки к земле, привязали Егора за ноги: одну ногу к одной березоньке, вторую — к другой. Да и отпустили под аплодисменты зрителей.

И душа Егора улетела на небо.

Сказывали после, что в тюрьме Егор усердно Богу молился. Просил послать ему ангелов небесных для спасения. Но... Не каждая молитва доходит до Господа.

И еще сказывали, что, когда Егоровы останки в яму закапывали, невесть откуда взялся черный кот с подпалинами. И в эту яму спрыгнул. И как его оттуда ни выманивали, не вылез. Так мертвого Сладкосолева с живым котом и схоронили.







**Михаил Никанорович  
Просьянников (1924—1999)**  
*родился в селе Репенка Алексеевского района Белгородской области. Педагог по образованию. Участник Великой Отечественной войны. Долгие годы жил и работал в поселке Давыдовка Лискинского района, преподавал русский язык и литературу, вел творческий кружок. Автор нескольких стихотворных книг, которые были изданы благодаря его коллегам и землякам.*

**Михаил Просьянников**

## **СКЛОНЯЕТ ГОЛОВУ КАМЫШ**

\* \* \*

Опять к тебе пришел я, речка,  
Где тропки спрятала лоза,  
Чтоб услышать твое словечко,  
Чтоб заглянуть в твои глаза.

На берегу твоём сажусь я  
У кромки медленной воды,  
Ищу вокруг с ненужной грустью  
Далекой юности следы.

Здесь все не то, что раньше было,  
Ведь утекло немало лет,  
Немало горестей уплыло,  
Немало радостей и бед.

Где глубиной пугали плесы  
И где песок желтел на дне,  
Зеленых водорослей косы  
Сдавили горло глубине.

Все гуще ветки краснотала,  
И с каждым днем труднее путь.  
И ты как будто бы устала,  
Лишь ищешь заводь — отдохнуть.

Ты вся сверкаешь в блестках солнца  
И мимо ног моих спешишь,  
И мне, как старому знакомцу,  
Склоняет голову камыш.

## СОЛДАТ

От материнского порога  
Через сплошной крошечный ад  
По фронтовым путям-дорогам  
Четыре года шел солдат.  
Он не храбрился перед строем,  
Хотя в атаках не плошал,  
Но не был, так сказать, героем  
И подвигов не совершал.  
А что ходил со смертью рядом  
Из боя в бой, из боя в бой,  
Так это вроде так и надо,  
Положено само собой.  
Что замерзнуть и жить в окопах  
Себя на долгий срок обрек,  
Что он лопатой пол-Европы  
Изрыл и вдоль, и поперек.  
Что грязь месил, тонул в болотах  
И голодал по много дней,  
Так ведь на то ж она пехота,  
Царица-матушка полей.  
Он столько ужасов увидел  
И столько бед хлебнул сполна...  
А на кого же быть в обиде?  
Война — она и есть война.  
Когда вернулся в сорок пятом  
Домой без званий и наград,  
То будто в чем-то виноватым  
Перед друзьями был солдат,  
И все же — победитель-воин,  
Я за него стою горой.  
Он уважения достоин  
И для меня всегда герой.

## МЕДСЕСТРА

В свою удачу веря до конца  
И напрягая слабенькие силы,  
Сестра уже десятого бойца  
Сегодня с поля боя выносила.

Тащила их, беспомощных, назад  
От смерти и опасности в сторонку  
И прятала, как драгоценный клад,  
В уютную глубокую воронку.

Но ошалелый вражеский металл  
Взрывал все поле с яростною силой.

Ключок земли с воронкой вместе стал  
Готовою солдатскою могилой.

Мы горе пережили, кто как мог,  
А в нашей фронтовой дивизионке  
Был помещен короткий некролог  
О подвиге и гибели сестренки.

Но не пришлось у белого бугра  
Ей злую участь разделить с бойцами.  
Очнувшись, после боя медсестра,  
Полуживая, выползла из ямы.

Потом плыла в потоке страшных дней,  
То оживала, то во тьму летела...  
Не раз склонялись доктора над ней,  
Сшивая обескровленное тело.

В плену у светлых, чистеньких палат,  
От смерти огражденная врачами,  
Она сжимала пальцами халат  
И втихомолку плакала ночами.

Смириться с тем, что в двадцать лет — без ног,  
Она была, наверное, не в силах.  
И в письмах к нам настойчиво просила  
Прислать ей тот короткий некролог.

## РОДНИК

Мороз холсты дорог утюжит,  
Кует, что молот, крепкий лед,  
По голым роцам ветер кружит  
И тополя в посадках гнет,

Продрогла ель у кругояра,  
Молчит, застыла Дон-река.  
Но бьется в сизой дымке пара  
Живое сердце родника.

Гордится круча меловая:  
Мороз такому нипочем!  
Гордится круча, открывая  
Броню реки своим ключом.



*Виктор Андреевич Стаканов родился в селе Старо-Покровка Лискинского района Воронежской области. Окончил Ростовский государственный университет. Работал кочегаром, шахтером, первым секретарем райкома комсомола, редактором газеты МВД Таджикистана. Автор многих книг прозы, в том числе собрания сочинений в 4-х томах. Член Союза российских писателей. Живет в Липецкой области.*

**Виктор Стаканов**

## **ДНИ ПЕРЕД БЕДОЮ**

*Отрывок из романа*

**П**о-кошачьи мягко пласталось на нижеведугской духмянной земле бархатисто-золотистое лето. Молодцеватое солнце, залихватски набекренив желтую корону, по-царски величественно обходило земные владения, заглядывая в густо затравенные луга и поля, в леса, взлохмаченные звенящей листвой, в единственную деревенскую улицу, даря всякой живой твари счастье бытия. Серебристой кипенью хлюпали теплые дожди. Пер ввысь и вширь усадый пшеничный колос. Клала крапленые яйца в сухие гнезда пернатая рать, а на вечерних гульбищах парни в охотку миловались с розовощекими зазнобушками.

На третий день после приезда Евдокии нагрянула с дальней бригады Клава, незамужняя молодая разведенка. Статная, с ложбинистым животом, змеистым станом и крутыми бедрами, она с каким-то озорством и задиристостью держала свою красивую головку. Черные брови растянулись с неким изломом на ее высоком лбу. Финиковые глаза постоянно были распахнуты так, будто они чем-то изумлены. Оладики щек отливали со-

всем не деревенской белизной, а длинные каштановые волосы курчавились на узких плечах.

— Почему она живет у нас? — возмутилась Евдокия.

— Муж ейный застал ее с трактористом Прошкой. Помнишь? Хроменький такой. Так вот Семен, муж Клавдии, от злобы спалил дом Прошки и свой, а сам смотался. Милиция кинулась в розыск... — Иван Данилович раскуривал сигарку, объясняя дочери сложившуюся ситуацию.

— Мы тут сбоку-припеку...

— Кисловато нам с бабкой бирюковать одним, вот и пустили квартировать, хата, поди, шо твой ипподром.

— А ноне?

— Шо ноне? Попросим!

В избу вошла веселая Клавдия. Рукава рубахи были засучены по локоть. Она только что умылась студеной водой, потому раскраснелась. Евдокия про себя отметила: «Ничего бабенка — при теле и на морду смазлива». А вслух сказала:

— Как же ты без мужа-то?

Клавка лихо кинула свой озорной зырк на Евдокию и залилась смехом, приговаривая:

— Не тот муж, который муж, потому что муж, а тот муж, который хотя не муж, но муж. Вот это муж!

— Будет тебе, пересмешница, — обиделась Евдокия.

— Не жмурься, милочка, твоего Андрюшу не оттабуню. Он у тебя партейный! Ха-ха-ха!

— А я и не боюсь. На таких он чихать хотел. Я к тому, что тесновато нам! — вдруг сорвалась на крик Евдокия.

— Ах, вот оно что! Так бы и колядовала! Уйду. Осенью уйду, а ноне мое гнездо — сеновал. Приблудилась я звезды считать...

Клавка лукаво ухмыльнулась, схватила чистую юбку и вышла.

Иван Данилович меж тем увлеченно клацал на счетах, будто не слышал бабьей перепалки. Едва дверь за квартиранткой захлопнулась, с расстановкой сказал:

— Не горюнься, Дуняша, все образуется.

Найденыш оклемался. Не судьба ему было загинуть. Жизнь-повитуха, зная, заимела на него дальние виды. Вскорости Евдокия смогла спокойно написать обо всем мужу. Андрея эта история ухнула обухом по голове. Он взбудоражил всю лискинскую милицию, но потуги ее пришлось коту под хвост. Танюшка как в воду канула. Убедившись в безысходности дела, он примчался в Нижнюю Ведугу, бурей налетел на жену, кричал, коржил душу свою переживаниями, однако постепенно погас, смирился.

Полгода спустя Андрей окончил партшколу. Его взяли в райком партии инструктором. И тогда он перетащил семью в город. Найденыш пришелся ему по душе: светловолосый, бойкий, ласковый. Скоро тот стал носить фамилию Лавровых.

— Петр Лавров! Звучит? — шутил Андрей, обращаясь к жене.

— Да будет тебе, — нежно отзывалась Евдокия.

Андрей до безумия любил детей, бродил с ними по заказнику, гулял в саду, а по утрам выстраивал всех на коврик и вымахивал с ними руками да ногами физзарядку. Забавно и мило было Евдокии глядеть на эту дружную мужскую компанию.

Война пала на русскую землю снегом среди лета. В Лисках многие в нее не верили. Что значит война? Зачем она? Кто этого хочет? Иные обыватели утешали себя: до Лисок семь верст до небес — все лесом, поспешать некуда. Но всеобщая мобилизация настроила на тревожный лад даже самых благодушных. В райкоме партии цикадили телефоны круглосуточно.

— Я долго спал? — Андрей вскочил с дивана.

— Два часа.

— Сколько сейчас?

— Восемь.

— Я же проспал, Дуняшка!

— Андрюша, милый, ведь чуть свет появился. Всю ночь на работе! — повиликой оголенных по плечи рук Евдокия обвила шею мужа, присев к нему на колени.

— Глупышка, думаешь, одни райкомовцы нынче лупатят по ночам глаза? Вся страна не спит, война ведь, война!

— Андрюша, милый! — Евдокия прижалась к мужу. — На кой ляд эта чертова война? Хочу растить детей вместе с тобой!

— Вай-вай! Ты, чую, уже хоронишь меня. Очень рад, спасибо! — деланно отстранился Андрей от жены, но та еще плотнее прижалась к нему.

— Тебя же могут забрать!

— Во-первых, не забрать, а призвать на защиту Родины! Во-вторых, вот! — Андрей порылся в карманах: — Вот бумага! Полюбуйся, бронь. Меня оставляют здесь, в тылу...

— Ой! — Евдокия так громко вскрикнула, что разбудила детей.

— Па, ты дома? — донеслось из соседней комнаты.

Через минуту сыновья штурмом взяли отцовские колени, оттеснив мать, и Евдокия, переполненная несказанной радостью, кинулась накрывать на стол. Андрей выстроил свою гвардию и скомандовал:

— Руки на пояс став! Делать начи-най! Раз-два-три-четыре!

— А «на месте шагом малш»? — пропищал Петя.

Андрей запнулся, подмигнул сыну, подал команду «Смирно!» и торжественно объявил:

— Молодец, Петрушка, очередность упражнений усвоил. От лица службы объявляю благодарность!

Петяня от счастья покраснел, точно вареный рак, глотнул воздуха и отчетливо выпалил:

— Служу Советскому Союзу!

Птичьим щебетом запорхал по квартире детский смех. Улыбнулась и Евдокия, подала ему свежую рубаху. Видно было, женщина безмерно рада тонкому, как паутинка, бабьему счастью: дети и муж рядом!

— Пора! Меня отпустили только на три часа. Осталось десять минут, — Андрей встал.

— Погодь, Андрюша! Ходьбы-то минутное дело!

Квартира Лавровых действительно была локоть к локтю с райкомом партии. Точнее сказать, она находилась с ним в одном трехэтажном здании, кое называлось Домом Советов. Здесь же размещались райисполком и редакция районной газеты, а одно крыло дома было отдано под жилье.

Андрей искоса лупнул глазами на жену, размышляя, когда открыть ей всю правду — сейчас или позже. В нем зудело замешательство: лгать

не в его правилах, а причинять любимой боль не хотелось. Из омута коряжистых мыслей выскочила, точно раззолоченный зоряющий карп, известная истина: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И он рубанул:

— Хочу заглянуть к военному.

— Зачем?

— Я отказался от брони.

— Шутишь?

— Нет, ягодка моя, — Андрей подошел к жене, положил руку на ее плечо.

— Что же будет с нами? — страх заледенил сердце Евдокии.

— Я вернусь с победой. Скоро вернусь! А теперь мне пора. Извини, поговорим потом.

Андрей вышел. Для Евдокии как-то по-особенному хлопнула дверь, будто расколола мир на две чудовищные половинки: на одной — война, на другой — скитальческая жизнь без мужа. Дети прижались к матери. Все четверо немигающими глазами-буравчиками сверлили скрипучую дверь, горбатый порог.

\* \* \*

Первое письмо от Андрея пришло через месяц. Он писал: «Дорогие мои Дуся, Вова, Петя и Витя! Шлю вам свой пламенный привет с фронта. Я жив и здоров, чего и вам от всего сердца желаю. За меня не беспокойтесь. Дуняшка, хлопочи там насчет пайка, чтобы голод не загубил вас до времени. Сообщи, что дают из продуктов. По этому вопросу я отбил поклоны в письмах секретарю райкома ВКП(б) Камынину и в райпотребсоюзу Малахову. Надеюсь, они помогут.

Утром иной раз в бинокль наблюдаю, что творится по ту сторону. Копшатся, сволочи, но с гонором, будто они непобедимые. Ничего, дадим понюхать русского кулака. На днях два немецких самолета заарканили наши воздушные асы, посадили на нашей территории. Всю шпану, находившуюся в самолетах, взяли в плен. Чешутся у нас руки, ждем, когда командование скажет: «Вперед!» Ребята уже сами рвутся в бой, но не велят.

Дуняшка, милая! У меня все хорошо, вот только соскучился невероятно по тебе и ребятам. Надеюсь, скоро увидимся. А пока я обнимаю тебя, пышку, и крепко целую огольцов моих ненаглядных. Ваш отец и муж Андрей».

Евдокия перечитала письмо и принялась разглядывать на нем картинку. Солдат стоял в каске с красной звездой. В правой руке — автомат, в левой зажато древко знамени, на котором выведено: «За Родину, за Сталина!». Солдат обернулся и что-то кричит. За ним видны танки и головы других бойцов, идущих вперед. Кругом снопы взрывов, клубы дыма. На письме три штампа. На одном выведено: «Полевая почта», на втором — «Проверено военной цензурой», третий штамп — местный.

Прижав письмо к лицу, Евдокия тихо и нежно чмокнула его. Глаза заволоклись слезной мутью. В голове вдруг зазвенело, а мысли голубиной стаей порхнули туда — на фронт, к Андрею. Зачем война отнимает его у нее, как ей жить дальше, как воспитывать детей-крольчат, чем кормить их, нешто травой?

Немец жировал. В первые месяцы войны все у него клеилось. Осклизлыми змеями тревожные вести поползли с фронта. Грянул день, когда переполох взял за глотку и Лиски. Враг уже был на той стороне Дона, на меловых горах. Город лежал перед ним, как на ладони. Просматривались все улочки и даже проулки. Вражеские пушки вели прицельный огонь. Разбиты вдребезги маслопром, мясокомбинат. Волчком завертелась эвакуация населения.

Между деревнями Грушевка и Кривобоково, в лощине, затопленной ливнем, подвода с семейством Лавровых так застряла — хоть волком вой!

— Вытряхайся, слышишь? Слазь с телеги, говорю! — орал во всю глотку Епифаний, сердитый мужик из Грушевки, откуда райком партии мобилизовал подводы для перевозки беженцев. Евдокия не поняла, что обращались именно к ней: резали слух шум, скрежет, крики людей. Сзади напирали.

Епифаний, обозленный до крайности, пустил в ход кнут. Лошадь-бедолага дергалась натужно, норовя вырвать застрявшую телегу, но безуспешно. Потом, привыкнув к хлысту, она замерла, выбившись из сил. Распалившись, мужик хлобыстнул ее со всей мочи. Евдокия, увидев, как безжалостно полощут скотину, соскочила с подводы.

— Ну, взяли! — придушенно крикнула она, налегая плечом на телегу.

Лошадь пристыла, точно вкопанная. Это привело мужика в бешенство.

— Дык я тебя, стерва! — Епифаний выхватил из-под повозки дрын и принялся дубасить им свою гнедую, матерясь нещадно.

Лошадь сорвалась с места, протащила телегу на полшага и снова увязла в грязи. Вся взмыленная, она рвалась из хомута, ременной подпруги. Казалось, будь ее воля, вылезла бы из собственной шкуры.

— Дорогу! Пошто возишься? — угрожающе ревели сзади. Но мужик уже не оборачивался, перед собой он видел только своего врага, упрямую скотину, которая, ему казалось, из упрямства не желала ему подчиняться. И он бил, бил, бил...

Странно качнувшись, лошадь упала, испутив дух. Бабахнув еще раз уже мертвую, Епифаний вдруг понял, что забил ее насмерть.

— Туды тебе и дорога! — тихо, но злобно ругнулся Епифаний.

Куснула сердце Евдокии въедливая тревога: кто сжалится над ней и ее детьми? Сунулась с просьбой подобрать ее к одним, другим, а те только разводили руками, мол, без тебя тошно, голубушка. Губы ее перекошил глухой стон. Старшенький из сыновей тронул мать за руку:

— Не плачь, мам. Как-нибудь докостыляем. Давай мне Витюху, а ты бери Петьку. Авось не пропадем.

Мать ласково глянула на сына, открыв для себя, что обретает в нем какую-никакую опору. Бросив свой скарб, дабы топать налегке, и оглянувшись на подводу с дохлой лошастью, она вместе с детьми тронулась в путь. Епифаний, присев на оглоблю, рыдал пуще слезливой бабы.

Протащив с полверсты четырехлетнего карапуза на горбу, Вовка, пыhta паровозом, остановился, скинул на землю брата, взмолился:

— Ма-ам, чуток обожди.

Евдокия тотчас стала. Она тоже взмокла, волосы ее слиплись, сбились под косынку. Хоть Петруня и маленький, но уже, поди, не фунт изюма, как-никак пять годков ухнуло. Переводя дух, процедила обреченно:



— Дальше не пойдем, моченьки моей нет.

— Накукарекаемся теперь, — не по-детски молвил Вовка.

— Да, сынок, будем ждать, может, найдется добрая душа, подберет. Мокрые, голодные и измазанные, они стояли в непролазной грязи, надеясь на чудо. А люди проезжали мимо. Каждого щемило свое горе. Загрохотала рядом чья-то подвода.

— Возьми, хозяйшюк! — жалобно протянула Евдокия, обращаясь к женщине, обложившейся в телеге кучей детей.

— Слепла, болезная? На колесо разве что! — оплеухой шлепнул ответ.

Колченогий мужчина, ковылявший рядом с вожжами в руках, обернулся, окинул исподлобным взглядом Евдокию, ее сморчков и густо забасил:

— Тпру-у, — лошадь остановилась. — Подь суды, милая. Топай со всем выводком!

Евдокия, чрезвычайно обрадованная, не веря собственным ушам, подхватила на руки обеих малышей и помчалась к подводе, но тотчас споткнулась и грохнулась в жидкую грязь. Дети подняли вой.

— Эк, жалкая! — мужчина захромал к ней, помог встать, вытащил из лужи одного сорванца, а другого уже держал на руках Вовка.

— Катька, двинься! — скомандовал он женщине в телеге. — Ишь, барыня отыскалась! А им шо, погибать?

К вечеру оба семейства добрались до Грушевки. Здесь председатель сельсовета, шустрый мужичок Антон Михайлович Шевелев, разместил беженцев по хатам.

Наутро Евдокия проснулась с головной болью, с ломотой в костях. Дети еще дрыхли на шубе, брошенной у печки хмурой хозяйкой. Витька откинулся на спину, голова повернулась вправо, покрывало сбилось с ног. Петька и Вовка лежали, уткнувшись друг в друга лбами...

Евдокия с минуту любовалась детьми, затем осторожно поправила на них покрывало и вышла во двор. Холодная роса обожгла ноги. Она проскочила за сарай и, побыв там несколько минут, вернулась в хату. Хозяйка Меланья, женщина лет пятидесяти, одетая в просторную черную юбку и серую кофточку, была уже на ногах. Завидев квартирантку, спросила:

— Как спалось?

— Ломит меня, видать, простыла.

— А ну?! — Меланья подошла к Евдокии, приложила ладонь ко лбу, потом посоветовала: — Ты укладывайся, я лекарство состряпаю.

Она достала графин с самогоном, нацедила стограммовый стаканчик, бросила в него пилюлю хины, размешала и подала Евдокии прямо в постель. Больная приподнялась на локте, стиснула пальцами стакан, понюхала питье, сморщилась и, зажав нос свободной рукой, выпила и тотчас укрылась с головой одеялом.

Как назло, проснулись дети, заканючили каждый на свой лад.

— Писить хасю! — пищал Витька.

— И я! — отозвался Петька.

Евдокия высунула голову из-под одеяла и приказала старшему:

— Своди их.

Вовка схватил малышей за руки и потащил их к выходу.

— Скалей! — торопил Петяня, придерживая штанишки.

Дети воротились, потребовали есть, а Вовка пожаловался:

— Мам, тело у меня горит.

Меланья уложила мальчика на печку, подала ему кружку с водой и полпилюли:

— Кинь в рот и запей. Да потеплей укройся!

К обеду с Евдокии сбежало десять потов. Малость разбитая, но уже здоровая, она поднялась на ноги. Малыши, накормленные перловой кашей, возились во дворе.

\* \* \*

Грушевка жила беспокойно, будто находилась тут на птичьих правах. Ежедневно ее лихорадили бомбежки. От зажигательных бомб уже сгорели школа и колхозный амбар с зерном.

К вечеру над деревней ястребами закружились два немецких самолета. Пикировали уверенно, по-хозяйски. Знали, никто не мешают им сбросить смертоносный груз на головы мирных, незащищенных людей. Вспыхнула паника. Крестьяне сыпанули из хат в чем попадая, приткнулись в сараях, под копнами сена, соломы.

На прошлой неделе с полоумным Игнатом, тридцатилетним верзилкой, случился конфуз. Фашисты нагрянули в тот момент, когда он сидел в сортире. Учув беду, помчался к соломе, придерживая незастегнутые штаны. На полдороге споткнулся, упал, запутался в штанах. Рассерженный, он скинул их и дал стрекача. Добравшись до спасительного места, дурень бухнулся на четвереньки и зарылся в солому, но не совсем. Когда самолеты скрылись за горизонтом, люди, выбравшись из укрытий, увидели голый зад Игната. Всю неделю деревня надрывала смехом животы.

Евдокия, узнав о новом вражеском налете, заметалась в поисках своих неслухов. Собрав всех троих, затолкала их под кровать. Хозяйка, угрев, где угнездились ее квартиранты, сипловато крикнула:

— Кто вас надоумил, глупыи-и! Грохнет бомба — блин от вас останется. Геть во двор!

Гулкий рев моторов царяпнул слух. Где-то заухало, разорвалась одна бомба, другая. Евдокия, решив, что уже поздно менять место укрытия, наказала детям не высовывать носа, и сама тоже распласталась возле них на полу. Меланья мотанула от хаты, как черт от ладана. Мышатами под вениками притихли Петруша и Витька. Вовка недовольно кряхтел, его корежила теснота.

Бомба рванула где-то совсем рядом. Колокольцами звенькнули стекла в окнах, фасолью затарабанила по спине Евдокии просыпавшаяся с потолка белая глина. Женщина сунула голову к детям под кровать, запричитала:

— Господи, спаси деток, спаси кровинок.

Навеселившись вволю, сбросив бомбы, построчив из пулемета, фашисты улетели. По мере удаления гула самолетов сельчане, как тараканы, один за другим выползали на свет. Над деревней крылатыми гадюками витал иссиня-черный дым. На самой окраине жадно лизал поджаренное небо языкатый кострище чьей-то хаты. Вокруг метались люди, таскали ведрами воду, заливали огонь, который от подобного опрыскивания бушевал еще ярче, еще напористей. Дом сгорел мигом, как спичка.

— Изверги проклятые! Зверюки бессердечные! Грянет и ваш черед! — ревели пожилая женщина, воздев руки к небу. Волосы ее были растрепаны, лицо в саже и кровоподтеках, юбка разорвана.

— Будя, мамань! — к ней приткнулась девчушка лет двенадцати. —

К тетя Фросе, свахе твоей, попросимся, там перебьемся. Она добрая, примет.

Евдокия выбралась на улицу не сразу. Приведя себя в порядок, вытряхнув из-за пазухи глину, она оглядела детвору. В Петрушином пальце оказалась заноза, вытащила ее иголкой.

— Больна-а! — заверещал малыш.

Вернулась Меланья и с охами да ахами сыпанула пригоршню новостей о пожаре, впряглась наставлять Евдокию на случай новой бомбежки. В хате, оказывается, коротать время в таких переплетах нельзя, ибо хата здесь — верный гроб. Бежать, куда глаза глядят: на улицу, в закутки разные, хоть к черту — с ним договориться можно, а с фрицами...

— О сорванцах подумай, садовая голова, коли своя шкура не дорога!..

Кличь детишек, вечерять пора.

За ужином Меланья, блудя глазами, частила хитренькими прибаутками, конфузливо малясь, видно, хотела что-то сказать, да не решалась. Под конец, набравшись духу, зачастила, будто просеяла соль на рану:

— Евдокия, чай, долго надумала квартировать? Харч ить... он, поди, не казенный... Война ить...

Кусок застрял в горле Евдокии, она поперхнулась, затем, придя в себя, с натугой выдавила:

— Да нет, матушка, мы скоро, вот только раздобыть попутчика до Нижней Ведуги. Свои там, отец да мать.

— И-и, голуба! Нижняя Ведуга, стал быть, у немчуры поганой. Бой там ноне идут.

— Гутарят мужики, фриц долго не продержится.

— Держи карман ширше!

Евдокия не нашлась с ответом, но твердо решила у Меланьи долго не задерживаться. Не из тех она, видать, людей, какие бескорыстно потчуют человека в трудную для него минуту.

Утюжил деревню бомбами фашист методично, старательно, не реже двух раз в день. На сей раз во время бомбежки Евдокия в точности выполнила все наставления Меланьи. Но в груди захолонуло, когда узнала, что в одном из сгоревших домов погибли двое детей, и тут же поспешила к месту пожарища. Детвора уже слонялась там вместе с другими мальчишками, норовисто суя нос во все дырки. Издали неслись душераздирающие вопли погорельцев, их родственников, стоны сочувствующих.

Два соседних дома уже дотлевали. Кое-где пузырчато вспыхивало робкое пламя. Его разом заливали водой, шипевшей на огне по-гадючьи. Два мужика с вилами в руках ковырялись в развалинах. Труп одного мальчика нашли под завалом. Он лежал теперь в сторонке и представлял жуткое зрелище.

— Раздайся, а ну! — кричал один из мужиков, осторожно таща на вилах труп ребенка.

Толпа расступилась, но мужика неосторожно задела, и труп соскользнул на землю. Его снова поддели вилами и положили рядом с первым. Оба были обуглены, черны, ужасны.

Евдокия отыскала своих ребят, влепила Вовке звонкую затрещину, отчехвостила его за самоуправство, приказала впредь без ее ведома малышней никуда не уводить. Отведя всех в сторону, велела ждать ее здесь, а сама тиснула в гудящую толпу, намереваясь взглянуть на погибших. Подергивая локтями, отвоевала местечко, откуда было все видно. Ее внимание привлек мальчонок, по-собачьи скуливший поначалу тихо, затем

заревевший во весь голос. «Видимо, брат», — подумалось, но тут ее ударила мысль, что ревущий младенец шибко похож на Петрушку. Подалась вперед, сверля глазами мальчика, и вдруг ахнула: это действительно был ее сын. Бросилась к нему, подхватила на руки, выбралась на волю и тут же снова отругала Вовку.

— Попробуй удержи его! — оправдывался тот.

Занозой вошел в память Евдокии поступок Петруши. Ну, что он, козьяка, понимает? Откуда такая чувствительность? И мать решила сына больше не костерить.

Утром, увидев воспаленные, красные глаза сына, Евдокия, тревожась, спросила:

— Ты болен, сынок?

— Нет, — односложно ответил малыш и больше не реагировал ни на какие расспросы.

К обеду он немного потеплел, и Евдокия, придя домой на перерыв из райпо, где работала кассиром, снова подступилась к сыну. Тот молчал непонятливым турчонком, затем, прицелившись пульками своих глаз в переносицу матери, вдруг пальнул:

— Мам, скажи, а папа тоже убивает людей?

Евдокия опешила. Совсем малец — и такие мысли!

— Что случилось, Петрунь? Где у тебя болит?

— Нигде не болит! Ты же знаешь, что немцы сожгли Мишку и Кольку, ну, тех, в Глушевке... А вчела я видел, как две стлекозы ели длуг длуга. Сам видел!

Евдокия растерялась, не знала, что ответить сыну. Не найдя ничего лучшего, ласкающе-утешительно молвила:

— Подрасти чуток, малыш, тогда все поймешь...

Она сочла ненужным объяснять карапузу, что отец его, конечно же, убивает на войне людей, врагов своих, но только во имя его, Петруши, жизни, во имя его будущего; что в природе вообще так заведено — одно существо пожирает другое, чтобы самому выжить; что она, Евдокия, не приемлет этого закона природы и уверена: придет время, когда Добро победит Зло.





**Иван Савинович Сафонов** родился в 1936 году. Окончил филологический факультет Воронежского государственного университета. Работал в Лискинском районе кинемехаником, учителем, завучем, директором Тресоруковской средней школы. Публиковался в журнале «Подъём», региональных изданиях, альманахах. Автор десяти поэтических сборников, в том числе «Проселки», «Печаль, любовь, работа», «В родном краю» и др. Член Союза писателей России. Живет в селе Тресоруково Лискинского района Воронежской области.

**Иван Сафонов**

## КОЛЮЧИЙ СНЕГ В ГОРСТИ

ЧУДО

Я, может быть, не все бумаге  
Доверю — пусть себе чиста,  
От нас не требует отваги  
Простая белизна листа.  
Я от него покамест скрою  
Все мысли тайные свои, —  
Ничто не ново под луною,  
За исключением любви.  
Но и о ней не надо всюду  
Звонить во все колокола.  
Любовь всегда подобна чуду  
С касаньем божьего крыла...  
И если чуть неосторожно  
Надломишь крылышко, то вновь,  
Как ни проси ты, невозможно  
Вернуть ушедшую любовь...

РАССТАВАНЬЕ

Из дома вышел не спеша,  
И, в пояс кланяясь, сначала  
Промолвил: «Господи! Душа  
Всю ночь без усталости кричала...»  
Он понимал всем существом,  
Кровинкой каждой и взглядом,  
Что покидает отчий дом  
Навеки с поздним листопадом...



На сотни верст в наряде ярком  
Предстанет отчая земля.  
Где травы буйствуют и рощи  
В оправе первого листа  
Полны неудержимой мощи,  
Что первозданна и чиста.  
И в небесах, где голос пташки  
До изумления высок,  
Такие вызовет мурашки  
Восторга, бьющего в висок!  
Запомятая миг на годы,  
Идешь от запахов хмельной,  
Извечный сын родной природы,  
Кому кладешь поклон земной...



**Валерий Тихонов**

## **ОХ, УЖ ЭТА ТОНЬКА!**

(Малоизвестные страницы  
жизнейской биографии Егора Исаева)

*Народный поэт, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной и Ленинской премий, Егор Александрович Исаев — уроженец села Коршево Бобровского района. Однако и по биографии своей жизненной, и личному его признанию, Лиски для него — очень близкий и памятный земной уголок. Со здешнего вокзала, остриженным «под ноль» молодым солдатом, уезжал в «теплушке» на фронт, сюда потом не единожды приезжал к друзьям-товарищам, здесь провел немало интересных литературных встреч... И даже одно из своих стихотворений посвятил Лискам, в котором с присущей поэту откровенностью признался:*

*...Добрый ты и ты суровый  
У священного огня...  
Хорошо, что вы с Бобровом,  
Как два брата у меня.*

*Лискинцы чтут и хранят память о Егоре Исаеве, считают его своим земляком, тем паче, что Лискинский и Бобровский районы когда-то были единым уездом.*

*О поэте Егоре Исаеве сказано и написано уже немало. Мне же, кому судьба подарила дружбу с этим неординарным буквально во всем человеком, ставшим для меня и старшим товарищем, и Учителем по литературному творчеству, часто встречавшимся с ним, хочется рассказать о некоторых, мало кому известных страницах его чисто житейской биографии. Одна из них — о земной Любви Егора Исаева — далеко не будничной, возвышенной до пафосной строки, и в то же время такой простой и понятной, как и весь он был сам...*

*О своей личной жизни Исаев почти никогда ничего не рассказывал. Даже в биографических своих откровениях как-то скромно обходил эту тему. Может, потому, что умея ненавязчиво и в то же время красиво вместить свои чувства всего в несколько строк, отражал все это в своих поэмах и стихах?*

*Наверное, и я бы разгадывал, как и все, по этим строкам неведомую сторону жизни моего друга, если бы не случай...*

*Как-то Егор Александрович в присущем ему эмоциональном духе рассказал мне о своей недавней встрече с тогдашним мэром Москвы Лужковым.*

*— Представляешь, подходит ко мне Юрий Михайлович, в улыбке весь, руку протягивает, а сам декламирует:*



Ах, Тонька-Тонька!  
Вся она, как речка —  
Попить попей,  
А переплыть — ни-ни...

Я аж растерялся, это же из поэмы моей «Даль Памяти»! Надо же, такая шишка и мои стихи наизусть знает...

...Слушаю откровения Егора Александровича, а сам думаю: «Может, самый раз давно интересующий вопрос задать? Тонька эта, речка, — образ вымышленный, поэтический или и впрямь была такая?»

Дожидаюсь удобного момента, спрашиваю. И, получив солидную порцию исаевского «разъяснения», что все его литературные герои — реальные люди, взятые из жизни, получаю, наконец, долгожданный ответ:

— Тонька! Это ж наша, коршевская дивчина. На одной улице жили, хороводились... — И, чуть улыбнувшись, добавил: — Моя первая любовь! Ох, и красива была! А частушечница, другую такую не сыщешь! Бой-девка была!

На том разговор и закончился. Хотя мне и хотелось спросить о дальнейшей судьбе этой загадочной Тоньки, но что-то сдержало. Зачем бередить зарубцевавшиеся раны старого человека? Мало ли что могло случиться...

Однако спустя какое-то время жизнь сама неожиданно-негаданно помогла найти ответ на незаданный вопрос.

Как-то в разговоре со своим другом Валентином Чичасовым, зная о его коршевских корнях, спросил, не помнит ли он некую Тоньку, в которую Егор Исаев в юности влюблен был? И тут же получил короткий, но чуть не сразивший меня наповал ответ:

— Привет! Это же моя старшая сестра, Антонина! В Нововоронеже с дочкой да внуками живет...

Вот те раз! Ответ-то, оказывается, сколько лет со мной рядом ходил, а я...

И тут, неожиданно для самого себя, с ходу рождаю то ли смелое, то ли озорное по-детски предложение: — А давайте устроим встречу Егора и Тоньки! Представьте, какой подарок им преподнесем! Ведь они наверняка с той юношеской поры не виделись...

— А как же мы это сделаем?

— Очень просто! Через пару недель поэт приедет отдыхать в санаторий Цюрупы, вот мы его к вам и доставим. А вы Тоньку-Антонину в гости позовете...

— А что, затея и, правда, интересная, — согласились супруги Чичасовы.

И вот настал он, этот необычный для всех нас день. Для хозяев дома — хлопотный, для нас с женой, как инициаторов встречи, — волнительный, ведь неизвестно, как воспримут ее главные герои события. А уж для них самих — и говорить нечего.

Побывать у своего земляка из «залогинской» породы Исаев согласился охотно. Давно не виделись. Так что в назначенный день и час мы уже были у дома Чичасовых, что на одной из Парковых. Глянув на трехэтажный особняк, Егор Александрович поначалу неодобрительно нахмурился, но, уже спустя мгновение, всколыхнулся, засветился стариковской улыбкой.

— А, помнишь, Вальк, дома наши коршевские — что ваш, что наш? Господи, сколько там в них метров этих было — с гулькин нос, а вот уюта, простора на тыщу человек хватало. Там ведь вместо стен — горизонт распростертый, а крыша в самом поднебесье шапкой висела! Эх, какие дали, какая светлость разливались в тех хатенках! Есть ли они нынче в этих вот дворцах? Да, ладно, я не о тебе, — построил, ну и молодец! Я о жизни нашей... Ну, давай, показывай хоромы-то!

И тут абсолютно неожиданно для гостя прямо в прихожей встречает его... та самая Тонька, которую когда-то было «не переплыть». Вернее, Антонина Семеновна, — постаревшая возрастом, но только не душой. По-прежнему, как и, наверное, тогда, в

далекой молодости — озорная, веселая, раскрытая для шутки-прибаутки, а то и подначки безобидной. Сохранившая былую красоту свою даже в эти годы, с накинутым на плечи цветастым платком и широкой улыбкой на лице, держа в руках серебряный поднос с полной рюмкой да куском хлеба, она враспев протянула:

— Хлеб-соль тебе, гостюшка дорогой! Ну-к, отведай маво самделишного, специально тебе привезла! — и прямо в руки оторопевшему от приятной неожиданности земляку полную рюмку самогона.

На миг только растерялась душа исаевская, на один только миг, когда увидел Тоньку свою незабываемую, услышал голос ее напевный... А потом залихватски, помолодецки прямо-таки, хватнул первачок, крикнул по-мужицки и заулыбался:

— Ну, дай хоть обниму-то тебя!

Нет, не объятье это было и даже не поцелуй двух повидавших жизнь людей, стежки-дорожки которых разбежались по разные стороны... Две души человеческие, не зачерствевшие памятью своей, любовью юношескою дышащие так же, как и тогда, шесть десятков лет назад, слились в едином порыве в какое-то одно большое и неразрывное, имя которому — Чувство неостывшее, Радость неподдельная. И то ли мгновенье, то ли вечность длилось это неожиданное, но наверняка долгожданное прикосновение вмиг помолодевших сердец, чувствовали только они сами. А мы — и хозяева, и гости — стояли в сторонке и, сдерживая слезы радости за этих счастливых людей, притихли, боясь даже нечаянным шорохом помешать им. А еще почему-то подумалось, что такое можно видеть в жизни, пожалуй, один только раз! И то не каждому! Так что мы тоже могли отнести себя в этот вечер к счастливым людям!

Всегда приветливый дом наших друзей в этот раз был наполнен какой-то особой торжественностью, причем не возвышенно-помпезной, а наоборот — приземленно простой. Будто собрались мы на весеннем прибитюжском лугу с цветущими ромашками, колокольчиками, да и уселись за его бархатную скатерть. А вокруг — простор душевный, замешанный на русском хлебосольстве да радости от встречи необыкновенной. Как-никак, а ведь земляки встретились, да не просто воронежской земли нашей плодородной, а именно того самого уголка ее, коршевского, что живет в памяти поседевшей у каждого ее уроженца. Вон они, все как на подбор, — что Егор рядом с Тонькой-речкой, что Валентин с Лидушкой...

А потому и тост первый был вполне естественным:

— За коршевцев! За память, годами не вытертую, за ту даль, из которой они когда-то вышли!!!

Выпили все, даже женщины. А Тонька, внутри которой вновь вспыхнул притушенный годами озорной огонек, та даже крикнула по-мужицки и, глядя счастливыми глазами на Егора, протянула: — Крепкий вышел, а, Ерк? Продернуло, али как?

Егор, уже познавший крепость первака, дернул рюмку и, не закусывая, заулыбался своей необъятной исаевской улыбкой:

— Молодец! Ей-бо, молодец! Оч хор!

— Чаво? Какой такой хор? — тут же повернулась к нему соседка.

— Очень хорошо, говорю!

— Ты, Ягор, давай по-нашему гутарь, по-свойски, а то, что ты с детства в разумные пошел, и так известно! — хлестанула поэта землячка.

Егор, ничуть не смутившись, расхохотался:

— Узнаю, узнаю Тоньку-речку! Да ладно тебе! Вы вот что! Ребята, вот что, милые мои, девчата, и седые, и молодые, — видишь вон, красавицы какие молодые сидят! Это я вам комплименты, а то ведь женщины, они комплименты любят...

— Ты поешь давай, а то не ешь ничаво, — оборвала философскую мысль Тонька.

— Ладно, все, уговорила! Но, друзья мои, хорошие мои, все-таки по-чутьочку поднять надо за нас за всех! Я вам вот что скажу. В моей поэме «Даль памяти» есть такие строчки:

Рабочий класс — он ствольный класс,  
Вершинный,  
А раз вершинный — значит, корневой!

И пришла мне, надо же, в голову вот такая аналогия:

Исаев — он воронежский,  
бобровский,  
А раз бобровский — значит, коршевской!

— Охо-хо-хо! — расхохоталась Тонька, заразившая своим рассыпчатым смехом сидящих за столом. И опять, обращаясь к Исаеву: — Ты выпивай да ешь, гляди, а то ж я тебе опять самогоночку лью!

— Обязательно! И выпью, и закушу, и шуткой-прибауткой в том числе...

И вдруг, неожиданно для всех запел:

На гармошке, на гитаре  
припоют глазенки кари!

— Эх, какие частушки были! Короткие, а смысла в них, силищи народной да мудрости — не объять! — И снова, чуть схмурив брови:

Сыграй, Ера, — в разлив, в разлив!  
Мое сердце — в разрыв, в разрыв!

— Какой ты, Ягор, был, такой ты и остался! — Тонька повернулась к нему всей своей крупной фигурой и то ли спросила, то ли просто заговорила:

— Гуляли мы на свадьбе, отдавали дочку Петьки Зюмова. Ну, а мы, девки молодые, ходили по селу, собирали на свадьбу, и я ходила. Как щас помню, набрали много всякого. Были у Карташова, у председателя, он нам дал денег...

— Он неплохой мужик был, матерщинник правда, но, грамотный, хозяйственный был, — вспомнил и Егор, перебив на мгновение рассказчицу.

— Ну дык вот, набрали значит, принесли, сдали все и гулять. А отец-то мой с матерью тоже гуляли. Отец с гармонью пришел, играет, все плясать-то пошли. И мы тоже. Все частушки поют матерщинные, и мы не отстаем. Отец и кричит мне: — Тонька! — А я не слышу ничаво — пою да пою, пока гармонь не стихла...

Антонина Семеновна поправила лежавший на плечах цветастый платок, будто после пляски той сбившийся чуть набок, и весело продолжала:

— Вот тады свадьбу как играли! А плясали как — до упаду, до седьмого поту! Чуешь, что все, хватит, падаешь от усталости, ан нет, ногам тормозов нету — бьют да бьют!

— Там не напьешься, потому что плясать надо и петь надо, срам на фамилию не навести, — опять подключился к рассказу Егор Александрович. — Потому и пьяных не было. Веселые были, а пьяных да дурных — нет! Вот тогда и была та самая народная культура, пусть и с матерной разухабистостью русской, душой нараспашку, но без хамства, без обид, без унижений! А щас только бутылку в руки взял, и поперла дурь!

— Череза всю Коршеву шли плясали, во как гуляли! — продолжала свое Тонька. — А играли как, помнишь?

— А как же! — спохватился Егор. — «Третий лишний», «Кувшинчики», «Горелки»... Щас ведь никто ни черта не играет, щас только компьютеры, «мобилы», а отсюда и дебилы, господи прости. Потому что нет развития, ни тела, ни души, ни ума... Озорства нет! А коли озорства нет, то и детства нет!

И, вскочив со стула, выкинув руки вперед, словно пытаясь поймать убежавшее далеко уже детство свое, он с мальчишеским азартом продолжал:

— За ней гонишься, за ней бежишь-бежишь, ну вот уже, вот, а она нырь в сторону, косами как тряхнет, и ты мимо...

— А ты в кулаки-т помнишь, как играли? — тронула его руку Тонька. Она тоже, как и ее друг детства, была уже мыслями там, в родном Коршево, на «тырле», как называли одну из улиц, где проходили все эти игрища. Разумянившееся лицо ее с горящими озорными огоньками в глазах, будто выплыло из той самой речки, которую невозможно было переплыть, из поры той незабвенной, что детством зовется...

— О, в кулаки — это сильная игра! Бывало, всю руку отобьют, больно, а терпишь — игра! — поддержал ее Егор, направляясь к столу.

И все! Не было уже среди нас этих двух, проживших большую и не простую жизнь людей, — ни Героя Труда, ни уважаемого и заслуженного ветерана войны Егора Исаева, ни пережившей тягости жизни матери двоих детей, поднявшей их на ноги нелегкими вдовьими заботами Антонины Лукашовой!

Перед нами, сцепив морщинистые кулачки, стояли шустрый и красноречивый говорун Ерка «Кондрашин», да коршевская красавица, посводившая ни одного сельского хлопца с ума, — Тонька «Залогина». Со своей нестареющей памятью, далью той незабытой, сердцами, полными непроходящей любви, и с прозвищами этими подворными, доставшимися по наследству от пра... пра... пра...

— А частушки, частушки какие рассыпали, а? Под гармошку али балалайку? Как на балалайках-то играли! А ну, пошли, хватя, засиделись! — Тонька, не бросая Егоровой руки, потянула того из-за стола на середину комнаты.

И распахнув, будто крылья, широкие треуголки цветастого своего платка, она поплыла лебедушкой по этой огромной комнате, по хлынувшей из глубины души реке воспоминаний и чувств, по радости своей бабьей от встречи долгожданной. А рядом... Рядом неспешно, будто в замедленной съемке, плыл ее лебедь — с седым, но таким же вихрастым чубом, в белоснежном (надо же так подгадать!) вязаном свитере, одновременно гордый и открыто счастливый за свою незабываемую землячку, за свидание с ней.

Эх, полюбила я та-ко-во,  
Он молчит, и я ни сло-ва!

Заплескались по комнате Тонькины страдания. Даже без привычных в этих случаях разливов гармонии частушка сразу же распахнула окна и двери, до краев наполнила комнату деревенской улицей, не замолкающим ее перезвоном, да раскатистым аж до самого горизонта людским смехом.

И все-таки... Все-таки чего-то не хватало в этой разбуженной временем песне. Вон и Егор, отвечая озорной частушкой своей сударушке, закрутил вдруг головой, пытаясь найти это что-то недостающее, остановился на миг и крикнул с сожалением:

— Эх, щас бы двухрядку сюда!

Будто огнем полыхнул в меня этот исаевский крик.

Что ж это я, растяпа, залюбовался-заслушался, и совсем забыл про «сюрприз свой»! Вон ведь за шторой прячется до поры до времени. А чего же ждатель-то, коли вот она пора, что ни на есть та самая и пришла!

Признаюсь, читатель, серьезных музыкальных способностей у меня нет, хотя могу иногда и мотивчик кое-какой напеть, и песенку собственную сотворить. Но на гармошке играть умею. В детстве как-то сосед научил, как тогда называлось «на слух» подбирать мелодии, вот иногда и поддерживаю эти навыки. Хотя жизнь со своими углами острыми редко и мало на это время отводит, но, бывает, приходит порою желание. Так что не зря, выходит, прихватил я свою тульскую певунью.

Первые же аккорды «страдавухи» развернули удивленные глаза присутствующих в мою сторону: это, мол, что за чудеса, откуда вдруг? И только Исаев, хитровато прищурив глаза и продолжая приплясывать, воскликнул:

— Ну вот, теперь другое дело! А ну-ка, айда все сюда!

А Тонька, озорница эта седовласая, уже ходила по кругу, веселая да задиристая:



Антонина Семеновна и Егор Александрович:  
танец по старой дружбе

Если я тебе неми-ла,  
Не держу, неза-ще-мило!

И безо всякой остановки, будто поддразнивая ухажера, Тонька продолжала:

Я иду, они лежат,  
два майора на лугу!  
Тут уж я уж растерялась,  
тут уж я уж не могу!

Егор же, играя перехмуром нависших на глаза густых бровей, ловил момент, чтобы ответить сопернице. И вот поймал секундную паузу:

Дорогая, дорогая,  
ты какая-т никакая!

И заулыбался, довольный... А Тонька, распахнув шаль и наступая грудью на «обидчика», тут же отрезала:

Не прикурвай от огня,  
а то обожжешься,  
Ты не трогай, Ерк, меня,  
а то ведь нарвешься!

И пошла по кругу, а оторопевший от такой исповеди «ухажер» то ли и вправду нарвавшись, то ли подыгрывая, попятился назад. Да только на мгновение, потому что через считанные секунды, тряхнув седым, по-мальчишески вихрастым чубом, пошел в очередную атаку:

Антонина, глянь на звезды,  
а то завтра будет поздно!

И, вытянув голову к сверкающей люстре, пошел в припляс вокруг Тоньки...

А мы... Мы стояли вокруг плясунов, стараясь не мешать им, и чуточку, наверное, завидовали. Нет, вслух об этом никто не говорил, все было написано на лицах, в глазах. Прожить большую и далеко не легкую жизнь, заполнившую память каждого не тыся-

чами, а миллионами мелких и крупных событий, радостями и печальями, и вот сейчас, встретившись на ковыльном поле подпирающей старости, вернуться, как ни в чем не бывало, туда — в свою весну, на молодой зеленый луг... Вернуться, не забыв ни строчки тех озорных страданий, ни жеста, ни кивка, ни улыбки этой хитровато-простой, которая живет только на лице русского человека! Молодцы! Право слово, молодцы!

«Сумеет ли мы вот так? — подумалось почему-то. — А дети наши, внуки? Мы-то хоть чуть, да захватили еще частушечную пору, а они? Знают ли частушки русские, первооснову культуры нашей российской? Сомневаюсь! А ведь трудно даже представить русского мужика и бабу русскую без озоринки этой, без перепляса, без «Барыни» нашей несравненной да страдания разнеможного! От них ведь и танец пошел потом разный, и песня, и стих».

И будто угадав мои мысли, Егор Александрович, чуть запыхавшийся, розовощекий, погасив улыбку, обвел всех своим исаевским взглядом:

— А что, друзья мои! Тонюшка моя дорогая! Есть, есть еще порох-то у коршевских что на пляску, что на частушку! Попоём еще, потопаем! Одно жаль — уходит, забывается красота эта! Ведь куда ни глянь — везде эти девки полуголые, «витасы» пискливые, срам, да и только. Одна была передача — «Играй, гармонь», и ту приглушать стали. На свадьбах, на свадьбах-то, и тех частушек, гармошки или баяна не слышать — гудят ватты-киловатты дикими голосами, чем громче, тем лучше! А? А ведь раньше — как пели! Не орали, пели. Идут из поля и поют — дают право первого голоса, подголосками подтягивают. Не исполняют — а поют! Нынче-то песни нет, осталось одно исполнение! А тогда народ пел! Горько, трудно, холодно, голодно — а он поет. Потому-то и побеждал все эти тяготы... куда подевалось все? Ну, объясните мне, хлоп вашу поперек! То-то и оно, что нет объяснений. Ну да ладно, давайте-ка мы лучше перепляс наш покропим маленько, чарочку опрокинем.

— Давно пора, — поддержала его Тонька. — А то развел опять антимионию. Вы-т там в Москве чаго думаете? Об народе нашем, али об сабе токо? Пели-то, потому как сила была! А теперча Союз вон развалили, разошлись все по своим углам, как волки, кто ж тут запоет?

Семеновна до краев наполнила самогоном сначала исаевскую рюмку, потом свою и широко улыбнулась:

— Ну, хватя! Давайте выпьем, а то языками чешем, аж горлы ссохлись!

Выпили. Крякнули, кто захотел. В тишине потянулись за закуской. Даже Егор аппетитно захрумтел пилюской.

— Ты закусай, закусай, а то опьянеешь! Первак-то мой градусов под шестьдесят, а то и боле будя, — подкладывая что-то в тарелку соседа, засуетилась Тонька. Как лучше хотела, да только забыла, наверное, своенравье земляка своего!

— Я? Не-е, Тоньк, Егор он меру знает! Да и силушка еще есть. Так что не волнуйся. А насчет народа вот что скажу... На земле есть четыре самых главных человека. Первая — мать! В красоте своей, в страданиях своих рождает человека. И потом становится наставником его на всю жизнь. Второй — отец! Оборона, дом, хлеб. Ну, и конечно, батя — со словом своим твердым, примером полезным, а коли надо, и ремнем жгучим. Вот коли они, мать с отцом, не заложили с детства в чадо свое ум-разум, то воспитывайте его потом, не воспитывайте — ничего не получится! А кому ж нынче этот ум-разум закладывать, если матери в вине да проституции, господи прости, затонули, отцы и вовсе попилились! Сирот, сирот-то, гляньте, скоко развелось, больше, чем после войны. Срамота! Третий главный человек — учитель! Без него, братцы мои, без знаний, что он тебе дает, в жизни не обойдешься. Ну, и — врач! Тут уже, какой бы ты умный да воспитанный не был, а болячку без него не одолеешь! Только ведь и учитель, и врач настоящий сегодня, страшно подумать, — редкость! Да нет, их много, хоть пруд пруди, да только какие? За деньги учатся, за деньги дипломы прикупают, за деньги на работу устраиваются, за деньги учат и лечат! Не за зарплату, это понятно, а за взятки, за прикуп!!! Это же страшно! Есть все эти главные люди в жизни и нет их!

— Вот я тебе и толкую, — вмешалась в рассуждение Егора Тонька, — пожестча, покрепша надо управлять нами. Ты, Ерк, вспомни, бывалча председатель как гаркнет, топнет ногой, аж земля загудит, и все — баста! И пьяные трезвели, и драчуны по норам прятались, и лентяи за вилы брались, порядок сразу наводил. А нынче — всяк себе голова! Де-мокра-тия, — растянула враспев Тонька. — Тьфу! Ни города, ни села с той демократией не осталось. Давно-т в Коршеве был, видал, что осталось?

— Эт ты в точку, в десятку саданула. Что правда, то правда! Пропадает деревня. А ведь деревня — мать городов! В городе — там люди, а в деревне — народ! Из него все маршалы вышли, все большие писатели — из деревни... А сейчас село, основа России-магушки, гибнет! Это же чудовищно!

Да извинит меня читатель за это небольшое отвлечение, но... Пишу эти строки, перечитываю уже написанные страницы и удивляюсь сам себе — диалог получается! Все Тонька да Егор, Егор да Тонька! Остальные-то где? Ведь за столом больше десятка живых людей сидело. Молчали, что ли? Вспоминаю снова ту встречу, с первой до последней минуты, и снова удивляюсь. И вправду ведь молчали. Нет, реплики какие-то, восклицания там были, конечно, а вот разговор... Говорили меж собой две души — тогдашние, молодые да разухабистые памятью своей, и нынешние, поседевшие от старости, но не сдавшиеся ей. И как тут было помешать этому счастливому диалогу стосковавшихся друг по другу и молодости своей людей! Пусть наговорятся — натешатся старики...

И все же, спустя часа два, пауза наступила. Тонька глубоко вздохнула, в очередной раз подтвердив свое согласие с размышлениями Егора расплывчатым и мягким: «Да-а-а!», а тот, наконец-то, вняв просьбам хозяйки, стал энергично закусывать.

Тут-то и взяла слово Лидия Максимовна, которая с откровенным волнением ждала этой минуты:

— Поверьте, я очень волнуюсь, может быть, так, как долго уже не волновалась. Потому что в доме такие необыкновенные люди, такая теплая встреча. Мы с папой вашим, Егор Александрович, были очень дружны... А вы помните наш танец в сельском клубе, когда мы с вами вальс танцевали?

— Помню! — отозвался Исаев.

— А с нами ты хрен танцевал! — успела вставить Тонька, и сразу же сменила возникшее вдруг напряжение на дружный громкий смех.

— Я до сих пор вспоминаю Ваши строки, — продолжала тостующая: «И мужики, шалея от восторга, задрав штаны, бежали вслед за мной!»

— Ты смотри, помнит! — с откровенным удивлением и одобрением воскликнул поэт.

— Вы русский, вы воронежский, вы стоите в одном ряду с Кольцовым, Никитиным... Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы с нами!

— Спасибо, душа моя, за добрые слова, спасибо!

Но тут опять верх взяла Тонька. Да-да, не Антонина Семеновна, а Тонька, не смотря на свои почти восемь десятков лет. Ну, никак она не вписывалась в понятие старушки — розовощекая, озорная, в шали своей цветной, ну девка на выданье да и только!

— Она-а моя-я, хорошая-я, забыла про меня-я, — мягким грудным голосом затынула она тоже уже почти забытую песню. И сразу же, будто прыгая на ступеньки уходящего поезда и стараясь не отстать, вплелись в эти чарующие звуки голоса остальных.

Забы-ы-ла и забросила-а, в хоромы жить пошла-а-а!  
Живет у черта стар-ы-ва, во в клетке за-а-ла-той,  
Как клюковка, как куколка, с распущенной косой!

— Ну и как старинные песни? — вздохнув в полную грудь, спросила Тонька. А Егор тут же, не ожидая ответа, потому что наши лица излучали истинное удовольствие, неожиданно молодым и звонким голосом запел, прихлопывая ладонями по столу:

На печи сижу, заплатки плачу...  
заплатки плачу, приплачиваю,  
сама мужа журю, разжуриваю,  
продай, муж, корову с кобылушкой...

— подтянулась к его голосу Тонька.

И стало тесно песне, даже за этим широким столом. Выплеснулась она вместе со своим седовласым дуэтом на средину комнаты и пошла по кругу гулять. Уточкой луговой плыла Антонина-краса, смоляная коса, да притоптывал-прихлопывал за ней удалой Егор-молодец.

Продай, муж, корову с кобылушкой,  
купи душегрейку шалковенькую...  
Душегрейку одену и в церковь пойду,  
И в церковь пойду, у всех на виду...

Егор:

Впрягайся, жена, ты в хомут сама,  
ты в хомут сама, и — в лес по дрова...

Тонька:

Не то мене тошно, что воз я везу,  
А то мене тошно, что муж на возу...

— Да ты глянь-ка, глянь-ка, чи все помнишь? — повисла уставшая Тонька на локте у Егора.

— Всю не всю, а помню много. Вся-т она — ого-го какая, в час не вместишь!

— Потрясающе! — подвел свой короткий, но точный итог Валентин Семенович, кстати, знавший эту песню, но как он потом признался, побоявшийся нарушить эту великолепную идиллию.

А вошедшие во вкус, и, конечно же, заскучавшие по забытым песням «солисты» уже трепетно выводили строчки о гулявшей до утра возлюбленной паре, о разбитом девичьем сердце, о молоденькой обманутой Гале...

И было что-то в этих песнях, голосах этих необычное, полузабытое и теплое, возвращающее каждого из нас в свое прошлое, ушедшее безвозвратно, но до сих пор бесценно дорогое. Ох, как пели наши старики, как пели! До сих пор в ушах стоят ни с чем не сравнимые их голоса...

Осенний вечер уже закрашивал огромные окна дома своей спелой серостью, накладывая первый слой приходящей черной ночи. Вскудривал ветерком яблоневые ветви чичасовского сада, изредка постукивая ими по стеклу, как бы напоминая засидевшейся компании о позднем часе.

Но радушные хозяева все выставляли и выставляли на стол приготовленные закуски, упрашивая их откусать под стопку-другую. И до окна ли тут было, до того ли стука яблоневого?

А тут еще и тема разговора, подогретого спиртным градусом да сердцами растаившими, подкралась к самому что ни на есть пикантному закоулочку.

— Тоньк! А помнишь, — хитро улыбаясь и положив руку на ее плечо, спросил вдруг Исаев, — как я тебя целовал-миловал? А взять не взял...

— Ха-ха-ха! — раскатилась та громким смехом. — А ведь почему не взял? Пошел в высокую гору, а я была ништо!

— Дык эт я уж потом, а тогда... — засопровтивлялся Егор Александрович.

— Ну, а вот, скажите, — вмешалась Лидия Максимовна, — не жалеете, что разошлись пути-дороги ваши?

— Да-а, — протянула Тонька. И тут же, вполне серьезно добавила: — Я, наверное, пошла ба!



— Вы знаете, вот, ох, как бы мог... — начал было Егор.

Да только Тонька, прервав соседа, опять резанула:

— А я пошла ба!

— Да конечно, я ж тебе, елочки зеленые... — захохотал Исаев. — Я ж был просто Егорка...

— Девок сроду никогда не обижал, эт правда, — опять вмешалась Тонька. — Энти ребята-т то драться, то безобразничать, а этот никогда! Собирал нас всех на канаве...

— Вот, видишь, она все помнит, на канаве, ага... — теперь не выдержал Егор.

— Я все помню! Ага, простой был! Нынче-т годов тебе сколько? Под восемьдесят?

— Дык эт, милая моя, тебе-т сколько?

— Семьдесят пойде девятый!

— Эх, как раз в невесты... Мне-то через два года будет восемьдесят, душа моя! Так что ровесники мы с тобой, Тонюшка! Ну, а... что не взял тебя... Оно ведь как... Так уж вот вышло, сложилось так, и у тебя, и у меня... Чего теперь жалеть? Жизнь прожили. Половинку я свою, с которой делили радости да печали, детей растили, — похоронил...

— Дык и я тоже одна, проводила свово лет двадцать, уж почитай, назад, царство ему небесное...

— Да... Любили мы их с тобой? Конечно, любили и помнить будем, пока живем... И верить...

Исаев на минуту задумался, слился с затаившейся в комнате тишиной и начал читать:

Тебя уж нет давно, а я все верю в чудо,  
Что ты хоть раз один отпросишься оттуда,  
Придешь, как свет из тьмы, с лица откинешь полночь  
И вся себя сама живой волной наполнишь.  
Предстанешь предо мной, и на краю разлуки  
Я в радостных своих твои согрею руки...  
И лишь потом, когда ты снова станешь тенью,  
Земле тебя отдам, но не отдам забвенью.

Все молчали. И лишь спустя две-три минуты, отойдя от нахлынувших чувств, начали что-то говорить. И уже без прежней веселости, без того взрослого озорства, которое только что наполняло чичасовский дом. Что ж, грусть, она ведь, как и радость, неотделима от человека. Куда ж без нее?

Выпили, вспомняув добрым словом тех, кого забрала земля. И, поговорив о том о сем, начали собираться. Антонине Семеновне предстояло еще ехать в Нововоронеж, Егору Александровичу — в санаторий, где он отдыхал. Да и нам пора честь знать.

Уже на улице, поблагодарив хозяев за теплую встречу, фотографируемся на память.

— Чи увидимся еще, чи — нет? — спрашивает незнамо у кого Тонька.

— Бог даст, сойдемся! — отвечает за всех Исаев...

И поехали. В разные стороны, кто куда, увозя с собой картинки прошедшего дня, впечатления, мысли, образы...

...Так уж получилось, что не свиделись, не сошлись больше Егор со своей подругой молодости. Через какое-то время Антонины Семеновны не стало — одолели старость да болячки. О ее смерти я так и не сказал тогда Егору Александровичу — зачем было гасить светлые мечты человека о возможном свидании со своей молодостью?

Теперь, когда и сам он ушел в мир иной, может, ТАМ встретятся и наговорятся они всласть, теперь никуда уже не спеша?



*Наталья Милякова родилась в селе Аношкино Лискинского района Воронежской области. Окончила филологический факультет Воронежского государственного университета. Работала преподавателем русского языка и литературы в сельской школе. Публиковалась в региональной периодике, альманахах, коллективных сборниках. Живет в Санкт-Петербурге.*

**Наталья Милякова**

## **ЖЕНЩИНА, ИКОНА И СВЕЧА**

### **ЗИМНИЙ ВЕТЕР**

Стынет время от встречного ветра,  
Снег сдувая с сапог, словно пыль.  
И секунды его в долях метра  
Возвращают из прошлого в быль.

И от ласки его, как от смерти,  
Не уйти никому, никогда.  
На дорогах своих он, поверьте,  
Ходит рядом со всеми всегда.

Вот и здесь на безлюдной дороге,  
Далеко от родного крыльца,  
Где избитые в кровь мои ноги  
Тем страданьям не видят конца.

Зимний ветер меня растревожил,  
Разбудил в душе праведный звон,  
Где, у церкви крестившись, я ожил  
И с молитвой стоял у икон.

Оттого сгреб я душу в охапку,  
В поздний вечер под утренний свет  
И как кролик, попавший в удавку,  
Понял поздно того, чего нет.

И в ночи, в бездорожье шагая,  
Вспоминаю березовый вид.  
И в степи, на ветру замерзая,  
Засыпаю от прошлых обид.

Сердце часто с душой на распутье,  
С полной чашей судьбы на виду.  
И, уставший, на белую грудь я,  
В снег России своей упаду.

\* \* \*

Не за памятью пришла,  
Постучалася.  
Больно лютая зима  
Разгулялася.  
Возле печеньки твоей  
Греюсь, стужная.  
Всех девчонок веселей  
И ненужнее.  
От того, что у меня  
Очи синие.  
А как сяду да взгляну —  
Некрасивая.  
Бойко вымолвлю словцо —  
Не покаюсь.  
Бойко выйду на крыльцо,  
В пляс пускаюсь.  
Да хранит мое жильё,  
Как пророчество,  
Многоликое мое  
Одиночество.

\* \* \*

За горою небо плачет,  
Облака теплом помяты,  
В синий омут снова прячет  
Теплый ветер руки мяты.  
Далеко до звездной выси,  
Мост мечтаний? Больно шатко.  
Не подруга желтой рыси  
Звездопадная лошадка.  
Дребезжи в кустах сирени,  
Шумный ветер, пой и смейся.  
Под слова игривой трели  
Упади, звезда, согрейся!

\* \* \*

За окном не под снег снегири...  
Как завьюжило, как закружило.  
Некрасивые руки свои  
Я, как мертвые крылья, сложила.

Крепкий виски с зимою на дне  
Пахнет стужей, острогом и ложью.  
Больно, больно и лишь в глубине:  
«Что ж, любимый, на все воля божья».

\* \* \*

Все писала письма девушка,  
Мол, живи свободной, пей  
Сок березовый да небушко —  
Умер старый соловей.  
Умер в роще, за околицей,  
Где любил до зорьки петь.  
Похоронен богомолицей,  
Коей завтра умереть.  
Мол, наденешь платье рыжее,  
В косы ветер заплетешь.  
Подвенечная, бесстыжая  
В дом разбуженный войдешь.  
Но случайною бессонницей  
Возвращает мне земля  
Старый дом да за околицей  
Горький голос соловья!

\* \* \*

В седину берез упали тени,  
Знала я: вернешься навсегда.  
Отцвести ресницы не успели,  
Но успели отцвести года.  
Ты хранил молчанье гробовое,  
Путь души — снега и фонари,  
Как ты жил за той простой чертою  
Незабвенно-стонущей любви?  
Странник мой, судьбу тебе пророча,  
Круг дорог сомкнула в крест звезда,  
На земле, одетой в вечность ночи,  
Отдаляют голос поезда.  
Грешник мой, останови ладони.  
Дай в глаза забытые взглянуть,  
Захлебнуться в непонятном горе  
И в блаженной радости уснуть.  
Воскресать из прошлого так поздно,  
Я же вновь простила сгоряча.  
В тихом доме полночью беззвездной  
Женщина, икона и свеча...



**Вальтер Кисляков**

## **ЛИХОЛЕТЬЕ**

(Дневник из прифронтового города)

---

*Вальтер Сергеевич Кисляков — один из когорты знаменитых лискинцев. Родился в 1927 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений. Юрист-международник, доктор исторических наук, член Гильдии ветеранов журналистики «Медиа-Союза». Преподавал в МГУ, Международной Ленинской Школе, имеет научные труды, учебники, в том числе на иностранных языках. Автор многих журналистских публикаций и телерадио-передач. Ветеран Великой Отечественной войны.*

*Предлагаем читателям отрывок его дневниковых записей из книги мемуаров «Лискинское лихолетье» о периоде военной истории Лисок.*

...Заметки о том, какие испытания выпали на долю лискинского железнодорожного узла и его жителей, автор этих строк, иногда наспех, вносил в свой дневник, если узнавал или сам подсчитывал, то проставлял и число самолетов, и, что было сложнее, число сброшенных ими бомб. Из дневника: «Над нами все время летает истребитель». Учитывая стратегическую важность крупного ж.д. узла, снабжавшего добрую половину фронта, наши истребители, «ястребки», как их любовно называли, часто барражировали над лискинским небом вплоть до лета 1943 года. По городу и вокруг были расставлены порой до 50 зениток, до десятка прожекторов. Для сравнения — плотность зенитных орудий на один квадратный километр в Москве, по официальным, после войны, данным, составляла 50, в Лондоне — одно, в Лисках, при гипотетическом подсчете, — два — три. Рядом с нашим домом, примерно в двухстах метрах, на нижних путях, ведущих к пристани, стоял бронепоезд, тяжелые зенитные орудия которого при выстрелах повыбивали стекла близлежащих домов.

Живая память подкрепляется в соответствующих местах выдержками из дневника, своего рода отрывочной летописи происходящего. Фиксация рукой подростка отдельных событий и фактов тех огненных лет в дневнике ныне можно рассматривать и как своеобразный обвинительный документ фашизму, как неполный мартиролог разрушений нашего города, железнодорожного узла, ранений, смертей, вызванных двадцатимесячными, иногда с паузами, чаще — с непрерывными многочасовыми бомбардировками и шестимесячными артиллерийскими обстрелами врага.

И на этом смертоносном фоне тем величественнее встает массовый героизм лискинцев, прежде всего, железнодорожников, с честью решавших задачи, выдвигавшиеся прифронтовой и фронтовой обстановкой.



Вальтер Кисляков. 1944 год

Л.13,12.10.41: «10 октября утром, над хутором, где мы жили (Копанице) летала целая эскадрилья самолетов — пикирующих бомбардировщиков. Они стреляли из пулеметов по воинскому эшелону. Никого не убило. Фашисты сбросили бомбы на меловой завод в Копанице, но не попали. По самолетам открыли огонь зенитки, ни одного самолета не сбили. Двоих наводчиков у зениток ранило».

Л.14а, 13.10.41: «Вчера, часов в 12, прилетел вражеский бомбардировщик. Он стрелял из пулемета и сбросил 8 бомб в карьер. По нему открыли огонь зенитки, но он улетел. Бомбы попали в состав с боеприпасами. Снаряды стали взрываться. Над нами пролетали со свистом осколки. Снаряды рвались до вечера. Над местом пожара стоял густой черный дым».

Л.15а, 18.10.41: «Вчера над нами пролетел самолет, стрелял из пулемета. На бугре находятся три зенитки — их из нашего окна видно — но они молчали. Самолет бомбил Алексеевку и Откос. Было много раненых. Сегодня утром над нами пролетел самолет. По нему

открыли огонь зенитки и зенитные пулеметы, от стрельбы дрожат окна и двери. Зенитки в него не попали, но на месте разрыва долго стояли черные облачка. Днем — часа в 4 — снова прилетел, летел низко. Была облачность. По нему открыли огонь зенитки и пулеметы. Не сбросив бомб, он улетел. Это случилось у нас в первый раз. Два раза в день была тревога».

Л.16а, 22.10.41: «Вчера прилетел фашистский бомбардировщик. Полетел на Воронеж, пострелял из пулемета».

Л.16а, 30.10.41: «Вчера чуть-чуть не бомбил самолет мост, но ему помешали наши зенитки... Отдали Харьков. От нас фронт в 300 км».

Таковы беглые записи в дневнике о первых, в основном одиночных, налетах на Лиски осенью 1941 г. Как оказалось, это были лишь «цветочки», а «ягодки» — ядовитые, «ковровые» — по площадям, начались потом, после нашей эвакуации в Казахстан в ноябре 1941 г., и особенно, когда возвратились в Лиски в апреле 1942 г.

Л.22а, 13.12.41: Нам пишут в Кзыл-Орду: «10 ноября три самолета сбросили на Лиски 49 бомб. Разрушен клуб, фабрика-кухня, Дом Советов, депо, магазин и другие крупные здания. Много жертв. Не знаю, живы там наши или нет».

Л.23а, 01.01.42: Письмо из Лисок от 19 декабря 1941, сообщают: «Сильно бомбили».

Далее — дневниковые заметки по возвращении домой из Казахстана.

Л.28а, 26.04.42: «Приехали в Лиски 19 апреля и в тот же день сгрузились... Здесь, почти, ничего не изменилось. Разбило дом Колывановых и еще один рядом. У нас в спальне вылетело окно и треснула стена».

Л.29а, 19-30.05.42: «Фрицы» стали навеваться к нам чаще. Раньше, как мы приехали, они почти не летали, а потом стали летать, чаще днем и изредка ночью. Но вчера, в ночь с 28 на 29 мая, дали воздушную тревогу. Было очень пасмурно — небо было целиком закрыто тучами. Прилетели 9 самолетов и начали, как хищники, кружить над Лисками. Проекторы бегают по небу и ловят вражеский самолет, а он за тучами и никак не достанешь. Тогда зенитки открыли заградительный огонь. Как ударят зенитки тяжелые, так земля

*дрожит и со свистом они летят и там разрываются. В ту ночь он бросил бомбы в Залужном в трактористов, у которых горел костер — убило 2 человека. В Костянке между двумя озерами бросил 6 бомб. Он, видно, подумал, что это мост. Бросил 2 в Богатое. Бросал около Битюга».*

*Л.30: «Тревога продолжалась подряд около 4 часов. И все время они летали, бросали бомбы и свистели осколки от зенитных снарядов. Я все время был в окопе. Бомба, когда летит, то свистит, и в это время надо ложиться, а то попадет осколок. Вчера тревогу дали с 9 часов вечера, когда было еще светло. На этот раз небо было лунное с облаками и чистое, т.е. вперемежку... было 3 самолета. Как только появлялся над Лисками какой-нибудь самолет «фрица», так его сразу нащупывали прожектора и по самолету открывали ураганный огонь. 3 раза ловили его прожектора. Бомбы сбросить не удалось. Тревога длилась свыше 2 часов».*

Здесь необходимо пояснить, ЧТО означали встречающиеся в дневнике слова «тревога» и «отбой» и КАК это выражалось. Для жителей Лисок, для бойцов ПВО и для обеспечивающих бесперебойную работу узла железнодорожников, первостепенное значение имело их своевременное оповещение о приближении очередной волны стервятников. Как информировали военнослужащих — не знаю, но видел, как на слух улавливали звук моторов путем установленных над землей, соединенных между собой, четырех металлических огромных «ушей». А об информации гражданского населения изложу здесь, чему был свидетель. Радиоприемники, ставшие в послевоенные годы составной деталью обстановки советских квартир, были редкой роскошью в скромное довоенное время. Невиданным, радостным для всех событием, стало для всех тружеников советской страны, когда с середины тридцатых годов «загудели, заиграли провода — мы такого не слышали никогда». В населенных пунктах, в том числе и в Лисках, появились радиоточки. Из радиоцентра, находившемся тогда в Доме железнодорожников (в обиходе — в клубе), вещание велось по проводам, посредством устанавливавшихся в жилых и служебных помещениях громкоговорителей, называвшихся в простонародье «тарелками».

С началом войны всем, имеющим радиоприемники, было приказано немедленно сдать их на хранение в соответствующее госучреждение. Для жителей страны оставался только один единственный источник немедленной информации, говоря словами Ленина, «газета без времени и расстояний» — радио. Первыми о воздушной опасности сообщали «тарелки», вместе с ними сигналы о налете давали паровозы. Но с участвовавшими бомбардировками, разрушением множества жилых домов и общественных зданий, особенно после прекращения, прерванного бомбежками, радиовещания, задачу оповещения о налетах и об их прекращении осуществляли лишь локомотивные бригады путем соответствующих сигналов паровозов, число которых с начала войны удвоилось до 400. Сигналом «Воздушная тревога!» были короткие, резкие, как лай собаки, гудки — «Ту-ту-ту-ту». Многократно усиленный паровозный «лай» уже сам по себе леденит душу слышавших его, предупреждая — немедленно прячьтесь. Зловещий, с подвыванием, нарастающий гул налетчиков тисками сжимал сердце.

Зато те же локомотивы умиротворенно, как мать у колыбели ребенка, гудели спокойно, приглушенно, сообщая протяжными, приглушенными гудками о минувшей опасности, объявляя отбой: «Ту-у-у-у», «Ту-у-у-у-у-у». Оглушенные, оцепеневшие от кошмаров пережитого, полусознанно понимая и радуясь, что остались живы в этом аду и даже не ранены, старики, дети, женщины осторожно выходили из укрытий, окопов, подвалов, с ужасом обходя новые руины, еще пылающие дома, стонущих раненых и, что самое страшное, взирали на растерзанные, искромсанные, в кровавых лужах тела.

*Л.30а, 24.06.42: «В начале июня «гости» прилетали каждую ночь и бросали*

*бомбы, тревоги продолжались по несколько часов, а иногда всю ночь подряд. Сейчас ночью бросили 2 бомбы на бугре. Немец опять перешел в наступление. Уже слышен орудейный гул у Валуек. Вокруг Лисок строят окопы».*

Однажды, сразу же после прекращения налета, я осмелился выйти из укрытия с решимостью спасти цистерны с выливающейся горячей и освещающей ночную мглу нефтью, помогать оттаскивать вагоны, где щелкали, лопавшиеся от огня, упакованные в деревянные ящики, патроны. Увиденное было сильнее воображения: железнодорожники вручную растаскивали, еще не тронутые разрывами бомб, вагоны и цистерны, словно не замечая горевшую под ногами нефть и шпалы. Получив приказ не вмешиваться в недетское дело, тем более что снова стал нарастать завывающий, режущий уши звук новой волны воздушных убийц, вынужден был покинуть поле боя.

А герои, иначе их не назовешь, продолжали свое смертельно опасное дело. Паровозники, путейцы, все труженики стальных магистралей, ставшие в одночасье, как воины на передовой, трудились, не щадя себя, не менее самоотверженно, чем их товарищи на фронте. Все четко осознавали, что при любых условиях требуется обеспечить фронт всем необходимым, что без немедленного восстановления разрушаемых постоянными бомбардировками, путей и ж.д. узлов передовая лишится важнейшей кровеносной артерии, доставлявшей фронту все необходимое. А для железнодорожников и узел, и все лискинские магистрали были фронтом. Да и на деле, они сами мало чем отличались от солдат-фронтовиков: едва оседали султаны взрывов, а то и во время продолжительных налетов, они без громких слов делали свое дело, забыв о сне и отдыхе, ежедневно и еженощно. Да простится мне этот неологизм, но он более точно выражает их действия, наибольшая тяжесть и опасность которых приходилась на ночное время. Работали споро, чудовищно напрягая силы, понимая друг друга с полуслова, следуя развешанному повсюду, призыву: **«Приказ начальника — закон для подчиненного. Он должен быть выполнен безоговорочно, точно и в срок».** Но каждый помнил и носил в своем сердце самый главный и категоричный приказ-призыв: **«Все для фронта, все для победы!».** Военный секрет такого массового, ставшего будничным, героизма заключался в верности своему долгу, в преданности Отчизне, в четком понимании того, что вся страна участвует в грандиозном сражении **«не ради славы — ради жизни на земле».** Они действительно заслужили звание солдат-гвардейцев, своим героизмом доказав на деле, что в каждом из них живет дух Павки Корчагина. Не все дожили до светлого дня Победы, но каждый внес в нее свой посильный вклад.

И все же на этом фоне каждодневного труда, изнуряющего, на пределе сил, опаснейшего, сравнимого только с ратным героизмом, следует выделить постоянную, смертельную опасность работы паровозников и путейцев. Последние, как и саперы на переправах, обязаны были немедленно, не взирая на огонь и бомбы, восстановить движение транспорта. Не меньшей опасности подвергались и паровозники, которым с полным правом можно присвоить имя гвардейцев-железнодорожников. К счастью и поныне жив мой товарищ по детским уличным играм Владимир Реутов, добравшийся в составе фронта со своим паровозом до Восточной Германии и, с осипшим после ранения в горло голосом, вернулся домой.

На паровозников в первую очередь обрушивались удары фашистов — обстрел из пулеметов паровозов и вагонов, бомбардировки составов. И если находившиеся на земле могли укрыться в кустах, канавах, среди строений, за колесами вагонов и пр., то открытые всем ветрам паровозные кабины не могли защитить даже от пуль. Если автомашины могли свернуть с дороги в лес, под навес, то ж.д. рельсы были добавочным ориентиром для фашистских стервятников, многие из которых специализировались на «охоте» по паровозам. В лучшем случае машинист мог маневрировать изменением скорости и направлением движения, а если повезет, — укрыться в лощине или складках местности.



Л.14а, 13.10.41: *«Во время бомбардировки Лисок папа находился в Откосе. Бомбардировщик открыл огонь из пулемета по поезду. Жертв там нет. Он пришел сегодня утром с дежурства. Дежурил более суток».*

Весной 1942 года отец взял меня с собой в поездку, и я стал невольным свидетелем, как он маневрировал, когда, подъезжая из Икорца к паровозному депо, обнаружил в небе «Юнкерсы». Немедленно остановился, оценил обстановку и, подав назад, укрыл состав около выемки с растущими по бокам деревьями. Таков был максимум, что мог сделать машинист в случае опасности.

С осени 1941 года наши поезда стали «огрызаться», появились спаренные по 4 пулемета «Максим», устанавливавшиеся на специальные вагоны, обычно прикреплявшиеся к хвосту поезда, которые положили конец безнаказанным обстрелам и бомбежкам наших составов «храбрецами», малевавшими на фюзеляжах «Мессершмитов» силуэты искалеченных ими паровозов.

С повторным захватом Харькова и приближением фронта к Лискам, фашисты перешли от налетов небольшими группами к массированным бомбардировкам.

Л.30, 26.06.42: *«Вчерашнюю ночь дали тревогу в 10 ч. 15 мин. вечера. Все время раздавался свист бомб и следующие за ними разрывы, щелканье винтовок, татаканье пулеметов и звук трассирующих пуль, свист снарядов и разрывы их в воздухе. Было жутко при мысли, что прямо на тебя летят бомбы. Бросали их подряд по 20-30 шт... При новом налете стал считать — один, два, три... десять взрывов, которые все приближались. При счете 16 раздался страшный грохот, и посыпалась земля... В ту ночь он бросил 400 бомб».*

Когда дали отбой, ошалевший от пережитого, пошел посмотреть, что же в эту ночь натворили «арийцы», решившие установить на Планете «новый порядок». Вот он «порядок»: множество раненых, искромсанные человеческие останки, щепки брусьев, битый кирпич, стекло, сорванные крыши домов, вспоротая взрывами земля, иссеченные деревья. Это же моя малая родина, колыбель моего детства.

В центре города зияли зловещей чернотой глубокие воронки от ушедших в грунт бомб замедленного действия. Невольно охватывал холодок при взгляде на эти темные пасти с затаившейся смертью, но не с мифической косой, а с реальным, адским механизмом, готовым выпустить свое ядовитое жало в любую секунду. Извергам в человеческом обличье было мало устрашения населения свистом падающих бомб: какофония невообразимого грохота усиливалась воем иногда сбрасываемых пустых продырявленных железных бочек. Змеям-Горынычам было мало прямых разрушений от взрывающихся десятками «гостинцев». В довершение к ним бросались «сюрпризы» с часовым механизмом и временной дистанцией от нескольких минут до многих часов.

Примерно за неделю до оккупации фашистами правобережья Дона, в результате массированных бомбардировок Лисок, ощутимая часть нашей противовоздушной обороны была выведена из строя, чем немедленно воспользовались налетчики: они начали свои «убойные концерты», уже не дожидаясь темноты. В конце июня, находясь на улице, услышал громopodobный, с подвыванием, гул моторов. Из-за гор на малой высоте, с парадной геометрической четкостью выныривали десятки «Юнкерсов-88». Решил посчитать, сколько же их, с паузью свастики. При счете 60 или 70, заслышав характерное нарастание свиста падающей на тебя бомбы, плюхнулся в окоп. Задрожала земля, дома. Всем существом, телом и разумом ощущаешь надвигающуюся на тебя смерть; считаешь число по звуку, усиливающемуся с приближением к твоему укрытию, и грохоту бомб (пронесет — не пронесет), будет или не будет прямого попадания — ведь три ряда окопных шпал над головой — это спасение от осколков, а не от все пробивающих 100-500-килограммовых чушек.

Огненно-черные всполохи испепеляющих взрывов, свист тысяч осколков от них, характерные при детонации бомбы гарь и дым, забивающие рот и нос, уши, глаза и легкие вместе с оседающими пылью, песком и черноземом. Не приведи судьба пережить нашим потомкам такое адское единение неба и земли. Для сегодняшних тех, кто сознательно не желает отягощать себя памятью, приведу давнюю мудрость: «Не помнящий прошлого, будет вынужден пережить его заново».

Л.31, 26.06.42: «Вчера прилетело 19 самолетов. Мы, сломя голову, — в окоп; и они начали своей налет. Загорелась 9-я школа, загорелось около депо, около пристани... И это продолжалось всю ночь. К утру все стихло. На заре я ходил в город и замер от ужаса. Все кварталы, от бани до кухни-фабрики, были разрушены... Вчерашний день мы приготовились заранее к бомбежке. Многие ушли на Песковатку».

Л.31, 26.06.42: «...Дали тревогу в 9 часов вечера. Мы не успели одеться, как начали стрелять, я выбежал и глянул вверх: над нами летело 9 «Юнкерсов», я кинулся в окоп, сию же секунду раздался свист и загрохотали разрывы. Бомбы упали в 150 метрах севернее нашего дома. От одной бомбы осколками убило дядю Мишу Юрьева. Кроме того, много убитых и раненых. После их не было часа полтора. Они снова прилетели и стали бросать бомбы. То там, то здесь раздавались сотрясающие землю разрывы. При новом налете самолетов и разрывов бомб, я начал их считать — один, два, три... десять, взрывы все приближались, при счете шестнадцать раздался страшный грохот и посыпалась земля. На этом бомбы перестали падать. Мы выбежали и ужаснулись: в 15 шагах от нашего дома, как раз посреди улицы, 100-килограммовая осколочная бомба. Вся задняя сторона дома пробита осколками. Все окна повывлетали. Дом цел. Жертв нет. Сегодня положили в погреб все имущество».

Л.31а, 27.06.42: «Сегодня опять всю ночь бомбил. Зажег нефтебазу, горела всю ночь. Все время раздавался свист бомб. От взрыва бомбы привалило землей в яру Кольку Скрипала и дядю Мишу Сластенко. Я больше ни одной ночи здесь не останусь, куда-нибудь уйду. Лискам предложили эвакуацию за Таловую».

Л.31а, 28.06.42: «Сегодня опять бомбил всю ночь. Мы в 3 часа закинули за плечи рюкзаки и тронулись в Покровку, до которой 7 км. А рано утром пришли назад».

Л.31а: «С вечера на Лиски налетело 4 самолета, двое полетели в сторону, а два — в Лиски. Их встретил дружный огонь наших зениток. Сбросив 6 бомб на западной окраине города, они повернули назад. В это время на них налетели 2 ястребка, ястребки оказались ниже «Юнкерсов» и пролетели у них под шасси. В стороне они развернулись, начали догонять их и оба самолета застрочили, в это время встретили 2 других «Юнкерса». На этот раз наши были выше. От одного «Юнкерса» посыпались искры. Наверное, попали, но этому зрелищу помешали тучи. Самолеты скрылись в них. Напротив нашего дома упали 2 зажигательные бомбы. В общем, он сразу сыпанул их 100 шт. В нашем доме нет ни одного стекла, все вылетели: гуляй-ветер».

Л.31а, 30.06.42: «Сегодня ночью на Лиски налетело под сотню самолетов. Все депо и пути разбиты, и много домов».

Л.31а, 03.07.42: «Вчерашнюю и сегодняшнюю ночь бомбил сильно. Около нас упало еще две бомбы. Наши дома целы. Большинство бомб упало в поле».

Л.31, 05.07.42: «Немец подходит к Лискам. Мы остаемся здесь, никуда не уезжаем. Немец занял Коротояк. Мы спасаемся в Песковатке. сегодня пошел туда».

Л.31, 10.07.42: «Наши взорвали мосты через Дон, подожгли элеваторы, все склады и проч.».

Еще не придя в себя от изматывающих душу и тело бесконечных бомбардировок конца июня-начала июля 1942 года (а для меня те июньские ночи стали самыми длинными в жизни), лискинцы столкнулись с не менее зловещей опасностью — оказались в эпицентре двух противоборствующих сил: наступавшей опьяненной временными успехами гитлеровской армады и стоявшими насмерть на донском рубеже частями Красной Армии. Оказавшиеся как между молотом и наковальней, мы, прячась от искавшей нас смерти в песковатской церкви, стали невольными свидетелями прежде немыслимого для нас. 6 июля, примерно в полдень, фашисты на мотоциклах и автомашинах стали спускаться с пологих гор села Залужного и, более крутых, — села Лисок. Наша артиллерия прицельным огнем пыталась не допустить их продвижения к реке.

Орудийная стрельба и пулеметные очереди не смогли заглушить сильнейшего взрыва, прогремевшего на западе. После огромного столба огня и дыма рухнула в воду правобережная часть нашей гордости — красавца-моста через Дон. Последний из серии взрывов прогремел на левом берегу — могучей реки. Не забыть никогда чувства боли, горечи и бессилия при виде варварского уничтожения своими же руками возведенного в 1936 г. уникального по тем временам моста, в который было вложено столько сил и средств.

С приближением фронта к Дону возрастала интенсивность бомбардировок ж.д. узла, объемы разрушений и число жертв в городе. Вот одна из записей:

Л.33а, 21.08.42: *«Пути разобрали все. Шпалы остались».*

За этими скупыми строками — вершина, апофеоз героических свершений лискинских чудо-богатырей! Каждому не трудно представить, сколько усилий и времени требуется для замены рельс даже в обычных условиях. А теперь мысленно перенеситесь в обстановку, точнее, в крошечный ад фронтовых Лисок знойного лета 1942 года вкупе с испепеляющим, всеохватывающим пожаром войны.

Сегодняшний читатель может подумать, а не сгущены ли здесь краски, не мифы ли, что люди, а не роботы под «музыку» «бомбовых ковров» (Bombenteppiche, как гитлеровские «лингвисты» именовали нанесение ударов по площадям), усиленные взрывами «подарков» замедленного действия, словно не замечая смертельной опасности, демонтировали станки в депо, на других важных объектах узла, грузили и вывозили их на восток. А не легенда ли, что на дистанции полета мины с донских гор ночами вывезли с главного вагонного парка около станции не только вагоны, но и рельсы, абсолютно *ВСЕ* рельсы.

Трудно даже вообразить титанические усилия тех, кто вывинчивал гайки, скреплявшие стыки рельс, вытаскивал железные костыли, приковывающие их к шпалам, собирал все это, грузил многометровые, весившие несколько тонн рельсы на специальные платформы и немедленно вывозил с пристрелянной немцами территории. К тому же представьте абсолютную темноту короткой летней ночи. Для полноты воображения следует упомянуть, что эта тьма усиливалась после всполохов при разрывах снарядов, мин, световых бомб. Не знаю, сколько километров стального полотна было вывезено. Трудно поверить, что в таких условиях были демонтированы и вывезены наверняка многие километры пристанционных путей.

И все же это было, было! Я и сам «прогуливался» летом 1942 года по весьма необычной, бывшей вагонным парком, «площади», опаленной огнем, вспоротой разнокалиберными бесчисленными воронками, где не было уже ни вагонов, ни рельс. Невольно задумываешься, да были ли живыми людьми, а не роботами те, кто сделал невозможное возможным буквально под самым носом врага? И чем измерять пролитую ими кровь, равно как и общее число жертв? Наши отцы и деды проявляли столько силы воли и мужества, что впоследствии им не верилось и самим! Потому и надо нам чтить этот подвиг как вершину духа и свершений лискинцев в истории не только нашей малой родины, но и Отечества.



**Михаил Маковеев**

## **ВЫСОТА 177**

(Полководцы Жуков и Василевский  
на переднем крае под Николаевкой)

**З** а плечами у полковника Лебедева были две войны и полтора года третьей. А в скольких боях ему довелось участвовать, он к тому времени и со счета сбился. Но одно помнил совершенно точно: каждому бою предшествовала разведка.

И вдруг непривычное: категорический запрет на все активные формы разведки, и когда! Перед началом наступления фронта. Но приказ есть приказ. А он разрешал вести лишь наблюдение за противником, при строжайшем соблюдении мер маскировки.

К исходу 1942 года в верховье Дона обе воюющие стороны простояли друг перед другом в относительном спокойствии месяцев пять-шесть, ожидая решительного перелома в битве под Сталинградом. Так что здесь, в полосе Воронежского фронта, было достаточно времени, чтобы изучить противника, как говорится, вдоль и поперек. И только что влившиеся в этот фронт свежие войсковые части могли воспользоваться уже имеющимися данными, уточнив их собственными наблюдениями.

Конечно, и временный запрет на активные виды разведки таил в себе определенный риск. Но зато выигрыш, который он сулил, был несравненно большим. Решающие бои на Волге и высокая активность наших войск здесь, на верхнем Дону, могли усыпить и, как подтвердилось потом, действительно усыпили бдительность командования гитлеровской группировки «Б» в самый роковой для нее момент — в канун нашего наступления на Острогожско-Россошанском направлении.

Было это ночью под Новый 1943 год. К холодному мерцанию луны едва примешивались теплые краски рассвета. Но, рождая тень, они делали траншею как бы еще темней и глубже. И, очевидно, поэтому Лебедев, пройдя по ней километра полтора, не сразу отыскал нужный ему ход сообщения со второй траншеей. А когда он повернул обратно, позади что-то звякнуло. Он обернулся и увидел поднимавшегося на ноги невысокого и уже далеко не молодого солдата.

Что-то ворча про себя, солдат начал не спеша пристегивать к ремню поднятую со дна траншеи шанцевую лопату, отряхивать свою поношенную шинель. Приведа себя в порядок, солдат взял в руки винтовку, которую, оказывается, он и при падении успел аккуратно поставить к стенке траншеи. «Молодец, умеет беречь оружие», — подумал полковник. А в глаза ему блеснул острый лучик. «Да у него же винтовка с оптическим прицелом... Значит, снайпер!.. И в траншею он сва-

лился с внешнего бруствера, со стороны противника... Как же я сразу не обратил на это внимания? Значит, он возвращается со своей позиции. Нельзя ли мне воспользоваться ею?»

Все это промелькнуло в голове командира 96-й танковой бригады полковника Лебедева мгновенно и решительно изменило его дальнейший путь. Он взобрался на бруствер в том месте, где только что стоял снайпер. При свете луны тайная тропа снайпера (стертый почти до самой земли и отполированный до стеклянного блеска снег) была видна хорошо. Она вела к какому-то непонятному сооружению, возвышавшемуся справа на скате высоты 177, примерно в ста метрах от нашего переднего края.

Строение это и при ближайшем рассмотрении оказалось очень любопытным. Его соорудила разорвавшаяся тут мина. Над своей неглубокой воронкой она поставила замысловатое подобие шатра из находившихся здесь бревен, досок. И даже для устойчивости обложила их комьями мерзлой земли. Вторая примечательность этого сооружения заключалась в том, что из него отлично просматривался вражеский стан на многие километры вглубь и вширь.

Оставалось неясным только то, почему не немцы, до которых отсюда было рукой подать, всего каких-нибудь пятьдесят метров, а наш солдат пользовался прикрытием такого укрытия?

Очевидно, снайпер наш не только безошибочно стрелял, но и умело маскировал выстрелы какими-то другими, «забывшими» их вспышками и звуками. Иначе трудно объяснить, как это удалось ему уберечь от подозрений гитлеровцев такую огневую позицию, которая вроде бы должна была быть у них бельмом на глазу.

И вот теперь она сделалась превосходным наблюдательным пунктом. Виктор Григорьевич Лебедев увидел отсюда многое. В первую очередь ему бросилась в глаза будничность поведения гитлеровцев в такой праздник, как новогодняя ночь. Предчувствие краха под Сталинградом уже начинало сказываться на настроении врага. Тоскливо встречали они Новый год и здесь, в верховье Дона. Шел всего пятый час утра, а фашисты уже были заняты работами на артиллерийских позициях, что находились позади их переднего края, над оврагом. Стояли орудия на прямой наводке, ближе к нам, между первой и второй траншеями. Особенно хорошо обозначали себя в эту утреннюю пору блиндажи и дзоты. При безветренном морозце над ними вздымались синие печные дымки. Обратил внимание Лебедев и на два различных участка большого поля подсолнуха. На одной его половине почти все стебли были срублены на топливо, а на другой — не тронут ни один стебель. «Почему? — задумался Лебедев. — Наверное, ходить туда опасно. Заминировано», — решил он и, развернув карту, сделал на ней пометки. Заодно уточнил и свое местонахождение. Да, несомненно, он был на восточном скате высоты 177, рядом с отметкой +1,3.

На следующий день с той же осторожностью и в тот же тихий предутренний час Лебедев привел к отметке +1,3 всех командиров батальонов. А утром пятого января полковник Лебедев и начальник политотдела бригады подполковник Захаренко в приподнятом настроении выехали по вызову в штаб фронта.

Прибыв в поселок Анна, они узнали, что докладывать о готовности бригады к боевым действиям надо не только командующему фронтом, но и представителям Ставки — заместителю Верховного Главнокомандующего генералу армии Г. Жукову и генерал-полковнику А. Василевскому. Жуков сидел у стола посреди просторной комнаты. Вокруг стола — генералы и офицеры.

Все, кто находился в этой комнате, знали, что Жуков не любит многословия, поэтому в своих докладах старались быть предельно собранными.

Полковник Лебедев впервые видел обоих военачальников и с волнением ждал своей очереди для доклада. Первыми докладывали командиры общевойсковых соединений. Слушая их, генерал армии раза два требовал: «Говорите определенной,

что перед вами — передний край противника или его боевое охранение?» Но в ответах некоторых командиров чувствовалась неуверенность.

Лебедев докладывал последним. Учтя интерес генерала армии к характеру сил противника, расположенных непосредственно за нейтральной полосой, командир 96-й танковой бригады, между прочим, сказал:

— Мои личные наблюдения с высоты 177 дают основание утверждать, что на участке Щучьего у противника насыщенная артиллерией оборона с противопехотным минным полем перед колхозом «Восьмое марта».

Этими словами Лебедев закончил доклад и ждал команды «Садитесь!» Но Жуков, в упор глядя ему в глаза, резко повернулся всем корпусом к столу, взял с него карту, посмотрел на нее и, заняв на стуле прежнее положение, снова взглянул на полковника. Прозвучали слова:

— Так ли, полковник? По данным штаба фронта, высота 177 находится в расположении противника. Как вы могли там быть?! Завтра утром нас поведете туда. В четыре тридцать быть на северной окраине Николаевки. Все!

С тем и разъехались командиры соединений из штаба фронта. Вернулся Лебедев в бригаду уже в другом настроении, чем уезжал из нее. Тревожно было на душе. Не потому, что боялся за какие-то перемены на переднем крае противника. Нет, за два-три дня там ничего существенного произойти не могло. Комбрига беспокоило чувство вдруг свалившейся на него огромной ответственности.

Очень занимала Виктора Григорьевича и другая мысль: «Неужели для Жукова и Василевского бывает оправданным любой риск, чтобы после ста выслушанных докладов о противнике взглянуть на него еще один раз, но уже собственными глазами?..»

Разумеется, полковник догадывался, как далеко увидят эти глаза и за один только раз. Но риск...

На северную окраину Николаевки Лебедев приехал затемно вместе с начальником штаба бригады подполковником Зыряновым и двумя санитарами, которым приказал держаться пока в стороне от генеральских глаз. Вскоре сюда прибыли Жуков и Василевский. Лебедев поспешил к ним с докладом.

— Ну, пошли, — проговорил Жуков, указав Лебедеву рукой, чтобы тот шел впереди.

Еще не рассвело. Ночная тьма была жиденько разбавлена боковым лунным светом, сочившимся через тонкий слой волокнистых, как лен, облаков. На этом участке в этот предугрошенный час война не обнаруживала себя ни одним световым сигналом, даже редкие одиночные выстрелы казались случайными.

Так вчетвером они вышли у Переезжего к Дону, пересекли его по скрытому под водой мосту. Затем миновали пахнущие печным дымком блиндажи штаба 219-й дивизии; дальше начались полковые землянки, а за ними они спустились в траншею.

— Вот здесь, товарищ генерал, я выбирался из траншеи и полз к высоте, — доложил Лебедев, остановившись на том месте, где неделю назад он повстречался со снайпером. «И дай бог, чтобы эта встреча была к добру», — успел подумать Виктор Григорьевич, прежде чем распорядился Жуков:

— Лебедев, ползите первым. Я за вами. За мной Василевский. Замыкает начальник штаба бригады.

Лебедев вылез на бруствер траншеи. Дождавшись, когда то же самое сделал Жуков, пополз вперед. Здесь он ни разу не оглянулся назад, поскольку все время чувствовал за собой людей, от которых так много зависело на этом фронте. Стометровая тропка к чудо-шатру, сооруженному взрывной волной, на этот раз показалась еще длиннее, чем в новогоднюю ночь.

А когда он, наконец, вполз в воронку, то почувствовал угрожающую близость противника. Сперва именно только почувствовал, так как увиденное им что-то

подозрительное не сразу было осознано. Просто в расположении врага кто-то вроде всполошился. И пока Лебедев соображал, что же происходит в действительности, Жуков оказался впереди него. Для обзора противника в их укрытии имелись многочисленные щели различных форм. Жуков и Василевский выбрали самые широкие и спокойно переводили взгляд слева направо. Потом Жуков, высвобождая из-под себя планшет с картой, словно бы между прочим сказал:

— Нас обнаружили.

А когда он положил планшет перед собой, послышался посвист мины. Взрыв! Другой! Третий! К счастью, с перелетом. «Но нам-то туда же сейчас...», — подумал Лебедев. А Жуков резким движением передернул на своем плече ремешок планшета, еще раз посмотрел в сторону противника и сказал:

— Обрато ползти некогда. Побежим в том же порядке. Лебедев, вперед!

Комбриг выскочил наружу и побежал. Начиало рассветать, и разрывы мин там и тут ложились на снег черными пятнами. Хлопки мин были не частыми, но в их промежутках слышался и сухой треск автоматов. Вдруг Лебедев, будто натолкнувшись на невидимую стену, остановился. Позади кто-то вскрикнул. Он оглянулся и увидел в неестественной для бега позе своего начальника штаба. Он с трудом переставлял ноги.

— Подобрать раненого! — приказал Жуков.

Но, прежде чем успел бы это сделать комбриг, к Зырянову уже бежали с нашей стороны два санитары.

— Санитары, товарищ генерал, стояли здесь наготове.

Жуков дождался Василевского. И когда они оба оказались в траншее, генералы направились к ближайшему ходу сообщения уже вдвоем.

Полководцы на войне... Когда мы произносим эти слова, перед мысленным взором возникают две картины, так хорошо знакомые нам по фильмам, батальной живописи и литературе. На первой из них расстилается по столу широкая, словно скатерть, оперативная карта. И над ней — склонившийся в глубокой задумчивости генерал или маршал.

Вторая картина — тот же полководец перед стереотрубой или с биноклем в руках на наблюдательном пункте. Такая обязательность продиктована самой жизнью, характером деятельности больших военачальников во фронтовой обстановке.

Однако бывали случаи, когда полководцы самого высокого ранга оказывались на таких позициях, которые им вроде бы совершенно противопоказаны. И только при ближайшем рассмотрении этих «исключительных» случаев становится ясно, что они тоже были обусловлены жизнью: или конкретным ходом боевых действий, или характером самих полководцев.

Но, как и все, что причислено к нетипичному, неожиданные появления крупных военачальников на самых опасных участках фронта нередко бывают обойденными и пером историка, и кистью живописца.

Отчасти это обстоятельство и побудило нас рассказать о посещении двумя военачальниками высоты 177. Тем более что оно, это посещение, сыграло очень важную роль в успехе Острогожско-Россошанской операции. Она началась 12 января 1943 года и застала противника врасплох. Удар с плацдарма у Щучьего сразу прорубил вражескую оборону на шесть километров по фронту и на три-четыре километра в глубину. Затем без всякой паузы наши танкисты начали «свертывать» передний край противника вдоль Дона, и к 20 января 96-я танковая бригада вышла к селу Татарино. Здесь, в разгар выполнения боевой наступательной операции, из правительственного сообщения по радио полковник Лебедев узнал, что ему присвоено звание генерал-майора танковых войск...

*Газета «Красная звезда» от 30 ноября 1971 года*



Татьяна Тимкова

## БАЛЛАДА О ЗЕНИТЧИЦЕ

Документальный рассказ

*Раскатывалось эхо над полями,  
бой медленную кровью истекал...  
Зенитчицы кричали и стреляли,  
размазывая слезы по щекам!*

Р.И. Рождественский

**С**ессия была сдана, впереди — каникулы! Вера и Игорь долго гуляли по уютным летним воронежским улочкам. Не хотелось расставаться: до первого сентября еще больше двух месяцев! «Давай обменяемся фотографиями», — предложил Игорь и протянул Вере свое фото. На обороте было написано: «Любимой подруге Верочке от Игоря Колыханина». И стояла дата: «21 июня 1941 года». Завтра была война.

До войны Вера жила в большой и дружной семье коренных щучан Каплиных. Отец Андрей Иванович был столяром, мать Варвара Федоровна вела домашнее хозяйство, воспитывала детей. Старшие братья Веры уже работали: Сергей — ветеринар, Матвей — слесарь механосборочных работ на Воронежском авиационном заводе, Василий уехал далеко от родных мест, он строил Комсомольск-на-Амуре. Старшая сестра Анна работала связисткой, младший брат Николай учился в школе, а сама Вера уже была студенткой, получала профессию фельдшера на курсах при Воронежской областной больнице и мечтала в будущем стать врачом.

В первые месяцы войны призвали в армию всех преподавателей и студентов пятого курса. Младшекурсников собрали и отправили рыть траншеи, строить оборонительные сооружения вокруг Воронежа. Окопали весь город и пригороды, дошли до самых Семилук. Отпустили домой за три дня до взятия Воронежа. На поезд, следующий в Лиски, несколько раз налетала вражеская авиация. Особенно продолжительным был налет на станции Масловка. Добирались до Лисок долго. До Щучьего надо было плыть на пароходе. На пристани к кассам стояла огромная очередь. Капитан парохода торопил пассажиров: надо срочно отплывать, пока не началась бомбежка. Пристань бомбили часто.

В Щучьем готовились к эвакуации.

9 июля 1942 года на подступах к селу началась стрельба, завязался бой, щучане попрятались в погреб. Сражение было страшное. Уже после войны пасли овец в полях среди костей и черепов.

13 июля, часов в пять вечера, Вера впервые увидела немцев, они ехали по ули-



це на мотоциклах, рукава гимнастеров у них были закатаны выше локтя, а на животах висели автоматы.

Оккупанты выгнали всех из села в яр, отобрали мужчин и подростков, взяли в плен, погнали колонной, сказали, что в Курске посадят на поезд и отправят в Германию работать на рейх. Так попали в плен отец Веры, 1886 года рождения, и четырнадцатилетний брат. Улучив удобный момент, отец приказал сыну бежать, а через некоторое время сбежал и сам.

Вера с матерью, бабушкой, тетей и сестрами оставалась в оккупированном фашистами селе. Жили в погребе, как и соседи, их дома занимали сначала немцы, а потом сменившие их «мадьяры» — венгры, румыны, итальянцы, финны. Соседка баба Маня выхаживала раненого в голову и ноги красноармейца, не раз просила Веру как медработника осмотреть и перебинтовать ему раны.

9 августа наши выбили фашистов из села и организовали эвакуацию жителей — сначала в Пчелиновку. Там жили до 7 ноября 1942 года. Их посылали на окопы, они рыли траншеи вдоль Дона, натягивали проволоку, ставили «ежи». На 7 ноября выпало много снега, по колено. Эвакуированных щучан повезли дальше, через Бобров, в Коршево. В Коршеве семья Каплиных жила в доме Дмитрия и Татьяны Ляпиных до марта 1943 года.

В Щучьем полгода, с 9 июля 42-го по 14 января 43-го, шли непрерывные бои, эта местность на военных картах обозначалась как «Щученский плацдарм». Все село было полностью разрушено.

Приехавшие из эвакуации люди начали отстраивать Щучье заново, разминировать окрестности, хоронить убитых солдат, сажать огороды, возрождать коллективное хозяйство.

Получив повестку из военкомата, Вера прочитала, что ее призывают в 183-й полк. Она думала, что ее призовут служить в медицинские войска, но попала она в артиллерию. К тому времени ее старшие братья уже сражались с фашистами, присылали домой письма из-под Москвы, Смоленска, Ростова. От Матвея последнее письмо пришло из Ельни: «Горит земля, горит небо». Василий последнюю весточку домой прислал из станицы Вешенской: «Вернусь с разведки — пойдем в сторону Сталинграда». Оба они не вернулись с войны. Сергей возвратился домой хоть раненым и контуженым, но живым и даже дожил до 20-летия Победы.

Со Щучьего в Лискинский военкомат Вера с подругами Олей и Полей, которым тоже пришли повестки, шли пешком. По дороге, на залуженском лугу, им встретился старик, остановился, залюбовавшись веселыми, улыбающимися девушками:

— Девчата, куда ж вы идете?

— В военкомат, нам повестки пришли!

Старик вздохнул и покачал головой:

— Ох, девчата-девчата, туда дорога широкая и проторенная, а назад — узкая и ухабистая.

Он уже знал, что их ожидает, а девчата даже не догадывались.

В это время в Лиски прибыла на пополнение 82-я отдельная зенитная артиллерийская бригада, 1869-й зенитный артиллерийский полк, обескровленные в боях на Курской дуге. Командиры забирали призывников в срочном порядке, не дожидаясь, когда им выдадут военное обмундирование. Девушки стали в солдатский строй в домашней одежде: платьях, юбках, кофтах, а Ольга еще и в фартуке. На батарее были в основном девушки, кроме двух призывников из Ростовской области, 1927 года рождения, Петра Пухкало и Евгения Мякотных, совсем еще мальчишек. Им доставалось от командиров, особенно Петру. Командир отделения как увидит, так сразу:

— Пухкало, приведи себя в порядок!

Командир отделения собрал девушек в блиндаже, стал распределять на воинские специальности. Вере досталась специальность «приборист № 7», она сидела рядом с наводчиком и подменяла его в случае надобности. Наводчиком у нее был как раз шестнадцатилетний Петр Пухало.

Однажды он споткнулся, нога попала между прибором и бруствером, Петр сломал ногу в щиколотке, но в госпиталь ехать отказался; ему наложили гипс, и он лежал в землянке. Он вспоминал свою девушку Лену, вздыхал и повторял: «Если бы Ленка была со мной, она бы меня сразу вылечила». О Ленке он мог рассказывать часами. Когда над ним подсмеивались и говорили: «Не дождется тебя Ленка», Петр вспыхивал и возражал: «Она мне в каждом письме пишет, что любит, ждет и замуж ни за кого не выйдет».

С любовью на фронте было строго, жениться не разрешали. Старший сержант Сергей Галкин и рядовая Евдокия Попова любили друг друга, но пожениться смогли только после войны. Как и командир второго орудия Василий Комаровский и рядовая Полина Маслова.

Вера быстро усвоила премудрости своей воинской специальности. Главная задача — поймать и удержать цель.

Командир орудия, когда поймают цель, кричал:

— Держи, седьмой! Седьмой, держи!

И Вера держала так, что немели пальцы.

Рядом с Верой за прибором сидела Люба Шидогубова, ее номер был восьмой, а наводчик у нее был Евгений Мякотных, она его тоже должна была подменить, если его убьют или ранят.

Радар ловил звук самолета за многие километры. Вера рисовала звуковую карту, слушала и отмечала, — летит то выше, то ниже. Если самолет подлетал близко и опускался низко, били прямой наводкой из четырех орудий. Командир кричал:

— Прибористы, к орудию!

Снаряды тяжелые, только успевай подавать.

Бомбить Лиски немцы прилетали 2-3 раза в день. Связь между батареями поддерживал сержант Лившиц. Во время очередного налета связь повредило. Лившиц взял провод, пошел по линии и недалеко еще отошел от батареи, как упала бомба. Его убило осколком.

Батарея охранялась круглосуточно. Зенитчицы стояли на посту по два часа. Вначале — с винтовкой, после винтовку заменили на карабин.

Так с июня по октябрь 1943 года, пока не началась Киевская наступательная операция, Вера обороняла город Лиски в составе 82-й артиллерийской бригады, была зенитчицей 14-й батареи, охранявшей железнодорожный мост через реку Дон. Мост удержали, не дали разбомбить.

Командир 5-го дивизиона полковник Волошин, комбат Марченко, командир отделения старший сержант Галкин относились к своим подчиненным строго: в перерывах между налетами фашистской авиации зенитчицы изучали матчасть зенитки, зубрили уставы, занимались строевой и огневой подготовкой. Девушки жили дружно, потому что были примерно одногодки и призваны из Лисок и близлежащих сел. Шура, Валя, Лида, Дуся Попова, Галя Стрельцова (была поваром) и Мария Скоробогатова — из Лисок; Люба Шидогубова — из Екатериновки; Мария Колесникова — из Среднего Икорца; Екатерина Чичканева — из Масловки; Вера Каплина (в замужестве Волошенко), Полина Маслова (Комаровская), Ольга Турова (Логвиненко) — из Щучьего. Самой веселой и заводной была комсорг Лариса. На комсомольских собраниях она выступала с призывными речами: «Комсомольцы! Держитесь крепко за родную землю! Бейте врага! Не сдавайте передовых позиций!»

Зенитная артиллерия оберегала крупный железнодорожный узел Лиски с разных сторон. На Мелбугре стояла 2-я батарея, в других возвышенных местах — 12-я и 19-я. Защищали элеватор, депо, пристань, весь город. Фашисты прилетали бомбить Лиски чаще всего вечером. Летели в ряд 12 самолетов, один впереди, один сзади, остальные — парами. Стояли батареи и в селах Пухово и Мисево. Во время очередного налета Вера совместила крест на прицеле с крестом на фюзеляже фашистского бомбардировщика, прогремел залп, и самолет был подбит! Но радость девушек была недолгой. Комбат Марченко возвратился из штаба мрачнее тучи и сказал: «Там считают, что немца подбила 2-я батарея, стоящая на Мелбугре». С того случая прошло шестьдесят девять лет, но Вера Андреевна по-прежнему уверена в том, что это нелепая ошибка и самолет сбили не зенитчицы с Мелбугра, а именно они, зенитчицы с Лысой горы.

Зато когда сбили немца над Бахмачами, в их умении никто не сомневался и на сбитый самолет не претендовал. Бахмачи — населенный пункт в шестидесяти километрах от Киева, куда лежал путь 14-й батареи от Лисок в начале Киевской наступательной операции. В Бахмачах был огромный склад с оружием. Самолеты налетали часто, но и батарей вокруг Бахмачей стояло много.

Как только переезжали на другое место, рыли землянки на десять человек и отдельно землянки для приборов, в которых мог поместиться грузовик-трехтонка. Сколько земли было перелопачено! Бань не было, стирали и мылись в землянках. Еда — кулеш, перловка, чай.

Дорогу от Бахмачей до Днепра девушки преодолевали по осенней грязи, пешком, в сапогах на несколько размеров больше, потому что трудно было подобрать 35-36 размер.

Подшли к Днепру к вечеру. Комбат издает приказ:

— Выйти из строя, кто умеет плавать! Разобраться по парам, стать рядом тем, кто плавать не умеет!

Переправлялись на понтонах. На правом берегу Днепра прыгали в воду по пояс, лишь бы быстрее на землю стать, и бегом, бегом, идти по воде тяжело, ног не поднимешь.

Бой за Киев шел с артиллерией, танками, самолетами. Целые сутки все горело.

Вместе с зенитками на железнодорожных платформах въехали в Киев. Город окружал Исторический вал, насыпанный киевлянами как оборонительное сооружение еще во время монголо-татарского нашествия. На этом валу и установили зенитки, окопались. Теперь лискинские девчата охраняли мост через Днепр.

Через неделю их перевели в пригород Киева Куреневку, на обрыв над Днепром. Опять надо было рыть землянки, окопы, траншеи, готовиться к обороне Киева. Землячку Веры Полину Маслову перевели в 19-ю батарею. А на 14-ю батарею прибыла новенькая — украинка Мария Знак. За время службы Вере приходилось общаться с представителями разных национальностей. Русские, украинцы, белорусы, марийцы, татары, — все жили дружно, открыто, весело, ничего друг от друга не таили, всем делились, были как родные сестры.

Зима 43-44 годов выдалась с метелями, оттепелями, морозами; землянку заметало так, что нельзя было открыть входную дверь. Однажды с вечера разыгрался страшный буран, ночью резко потеплело, в землянку хлынула вода, залила сапоги, поднялась до нар, намочила шинели, в результате, девушки плавали в воде, как лягушки. К утру ударил мороз. Утром именно Вере пришлось надевать мокрую шинель и непросохшие сапоги и становиться на пост. Она обморозила ноги.

Кроме охраны своей батареи зенитчицам приходилось охранять и другие военные объекты, на которые приведет разводный.

Однажды ночью на посту Вера решила узнать, что же она охраняет. Возле забора была кирпичная тумба. Вера влезла на нее, заглянула за забор и увидела

накрытые брезентом орудия. Вдруг кто-то потянул ее за полу шинели. Ночь была темная, молодой месяц еле освещал землю. Вера оглянулась и замерла от ужаса: на нее смотрела огромная собака. Раз есть собака, то где-то рядом должен быть ее хозяин. Собака заскулила, Вера присмотрелась и увидела, что это немецкая овчарка. Немцы, отступая, бросали своих собак. Овчарки были умные, они все понимали и искали себе новых хозяев, люди кормили их, приучали к дому.

— Зря ты пришла, у меня ничего нет, — сказала Вера.

Собака посмотрела на нее, постояла еще немного и ушла. Вскоре пришел и разводящий.

7 ноября командир отделения пришел веселый: «Ну, девчата, Америку есть будем!» Раздал к празднику американские мясные консервы. А на Новый год дали по сто граммов.

Весной 45-го года зенитчицы узнали, что их бригаду собираются отправлять в Болгарию. Но судьбе было угодно развернуть военную дорогу Веры в обратную сторону: не на запад, а на восток.

9 мая наступил долгожданный День Победы. Киев заливался огнями салютов. Все были рады, что пришел конец войне, плакали от счастья. А девушки-зенитчицы плакали еще и от обиды, что их не отпускают домой. Вышел приказ: ехать на войну с Японией. Попрощались с Петром Пухкало и Евгением Мякотных, их оставили дослуживать еще год, так как они воевали два года, а служили в армии тогда три года.

Несколько недель эшелон двигался на восток. До Дона ехали среди руин и пепелищ, все населенные пункты были разрушены. В Лисках надеялась повидаться с родными, но удалось только передать им записку. Волгу переезжали по красивому мосту возле Саратова. От Волги до Урала — голая степь, а за Уралом началась тайга. Тайга стояла стеной, лишь кое-где мелькнет огонек. Зато рядом с дорогой часто встречались небольшие часовенки. Запомнились скалистые берега бурного Енисея. Яркое воспоминание осталось от небольшой сибирской железнодорожной станции, на которой стояли танки и brave парни — выпускники танкового училища — играли на гармошке, пели и плясали. На берегу Байкала перед туннелем стояла огромная статуя Сталина. Выгрузились в шестидесяти километрах за Байкалом. Жили в крестьянских немазанных домах. Радары расположились в тайге. Вера продолжала военную службу в той же должности — приборист, заполняла звуковую карту, в ее обязанности входило записывать все звуки, которые издают летящие самолеты, все зигзаги на специальную карту. Вместе с Верой несли воинскую службу в 408-м отдельном зенитном полку Мария Овчинникова, Надя Одесса, Аня Гришка, Нина Татарка, Лида, Валя.

3 сентября 1945 года командир дивизиона лейтенант Орлов объявил, что Япония подписала акт о капитуляции. Наконец-то война для Веры закончилась.

Зенитчицы приехали в Иркутск, ждали демобилизации. Сначала их послали нагружать бревна в вагоны, нагрузили полный состав. Затем повели в склад сечь капусту, набили бочки, запечатали.

И вот эшелон с демобилизованными солдатами вышел из Иркутска. Старшей вагона была Мария Цыганка. Чем дальше состав продвигался на запад, тем меньше сослуживиц оставалось в вагоне: подъезжая к заветной станции, девушка прощалась, и подружки провожали ее домой. В Лисках вышли два бойца — Рая Заборовская и Вера. Рая поехала в Воронеж, а Вера пошла на пароход. Отплыли от Лисок. Вера стояла на палубе и не могла отделаться от мысли, что сейчас налетят немецкие самолеты и начнут бомбить.

Был конец октября. От пристани в сторону села Щучье в шинели, в берете, с вещмешком за плечами шла рядовая Вера Каплина.

Хотела продолжать образование, но медучилище, как эвакуировали из Воронежа в Новосибирск, так оно в 1945 году там и оставалось. Вера по дороге домой проезжала Новосибирск, и получилось, что она проехала свою профессию. Мать попросила: «Поживи дома». А тут еще появился жених — Павел Андреевич Волошенко, фронтовик, до войны — первый шофер в колхозе. Вера вышла замуж. 12 лет поработала в колхозе, 5 лет — библиотекарем в школе, потом комбинат бытового обслуживания населения города Лиски открыл в Щучьем швейную мастерскую. Вера Андреевна проработала швеей до самой пенсии.

Детей Бог не дал, и Вера Андреевна жила одна в домике, построенном шестьдесят лет назад, осевшем в землю так, что с трудом открывалась входная дверь.

В марте 2014 года Вера Андреевна переехала в новую квартиру в городе, который она защищала в 1943 году.





*Стихи  
лискинских  
поэтов*

## **В ЗАКАТЕ ОСЕННЕГО ДНЯ**

**Владимир Шишлов**

### **ЖАРКИЙ ВЕТЕР**

Жаркий ветер, словно из пустыни,  
Вдруг коснулся моего лица.  
Был наполнен запахом полыни  
И медовым вкусом чабреца.

Жаркий ветер — покоритель лета  
Закружился, проявив свой нрав,  
Над водой природного бювета,  
Над полоской придорожных трав.

Жаркий ветер, не лютуй, не надо,  
Убери разящее копьё,  
Очень скоро осень и прохлада  
Остудят величие твое.

Пролетит по солнечной долине,  
Всколыхнет остывшие сердца  
Жаркий ветер запахом полыни  
И медовым вкусом чабреца.

**Елена Орлова**

### **ДОМИК**

Домик старый с крышей молодой,  
Окна ждут с войны: «Хозяин, где ты?  
Знаешь, повзрослели твои дети!  
Сын приехал с внуком и женой.

И калитка не далась замене,  
Помнит, как на фронт ты уходил.  
— Сохрани семью! — ей говорил.  
Отстояла, сберегла, но время...»  
Поседела золотая ночь тогда  
И последнее письмо с наградой,  
Похоронка, но ее жене не надо.  
Ждут его и домик, и года...

## ОСЕНЬ

Осень будет пахнуть, как тогда  
Мокрая платформа, дым табачный,  
И разлучники — шальные поезда —  
В первый раз задержатся удачно.  
Осень — все, что есть у нас с тобой,  
Те часы — воспоминаний части,  
Нас венчала золотой листвою  
Осень, так похожая на счастье.

## Валерия Шипова

### СНЕГ ОКТЯБРЯ

Подумать только: виделись недавно,  
А между тем прошел как будто век...  
Смотрю в свое окно и даже странно,  
Что у тебя там тот же самый снег.  
Снег октября красив лишь в поднебесье,  
А упадет на землю — нет как нет.  
И я ни капли не расстроюсь, если  
Любовь твоя — такой же мокрый снег.  
Он по щеке моей скользнет дождем  
И растворится в слякоти дорог.  
Но все же загадаю на снежинку,  
Чтоб ты меня от этого сберег.

\* \* \*

В заброшенной бухте Каспийского моря  
Песчинкой-слезинкой в изгибе волны  
Живет мое детство и рвется на волю  
Бутылочной почтой из недр глубины.  
Тогда я умела держать спину прямо  
И смело плыла на манящий буюк,  
И картой для будущих жизненных планов  
Служил мне янтарный прогретый песок.  
Серебряных чаек сменили вороны  
И якорь мой брошен не там и не так,  
Но сквозь не по-детски жестокие штормы  
Мне путь освещает все тот же маяк.

## Павел Ломанцов

### ОСЕНЬ

Ты видишь, как плаваются стекла,  
Как нежны цветы из дождя,  
Как скатерть асфальта намокла  
В закате осеннего дня.

А россыпь фонарного света  
Проходим не дарит тепла.  
Во снах бездыханного лета  
Дождей зазвенела струна,

И кажется все — нет надежды,  
Все кончилось быстро, не в срок,  
И серы глаза, как одежды,  
А в горле горчичный комок.

Тепло никогда не вернется  
В течение мощных дорог.  
Иль громом на небе смеется  
Над всем человечеством Бог.

Но ты не смотри в глубь колодца  
И помни — не все решено,  
Не верь в умирание солнца,  
Я видел, как всходит оно.

## Николай Горбань

### МАТЬ

*Сыну, воевавшему в Чечне*

Вот и день еще один  
Прожит до заката.  
Мать, доживши до седин,  
Ждет домой солдата.  
Ждет со срочной и с войны  
Возвращенья сына,  
Но пока лишь только сны,  
Осень да рябина.  
Красны ягоды свои  
Бережет синицам,  
Где со времени войны  
Матерям не спится.  
Эх, кавказская война —  
Мужеству тропинка.



Жаль, что жизнь всего одна,  
Как в руке снежинка.  
И летят в Москву зимой  
Фронтвые строчки,  
Перед тем, как снова в бой  
Подняты сыночки.  
Красных ягод алый цвет  
Заревом с восхода,  
А ему лишь двадцать лет,  
Как парням во взводе.  
Эх, кавказская война —  
Мужеству тропинка.  
Жаль, что жизнь всего одна,  
Как в руке снежинка.

### **Нина Михайлова**

\* \* \*

Стану, стану я старенькой бабушкой,  
Удивленно взгляну на себя,  
Кто же, кто назовет меня ладушкой,  
Память сердца растеребя...  
В ожиданиях, хлопотах годы  
Пролетят, словно листья в садах,  
Сединою одарят невзгоды,  
Грусть прощанья оставят в глазах.  
Стану, стану я старенькой бабушкой,  
Буду петь и салфетки вязать.  
Назови, назови меня ладушкой,  
Чтоб я юность могла вспоминать.

### **Тамара Браташова**

\* \* \*

По утрам туман клубится,  
С солнцем и рассветом споря,  
Мне бы снова раствориться  
В золотистом детстве-море.  
Мне бы снова грязь размазать  
На облупленном носу,  
По деревьям кошкой лазать,  
Пить холодную росу.  
Снова драться с пацанами,  
На реку босой бежать,  
Чтобы снова вечерами  
На меня ругалась мать.

Снова, снова... если б снова  
Суждено мне жизнь прожить...  
Но зарей уже багровой  
Новый день спешит будить.

**Алексей Поповкин**

## **ЛИСКИНСКИЙ РОМАНС**

В соснах запуталось долгое эхо.  
Тень от моста надломила волна —  
Мне из мечты моей некуда ехать:  
Это родная моя сторона!

Это огней золотистых кружение —  
Каждым распахнутым настезь окном,  
Лиски, ты смотришь в свое отражение  
В полном желаньями небе ночном...

Знаю: стальное раскатится эхо,  
Чашу зари город выпьет до дна,  
Мне ж от мечты моей некуда ехать —  
Это родная моя сторона...



Николай Кардашов

## НАМ НУЖНА БЫЛА ОДНА ПОБЕДА

Очерки

### МОСТ НАД ДОНОМ

*Его, взорванный, поднимала над Доном у прифронтовых Лисок и 15-летняя девчонка Поля Жарая.*

«Не дай бог о моем детстве слушать, так рядом со мною и умереть можно». Баба Поля смахивает с незрячих глаз своих все еще не выплаканные за послепобедные годы слезы. И ведет меня неспешным рассказом своим по таким стежкам-дорожкам своего военного детства, что, даже воображаемые, они до критического градуса кровь леденят.

— К лету 1941-го мне четырнадцатый годик пошел, а после меня в семье сестрички совсем малые — Софья и Саша. У папы ноги болели, ходил тяжело, но его все равно мобилизовали в первые же дни войны. Прощаясь у хаты нашей, положил он теплые ладони мне на голову: «Держись, дочка. Тебе доведется хлебнуть горя больше всех, но ты — держись...» Как наперед видел папа. Но война, будто одумалась, вернула его домой в феврале 1942-го по «белому билету» — комиссовали из-за ног. А в лето и немцы с мадьярами к хуторам нашим у Дона подоспели. Лопочут, супостаты, по-своему, но слова «Дон» и «Лиски» как молитву каждый день читали — больно уж туда им хотелось. По-над селом нашим Мисево шоссейку к Дону тянуть стали, собирались, видать, с нее за Дон прыгнуть. Тьму людей на стройку ту согнали — даже детишек малых и стариков. Отца не тронули — заставили работать кладовщиком при амбарах, зерно с поля принимать. Задержит-ся, бывало, да еще ноги больные домой не скоро несут, а тут и комендантский час. Полицаи из наших да мадьяры его прикладами — в амбары под замок... Редко дома его мы и видели.

Мне немцы две лошади с подводой дали и к шоссейке землю возить заставили. Подружки, мои одногодки, грузят ее в поле, а я вожу — куда ж денешься. Чуть замешкаешься, отдохнуть присядешь, конвоиры винтовками, как дубинами, — по спицам. Не глядят — детенок ты малый или старик... В начале зимы снего выпало — коням по брюхо. А морозы — аж земля трескается. И стали гонять нас дорогу ту чистить. На ней подружку мою Ньюру и тиф догнал: лежит в снегу и бре-

дит в жару горячечном. Сволокла я ее на сани, конвоирам про тиф сказала. Те домой везти велели, а сами на санках сзади сопровождают. Хлестнула я лошадей, они и понесли. На повороте крутом сани юзом пошли и к куче мерзлой земли ногу мою придавили. Хрястнула, слышу, и в глазах от боли жгучей — темень. Очнувшись, глянула на ногу, а валенок пяткою вперед смотрит — кость переломана. Подбежали мадьяры-конвоиры, с саней нас сбросили, назад коней повернули: «Сами домой доберетесь». И поползли мы с Нюрой к селу нашему по полю. Приподнимется подружка моя, сугроб впереди примет, чтобы мне легче ползти, а я снег локотками под себя подгребаю. Чувствую, кончились силы. «Нюра, — шепчу, — беги за мамой, хоть умирать в селе буду...» А какой там Нюре бежать, саму жар тифозный в сугроб кидает, да еще две лопаты наши за собою тащит. Уползла подружка, а я в поле, морозном и снежном, и времени счета не знаю. Лежу, даже боль в ноге замерзла, а намокшие рукавички в ледяшки превратились. Стучу ими, чтобы руки согреть, а они звенят, как полешки... Гляжу на поле, а там два черных круга в снегу качаются, потом третий появился. Подумала: «Вороны, наверно, голодные. Сейчас клевать меня станут. Только бы не с глаз начали». И накрыла лицо варежками мерзлыми.

Но те круги черные не воронами, а дядей Филиппом Падалкиным и Ефимом Холодковым оказались. А за ними и Нюра идет, шатается. Привела ко мне, замерзающей, мужиков, даже лопаты оставить в селе забыла. Вытряхнули мужчины из моей одежды драной снег, варежки задубевшие кое-как с ручонков содрали, свои, теплые, одели. В село на закорках меня и принесли. У двора нашего народу — толпа. Собрались, значит, меня от полицаев отбивать: думали, за оставленную работу те расстреливать станут. Не я первая, но ничего — обошлось...

В хате на сундук меня положили. Прибежали два мадьяра — переводчик и второй, с сумкою санитарной, фельдшер их. Но спасал мою ногу соседский паренек Ваня Мельников — он перед войною в Острогжском училище на санитаря учился. Ножом от голенища до носка валенок мой с кровью замерзшей разрезал, ногу посмотрел. «Стану делать операцию, а ты рядом будь», — сказал мадьяру. Тот три раза обезболивающее вколол, и Ванюшка часа три с ногою моею возился — кости на место ставил. Закончил, улыбнулся: «Вечером на танцы пойдешь!» А у самого по лицу — пот градом. Попыталась я приподняться на локтях, и глаза под лоб пошли от боли.

Потом мадьяр из госпиталя своего горсть таблеток маме принес каких-то, на кубики сахара похожих. Велел в ведре воды растворить да тряпку в ней мочить и бинтовать ногу раненую. Через день к нам приходил, уколы делал. Недели за две до прихода наших исчез куда-то. Я уже с палкой по хате ходить стала. Слышу как-то: колотят в дверь. Думала, лекарь мой вернулся. Открыла дверь в сенцах — батюшки, солдатики наши! В полушубках, с автоматами, звездочки родные на шапках. «Немцы, мадьяры, — спрашивают, — есть?» Чердак, кладовку, сарай проверили.

В январе 1943-го папу снова в армию взяли. До Курска он лишь и дошел да там, на дуге, и сгорел в танке. А в село наше вскоре повестка-разнарядка пришла: пятеро человек требовалось селу направить к взорванному железнодорожному мосту через Дон у Лисок. Среди мобилизованных девочек и я оказалась. Перед тем как нас увозили, соседка сбегала на оставленный мадьярами склад, выбрала солдатские ботинки и мне принесла — обувки-то никакой не было. Да такими огромными ботинки оказались: я, чтоб они не соскакивали, на носок шерстяной еще и по паре портянок мотала. Привезли нас к мосту, а он разбит вдребезги весь. Та сторона, к Лискам, особенно разбитая. Да и город весь развороченный, на месте станции — одни кирпичи. Восстанавливали мост с двух сторон: на правой — готовили рельсы, на другой — опоры из реки поднимали. Привезут кирпичные обломки к

Дону, побьют их дробилками, и мы на носилках по тропочкам на льду несем щебенку тяжёлую к опорам. Там военные их бетоном заливают. Они нас строго предупредили, чтоб ходили только гуськом по тропам — на льду реки еще мины немецкие стояли. А первое время и самолетам их счету не было. Но наши зениток много повезли, и у немцев ни разу не получилось, чтобы бомбами в мост или в Дон попасть. Но при налетах военные все равно нас подальше от моста отгоняли. Все бегут, а я — куда ж со своею ногою? Доползу на коленках по льду до носилок да ими и прикроюсь, и молю Бога, чтобы самолеты мимо пронесло. На том льду донском односельчанка моя Тоня Евдакова и погибла на mine. Во время налета растерялась, с тропы сбежала, мина под нею и ухнула. Только и успела вскрикнуть: «Ма-а-а...»



Полина Жарая

Военные — много их там было — крепко упирались, чтобы мост поднять. Да и нас, вольных, как птиц на Дону, с носилками да тачками. Ночи коротали в селе Лиски, в хате у знакомой бабушки. Да от хаты той только стены из плетня с обвалившейся глиной остались, крышу взрывом снесло. Спали, сидя на лавке, прижавшись друг к другу, — теплее так. Пока на мосту работаем, бабушка щели в плетне глиной замазывает, чтобы нам ночью не дуло. Военные заметили мою хромоту, ногу осмотрели. Девочка, говорят, да тебе бы в госпитале лежать, но отпустить тебя мы права не имеем. Нogu мазями лечили да утешали: «Кончится, Поля, война, к ордену тебя представим...»

В апреле стали землю оттаявшую на насыпь носить. А насыпь высокая, сколько ж мы туда земляшки родимой уложили руками своими! Летом, вроде в августе, по мосту, поднятому, первый поезд прошел. Сначала паровоз маленький состав толкал осторожно, потом товарный. А когда пошел правильный поезд с солдатами в теплушках, военные оркестр привезли. Трубы марш играют, а мы плачем в голос: не верилось, что мост осилили, что самолеты не будут пикировать больше. Солдаты из вагонов машут, кричат радостное что-то, а мы в ответ: «Дай вам Бог живыми к домам своим вернуться».

Мы-то вернулись после моста в село родимое. В свои пятнадцать я сразу же в колхоз имени Красной Армии вступила — в 1943-м это было. Поле на быках пахала, вручную сеяла. За посев своевременный да хлеб для фронта и награды от колхоза получала: то поросенка или ягненка малого дадут, то метра два материи. Однажды даже машинкой швейной наградили. А в 1947-м и военные про меня вспомнили, обещание свое сдержали: за мост восстановленный медаль «За доблестный труд» дали. А железнодорожники билет проездной вручили. «Это, — сказали, — тебе, Полина, на всю жизнь за труд твой тяжкий на дороге к Победе».

Когда совсем видеть перестала, сестра Саша меня к себе в село забрала. А хату мою в Шведово какие-то ироды очистили-обокрали. Замки обломали и все вынесли: и холодильник старый, и медаль, и документы. Даже посудой старой не побрезговали...

Гляжу на бабу Полю, на руки ее, не по-женски жилистые да узловатые... И подумалось с горечью: хватит ли у нас времени и желания, чтобы всем пока еще живым российским Полинам, Тоням, Нюрам поставить памятники у их мостов к

Победе? Чтобы не только заморские нынешние супостаты перед силою их духа шапки-каска снимали. Но чтобы и свои мародеры (не только притонные, но и чиновные, монопольные) не к пенсионным их тощим книжкам руки тянули, а на поклон им глубокий в очереди стояли. Да с желанием с глаз их старческих, катарактных, пелену темноты снять. Слышала баба Поля, что в клиниках наших, милосердных, но платных, операция такая 15 тысяч стоит. А у нее, подранка войны, денег таких нет. А есть желание подруг своих еще живыми увидеть бы да на свой мост к Победе хоть краешком очей просветленных посмотреть.

А тут еще одной драмой была ранена баба Поля — умерла единственная сестра Шура, досматривавшая ее. И слепая женщина-горемыка никому не нужной стала. В казенный дом ехать отказывалась — хотела закончить жизненный путь в родной сторонущке. Доктор из соседней Колыбелки Александр Еременко взялся бабушку подлечить. В больнице и счастливая развязка судьбы ее горемычной к ней подоспела. Полину Жарую взяла к себе милосердная семья турок-месхетинцев Бинари и Розии Кадириных, у которых недавно умерла мама: у них почтение к старости — это святое. Вот такой неожиданный интернациональный мостик к очередной жизненной победе выстроился на склоне лет бабы Поли.

### МЕЛИТОН КАНТАРИЯ: К РЕЙХСТАГУ ОТ... ЛИСОК

Сержант Егоров... Младший сержант Кантария... Имена эти с мая 1945 года стали для всего мира живыми победными символами, как и красное Знамя Победы, водруженное ими над поверженным рейхстагом. И мало кто знает, что стяг Победы шел к Берлину вместе с солдатом-грузином Мелитоном Кантария от... берегов лискинского Дона. Именно отсюда красноармеец Кантария в сентябре 1941-го был призван Лискинским военкоматом в ряды Красной Армии.

Как случилось, что будущий знаменосец Победы начинал свою фронтовую дорогу к рейхстагу от железнодорожных Лисок? Как сложилась послевоенная судьба Кантария? Каким человеком был он? Обо всем этом рассказал лискинцам его племянник Кандид Кантария, приехавший в Лиски из Самары по приглашению сотрудников местного историко-краеведческого музея.

— Из воспоминаний дяди помню, — рассказывает Кандид Георгиевич, — он, раненый в боях с белофиннами, долечивался в госпитале в Лисках. Осенью 1941-го его отсюда и призвали — теперь уже на войну с фашистской Германией.

Рассказ племянника человека-легенды подтверждается и документами, найденными лискинскими краеведами. В частности, наградным листом Героя, где в графе «место призыва» значится — «Лискинский РВК Воронежской области».

Знакомство родственника Кантария с лискинской землей начинается с экскурсии по городу, проводившему знаменосца Победы к рейхстагу. Вместе с краеведом Николаем Сафроновым показываем здание кинотеатра «Октябрь»: здесь в 1941-м размещался военкомат, вручивший Мелитону Кантария повестку в бессмертие. На городской Аллее Славы, где установлены бронзовые бюсты тринадцати лискинцев — Героев Советского Союза и России, а также «лискинскому Матросову» Чолпонбаю Тулебердиеву и танкисту Петру Козлову, Кандид Георгиевич, трогая бюст Героя Козлова, неожиданно вспоминает: «Фамилию Козлов дядя повторял не раз: боец с такой фамилией лежал с ним в лискинском госпитале...»

Разнятся даты пребывания в госпитале в Лисках двух Героев — Кантария и Козлова. Но вот же очередная загадка Истории: есть два наградных листа Мелитона Кантария. По одному, машинописному, он призван в армию Лискинским военкоматом в ноябре 1941-го. Согласно другому, машинописному, — в 1944-м. Что это — описка штабистов? Или, не исключено, Кантария (раненый за войну семь

раз) лечил в Лисках и ранение, полученное 1 августа 1942 года, в то время, когда в госпитале спасали от смертельных ран и лейтенанта-танкиста Петю Козлова?

Рассказываем Кандиду Георгиевичу о подвиге командира танкового взвода, который, смертельно раненный, два часа вел свой последний бой у разъезда Пухово в окружении немцев и мадьяр. Сожалеем, что место захоронения Героя так до сих пор и не установлено. Гость Лисок просит записать биографические данные Козлова, обещает содействие в поиске его захоронения. У него есть доступ в архивы Министерства обороны.

Везем гостя на Щученский плацдарм. По пути на Никольской горе показываем памятник мирным жителям — жертвам фашистской оккупации правобережья Дона. Он — единственный в Центральной России. «Какие же вы, лискинцы, молодцы, что так прочно храните память о нашем прошлом!» — растрогано восклицает гость. У «тридцатьчетверки» на Щученском плацдарме Кандид Георгиевич, перекрестившись, низко кланяется праху его защитников. И молвит скорбно: «А ведь мой отец, Георгий Варламович, тоже воевал на Воронежском фронте, где ему осколком снаряда оторвало левую руку... Может, здесь это и было? Отец был скуп на воспоминания о войне».

В музее Щученской средней школы — встреча со школьниками. Просят Кандиду Георгиевича открыть новую экспозицию — «Хотят ли русские войны?» называется. Разорванный снаряд «катюши» подобрал на плацдарме Николай Сафронов. Взрыв чудовищной силы затейливо загнул ребра-лепестки снаряда в два вопрошающих знака: хотят ли русские войны? И как категоричный ответ — между лепестками-вопросами в проеме металла войны суровая цифра золотом: 332. Столько жителей-щученцев (большая половина!) остались навечно в земле, вспоротой войною.

Старшеклассники с восторгом рассматривают семейную реликвию Кантария — карманные часы швейцарской фирмы «Омега», на крышке которых вязь гравировки: «Герою Советского Союза М.В. Кантария от маршала Г.К. Жукова. 9.05.1945 г.». Часы, подаренные знаменосцу Победы Маршала Победы, четко показывают время (с мая 1945-го не останавливались ни разу!), торопят нас возвращаться в Лиски. По дороге задерживаемся на минуту у одного из семи местных «чудес света». Красный Шпиль — так называется неописуемой красоты меловая гора над излучиной Дона между селами Щучье и Колыбелка. Гость не скрывает восторга: «Дышится-то как вольготно, будто на Кавказе! Вот куда нужно ехать за красотой, а не на Канары! Я непременно приеду к вашему Дону в конце мая или летом — можно?» — «Даже нужно, Кандид Георгиевич: ведь древко знамени, вознесенное вашим дядей над рейхстагом, опирается в наши донские кручи».

В зале музея человека с легендарной фамилией уже с нетерпением ждут: школьники, студенты-железнодорожники, учителя школ, краеведы, руководители школьных музеев... Научный сотрудник музея Анна Гордышева, представив гостя, просит поделиться воспоминаниями о Мелитоне Кантария.

Интересный рассказ гость украсил многими не всем известными подробностями. Кстати, привел он также и один малоизвестный послевоенный факт: 20 июня 1945 года Знамя Победы с берлинского аэродрома спецсамолетом переправили в Москву. Его должны были пронести по Красной площади на Параде Победы знаменосец Неустроев и его ассистенты — Егоров, Кантария, Берест. Стали тренироваться. Чеканный шаг получался плохо. У того же Береста к 22 годам было пять ранений, повреждены ноги. Семь раз был ранен и Кантария. Да и другие участники парадного расчета не отличались выправкой — в окопах не до нее было. Назначать других знаменосцев маршал Жуков не стал, да и поздно уже было. Принял категоричное решение: «Знамя на Парад Победы не выносить!» Поэтому впервые оно реяло над Красной площадью на параде в честь 20-летия Победы, в 1965 году.

Как сложились послевоенные судьбы знаменосцев Победы? По словам Кандида Георгиевича, Жуков предложил Егорову и Кантария учиться в военной академии. Но Мелитон Варламович взмолился: «У меня же дома шесть братьев и сестры. Как они будут без меня?» Вернувшись домой, работал плотником, шахтером. Закончив институт, возглавлял торговую базу. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, был советником Шеварднадзе. Возглавлял всегрузинское ветеранское движение, был членом комитета ветеранов СССР. Его с Егоровым очень уважали и Брежнев, и Андропов — часто брали с собою в зарубежные поездки. У Кантария оставался шрам на щеке — отметина при штурме рейхстага. Брежнев вызвал начальника 4-го управления Минздрава, приказал: «Аккуратно заштукатурьте Мелитону Варламовичу шрам: ведь он — лицо нашей Победы...» Во время поездки в Швейцарию неонацисты попытались совершить покушение на Кантария, стреляли в него из толпы. Но охрана сумела прикрыть его. «Меня можно убить, — сказал тогда знаменосец Победы, — но за мною великий народ-победитель: его убить невозможно».

Когда к власти пришел Горбачев со своими «ускорениями» и «перестройками», Кантария со свойственной ему прямою заявил: «Этот продаст Союз — не дай Бог мне дожить до этого дня... Только Грузии и России поодиночке нельзя выжить». Очень уважал белорусов, особо отмечая их самопожертвованность в военные годы. Михаила Егорова почтительно называл старшим братом — они ведь и побратались с ним после рейхстага по старому грузинскому обычаю, смешав кровь из ранок на пальцах рук. Часто общались, ездили друг к другу в гости. Егоров работал на молочно-консервном заводе близ Смоленска. К 30-й годовщине Победы Министерство обороны подарило ему машину «Волга». Получать подарок на базу поехали вместе с сыном. 18 июня 1976 года недалеко от Смоленска, у родной деревни Егорова Рудня, «Волга» врезалась в рефрижератор «Колхида». Сын выжил, а Михаил Егоров скончался на месте. На спидометре искореженной машины застыла цифра — 17 километров. Так недолго успел порадоваться подарку Михаил Егоров. Похоронили покорителя рейхстага на территории Смоленского кремля. Кантария, примчавшись на похороны друга, тяжело переживал смерть побратима и до конца своей жизни поддерживал его семью. Трагична судьба и Алексея Береста. Невинно осужденный, он отбывал срок в колонии. 3 сентября 1970 года, спасая девочку-малышку, погиб под колесами пассажирского поезда.

— Фамилия Кантария, — рассказывает Кандид Георгиевич, — на грузинском языке означает «добродушный», «благосклонный». Дядя Мелитон в полной мере соответствовал своей фамилии. Радующие к людям и обостренное войной чувство справедливости постоянно звали его помогать слабым. Он и к вам, в Воронеж, приезжал в 1970-е по зову чужой беды, помог исправиться молодому человеку, сбившемуся с пути истинного.

Каждый день Мелитон Варламович получал необъятные кипы писем — ведь он был Почетным гражданином 90 городов Советского Союза. Взял однажды стопку, а из нее выпал конверт с детским почерком. Писали детдомовцы из поселка Дальнее Хабаровского края. Жаловались, что директор и персонал воруют мебель, белье, продукты. Пошел Кантария к директору местного совхоза, просит: «Ты сколько можешь дать мне апельсинов?» — «Да берите, сколько нужно — пять, десять килограммов». — «Ты меня не понял: нужно очень много. Для детей-сирот». Загрузили ящиками самолет, и улетел дядя с ними на Дальний Восток. Там разобрался в ситуации: директора посадили, закупили мебель, готовить стали вкусно...

Когда в 1991-1993 годах разразился грузино-абхазский конфликт, Мелитон Варламович сильно волновался: «Никогда не думал, что после такой дорогой Победы брат на брата пойдет». Возглавив комитет по примирению, каждый день зво-



нил Ельцину, просил его о встрече, чтобы обсудить, как вместе с Россией остановить братоубийственную войну. Но тот каждый раз сказывался «больным», обещал встретиться завтра. А назавтра — снова «больной»...

Помогала ли фамилия Кантария по жизни племяннику Героя? Когда как. У грузин ведь родственные чувства очень сильны, а почитание старших и заслуженных — безукоризненное. Однажды моя классная руководительница попросила: «Кандид, твой дядя много ездит по стране, за рубеж. Пригласи, пожалуйста, его к нам в школу». Передаю просьбу дяде, он в этот момент собирался на Кубу. Ответит: «Вот после встречи с Фиделем Кастро и приду к вам — будет что рассказать». А дядя был очень точен в обещаниях. Вернулся с Кубы — и сразу в школу. В конце интересной встречи попросил учительницу показать классный журнал с моими оценками. Полистал он его, повздыхал молча. А учился я так себе. Вышли мы из школы, и говорит мне дядя тихо так: «Я сегодня вечером к вам приду, попроси отца дома быть». Пришел, позвал меня и при всех родственниках спрашивает: «Кандид, а какая у тебя фамилия?» — «Кантария», — отвечаю недоуменно. — «Вот! А ты ее так позоришь своей учебой. В общем, так: я тебя сейчас убью. Я — герой, мне ничего за это не будет. А на земле одним дураком меньше станет». С того разговора мое отношение к учебе резко изменилось.

Когда мне вручили повестку в армию, приятели говорят: «Кандид, у тебя же дядя герой, поговори с ним — нужны тебе эти казармы да кирзачи?». Ну, я, глупый и поговорил. А дядя опять: «Ты помнишь, какая у тебя фамилия? Никогда и ни при каких обстоятельствах не смей ее позорить». ...А во время грузино-абхазской войны фамилия Кантария жизнь мне спасла. Прилетел я из командировки домой в Самару, где живу. А жена в слезах вся. Спрашиваю, что случилось? «А ты, — говорит, — телевизор включи. В Сухуми бомбы рвутся...» А там дочь наша. С помощью высоких чинов удалось в тот же день улететь в Тбилиси. В аэропорту прошу таксистов отвезти в Сухуми. Смотрят, как на сумасшедшего. Еле уговорил одного доехать хотя бы до границы с Абхазией. Высадил он меня и тут же обратно умчался. Не успел я сделать и нескольких шагов, ствол автомата мне в спину уперся. Люди бородатые, в камуфляже в лес меня ведут, на непонятном языке разговаривают. Один спрашивает: «Документы какие у тебя есть?» Достаю паспорт, а в нем визитка дяди Мелитона оказалась. Разглядывают ее, лопочут: «Кантария! Кантария!» Старший, видимо, приказывает конвоиру: «Отвези его, куда скажет. И чтобы невредимый был».

Фамилия Кантария воевала за людей и поле смерти героя. Кандид Георгиевич скромничает, но нам удалось узнать и такое. Будучи помощником члена Совета Федерации, решил он проведать в Смоленске сестру Михаила Егорова Валентину. На вокзале таксист спрашивает: «Вы не местный? Из Москвы? А зачем вы в этот сарай едете?» Привез к дому Валентины, и у гостя сердце сжалось: действительно, хибарка-сарай. Крыша перекосилась, половицы под ногами ходуном ходят... А сестра Егорова не жалуется, говорит, что хорошо живет. Развернулся гость круто — и в мэрию. В приемной градоначальника секретарша вельможную дверь собой закры-



Кандид Кантария в Лискае

вает: там, дескать, ответственное совещание по ЖКХ. Отстранил ее легонько Кантария и в кабинет шагнул. «Вы кто и зачем здесь? — грозно вопрошает голова городская. — Мы вас не приглашали». — «Да Кантария я, — отвечает напористый визитер. — Пришел пригласить вас в гости к совести вашей — Вале Егоровой». Услышав фамилию Кантария, чиновник просит заместителя своего проехать с гостем. Но Кантария настоял, чтобы поехал сам мэр. В доме-сарая чиновник стал извиняться, что не был у сестры героя и не знал о ее проблемах. Достал блокнотик и все вопросы в нем обозначил. Просил не рассказывать в Москве о своей промашке. Недели через три Валентина позвонила, рассказала, что и ремонт в доме сделали, и телефон поставили, и лекарства теперь необходимые у нее есть...

Скончался Мелитон Варламович Кантария 27 декабря 1992 года.

— Ему бы долго еще жить, да грузино-абхазская война жизнь его укоротила, — считает Кандид Георгиевич. — Похоронили дядю на его родине — в селе Чхороцку. Название села переводится как «Девять родников». Там, действительно, девять звонких ключей бьют. Мемориал Герою Советского Союза построили на средства... немцев, японцев и американцев. Ни Россия, ни Грузия ни копейки не нашли для увековечения памяти победителя-солдата.

На память о встрече в Лисках председатель совета музея, писатель Валерий Тихонов дарит племяннику героя свою книгу о батюшке-Доне с символическим названием «Не говорю тебе прощай...» «А я и не буду прощаться — еще встретимся у Дона», — парирует Кандид Георгиевич и подписывает Валерию Алексеевичу и гостеприимному музею фотографии из семейного архива. И вместе с юнармейцами школы №15 имени Героя России Евгения Сизоненко сажает в музейном дворе русскую березку. В память о дяде и его всесоюзных побратимах-однополчанам. Ведь, как утверждал сам Мелитон Кантария, «флаг над рейхстагом установили не Егоров и Кантария, а весь советский народ».

## ВАНЯ-НЕМЕЦ

### *Очерк-быль*

*Картина лискинского художника Александра Аникеева повзала из Германии наследника ее героя.*

...По отполированным ветрами Вечности булыжникам-звездам Млечного пути бредет он, согбенный, в лаптишках, с палкою-посохом в узловатых руках да тощею холщовою котомкою за костистыми плечами. Разводы туч-призраков да одинокий узенький лучик не греющего далекого Солнца — вот и все его спутники по неприкаянному пути жизни. И ни стрелочки-указателя, куда и к кому идти, не видно нигде на его скорбной стезе к одиночеству. Странник... Такой он на одноименной картине-гравюре заслуженного работника культуры, лискинского художника и поэта Александра Аникеева.

Таким знал его по жизни и я. На ее лискинском отрезке. Каждое утро, будто на работу, брел он тяжким надрывно-волочащимся шагом от Мельничного бугра к центру города с перекинутой за спину небольшой табуреточкой и той самой сумой холщовой, вечно не доласканной, как и он, людским вниманием-подаванием. Пепельно-рыжие волосы, давно не знавшие ни ножниц, ни гребенки. Всклоченная бороденка, уставшие от жизни глаза, из которых сочилась неизбывная тоска, и не понятно куда устремленное ожидание чего-то значительного и спасительно. Да и не глаза это были вовсе, а полупрозрачные осколки-ледышки, оставшиеся под испуганно-удивленным надбровьем с лютого января 1943-го. Дырявый засаленный френч с чужого плеча — то ли железнодорожный, то ли полувоенный.

И хлюпающие на ногах насквозь пропыленные сапоги придавали облику Вани-немца унылость странника, бредущего к одному ему ведомой цели.

Ваня-немец... Даже в этом двойном имени-прозвище его звучала такая же несуразность, какую несуразною была и жизнь его нищенская, продрогшая и уставшая на семи русских послевоенных ветрах. Людская молва прозвала-поименовала его так за то, что он и вправду был немцем — соотечественником и однополчанином тех, кто в январе 43-го бежал через густые кусты разрывов советских «Катюш» от сугробистого лискинского Придонья к своим германским уютным Шпреям и Эльбам. Те, бежавшие, бросили его, жестоко контуженного и оглушенного, на русском сорокаградусном морозе у Дона под Лисками. И подобрали будущего Ваню-немца не свои, а сердобольные местные женщины. Для них и вчерашний враг был, прежде всего, человеком, достойным сострадания. А тот взрыв снаряда советского лишил его

памяти, но не рассудка. И поименованный Ваней, не стал он Иванушкой-дурачком, слабоумным кородивым, какие изобиловали в российских послевоенных местечках. Не было у Вани-немца речи, а было натужное страдальческое и болезненное мычание, исторгавшееся даже не из горла, а откуда-то глубже — из души, что ли. И кто ж теперь скажет, было ли это утробное мычание результатом тяжелейшей контузии или трудно так исторгалось признание приютившим его людям.

По церковным праздникам Ваня-немец менял дислокацию, переселяясь от ступеней людного местного универмага к церковной паперти. Отвязывал конопляную веревочку от извечной своей спутницы-табуреточки, садился на нее и ничем не отличался от всех нищих, которых тоже расплодила война и послевоенная нестроенность-разруха. И не было для Вани-немца большего счастья, когда батюшка-настоятель Покровской церкви разрешал ему подняться на колокольню и дернуть веревки колоколов на звоннице. В такие минуты нечастые сталь-лед затуманенных глаз Вани-немца, жадно устремленных на запад, превращалась в ласковую голубизну вод Дуная и Вислы. И неся с лискинской церковной колокольни туда, к рекам этим, не малиновый перезвон от рук неумелых, а хаотичный и неудержимый набат-стон, звон-крик, звуки-вопли... Так неистово кричат и колокола, и люди, когда им невыносимо больно. И горечь этой боли, накопленной безразмерными годами, выливалась в призрачный стон-надежду быть услышанным дорогими и близкими людьми. Звал ли он так мамку свою или семью, которые в оглушенном и контуженном сознании все еще жили не убитой памятью. И рвался тот звон-крик, Ваней-немцем исторгаемый, с такой неукротимой поспешностью в даль светлую, будто боялся быть прерванным и остановленным взрывом людского равнодушия и беспамятства, которые были мощнее взрыва, что оставил неистового звоняра в земле чужой, от родины далекой, да на чужой для него колокольне.



Картина А. Аникеева «Странник»

Не скажу, не знаю: а, может, и не немцем был вовсе Ваня-немец, а итальянцем, мадьяром, румыном — много их спешило к Задонью лискинскому отведать пирога русского да дармового. Но так вот окрестила его народная молва, что-то, видать, зная про оставленного и забытого здесь войною Ваню-немца... В начале 90-х он как-то бочком и незаметно исчез с городских улиц и из памяти людской: то ли земля местного погоста упокоила с миром чужеземца, так и не докричавшегося до своих, то ли...

...Эта житейская история так бы и осталась в памяти лискинских старожилов, поэтизированная пронзительно-скорбной кистью художника Александра Аникеева, не получи она неожиданного продолжения. И случилось это совсем недавно, в канун открытия новой картинной галереи в Лискинском историко-краеведческом музее. Занятый обустройством экспозиции, Аникеев забыл про самого себя. А тут еще научный сотрудник Наташа Супоницкая отвлекает: «Александр Владимирович, вас немец из Берлина хочет видеть». — «Наталья Эдуардовна, займитесь, пожалуйста, им — узнайте, что ему нужно, мне сейчас не до него»... Проходя по коридору, Александр увидел юношу, рассматривавшего и фотографирующего его картину «Странник». Остановился: «Вам это интересно?» В ответ услышал восторженное: «О! Я видел ваш... странник пять лет назад. Сегодня... я шел, я спешил к ваш русский странник. Я тоже странник...».

Просвещая иноземного гостя, Аникеев рассказал ему вкратце житейскую драму прообраза своего героя. И услышал в ответ прожигающее до мозга костей: «О! Я шел к русский странник. А это — немец... Какой ироничный анекдот! Немец...» В ломаных словах этого юноши плескалась необъяснимая смесь растерянности, удивления и разочарования. И чего-то такого, что только странники и испытывают в конечной точке своего пути. И слово «анекдот» в его устах, неудачно в волнении подобранное, звучало синонимом русских слов «история», «драма».

А Аникеева неожиданно озарило: «А вы поройтесь в своей родословной — не оставила ли война кого-то из ваших близких у берегов нашего Дона. Не к вам ли кричал-звонил мой странник, лискинский Ваня-немец? Поройтесь...» Не знаю, хватит ли у этого юного немца-странника сил и желания по-русски совестливо и ответственно «порыться» в наверняка драматических слоях истории его фамилии. Но путь, указанный Аникеевым юному немцу своей графической скорбной картиною, был наверняка бы полезен всем нам. И русским, и немцам, и румынам, и итальянцам, и мадьярам... Ведь все мы живем не просто у Дона, Дуная, Рейна, Темзы. Живем мы сегодня под зыбкою крышею дома единого. Адрес его — Земля. А потому каждому из нас нужно хотя бы мысленно пройти жуткие в своем контуженом одиночестве дороги Вани-немца. Чтобы самим не быть оставленными у чужих берегов, чужих порогов...





---

## ДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ ПРО ВОЙНУ

Из школьных сочинений

---

### ДЛЯ МЕНЯ ОНИ ВСЕ — ГЕРОИ

**К**оробейников Василий Егорович — мой прапрадед по линии отца. В молодости он был красивым парнем высокого роста. Любил погулять, был веселым и никогда не унывал. Однажды он безумно влюбился в молодую и красивую девушку Евдокию, которая и стала его женой. После свадьбы Евдокия и Василий жили в небольшом домике на холме в селе Владимировка Лискинского района. В 1927 году у них родилась первая дочь Нюра, а через два года в маленькой семье появилась моя прабабушка Люба. В 1939 году случилось у них новое прибавление — младшая дочка Тоня. Тогда еще никто не мог подумать, что всего через два года их тихое семейное счастье закончится...

В июле 1941 года Василию пришла повестка о призыве на службу.

Через две недели приходит первое письмо от отца. Сидя за столом, дочери вместе с мамой читают письмо, и даже маленькая Тоня приумолкла и внимательно слушает: «Дорогие мои Евдокия, Нюрочка, Люба и Тоня, со мной все в порядке, правда, очень переживаю за вас, надеюсь, у вас все хорошо. Как же я по вам скучаю! Я очень устал от бомбежек и смерти товарищей, очень надеюсь, что я вернусь домой...»

Казалось бы, нет ничего хуже, чем уход отца на войну, но это было лишь начало...

В июле 1942 года, когда фашистские захватчики оккупировали село Колыбелка на противоположном берегу Дона, Владимировка вошла во фронтовую полосу, и мирная жизнь здесь закончилась. Многие жители добровольно вступали в ряды 219-й стрелковой дивизии, помогали в полевых госпиталях и делали окопы.

Дом Евдокии стоял на возвышенности и оставаться здесь с детьми было очень опасно. С крыши ее дома противоположный берег был как на ладони, поэтому здесь сразу расположился штаб 219-й стрелковой дивизии. Чтобы спасти детей, Евдокии пришлось выкопать землянку в огороде.

Хуже всего было детям, привыкшим беззаботно бегать, веселиться и играть, теперь им приходилось сидеть в землянке. Маленькая Тоня постоянно плакала, пугаясь взрывов, сотрясавших помещение. Люба, которой надоедало сидеть с маленькой сестрой, при первой возможности убегала к подругам, чтобы поиг-

рать, собрать листовки, которые разбрасывали немецкие летчики. Однажды подруги даже решили сходить за земляникой, но их вовремя заметили солдаты и вернули глупышек домой. Нюра же помогала взрослым рыть окопы. Запасы еды заканчивались, а созревший урожай на полях, когда была возможность, убили женщины и дети.

Выходить на улицу было страшно, да и просто опасно. На церкви Казанской Божией Матери сбило крест, погнуло купол. Однажды днем, когда соседка Коробейниковых вышла на огород, на глазах у детей прогремел взрыв: рванула бомба, не взорвавшаяся во время бомбежки... Крик и слезы, страх и ужас...

Вечером объявили эвакуацию. Маленьких детей посадили на повозки, женщины и дети постарше шли пешком в темноте, как можно дальше от войны. Повозки ехали небыстро, но когда в небе пролетел самолет, все замерли от ужаса: что будет? Евдокия, обняв дочерей, попыталась прикрыть их. Самолет пролетел мимо, но страх еще долго не покидал ни взрослых, ни детей. Спустя несколько дней после тяжелого пути, людей разместили в селах Бобровского района. Там они находились до января 1943 года, когда было освобождено правобережье Дона.

Прапрадед Василий вернулся с войны живой.

К сожалению, он прожил после войны всего два месяца, и в памяти детей не сохранились его рассказы о войне... Но для меня все, кто сражался за Родину, и есть герои, неважно совершили они подвиг или нет. Каждый солдат-герой! И я благодарна всем своим прадедушкам, всем солдатам, не жалевшим жизни во имя счастливого будущего своих внуков и правнуков.

Алена СЕЛЕЗНЕВА,  
ученица 8 класса, школа № 4 г. Лиски

## ПРАДЕДУШКА ПРОПАЛ ПОД КЕНИГСБЕРГОМ

Однажды моя бабушка показала мне настоящие фронтовые письма, свернутые в пожелтевшие от времени треугольники, которые она хранила много лет. Химическим карандашом их своей жене писал с фронта отец моей бабушки Андрей. На каждом таком письме штамп «Проверено военной цензурой». Если развернуть каждый треугольник, можно обнаружить, что это обертка от каши, обрывок газеты или обложка от воинских инструкций, которые испещрены полустертыми строчками.



**Ксения Грудинкина (14 лет).** Прощание

Из писем я узнала, что бабушкин отец, мой прадедушка, ушел на фронт в 1942 году, когда ему было 26 лет. Дома остались его жена Полина и двое маленьких детей, Виктор и Нина — моя будущая бабушка. Он писал, как отчаянно тоскует по ним: «Когда я получил от вас первое письмо, то читал его на дню два раза. Как вспомню про своих деток и как они обо мне, небось, скучают, в ту минуту у меня сердце не выносит, слезы заливают ваше письмо...»

Мы знаем, что на войне было голодно, однако прадедушка всячески подбадривал свою семью: «Кор-

мят нас хорошо, хлеба 650 грамм...», «Пошел в наряд на кухню, не представляю себе, сколько поел. Для меня было удивительно. Если бы дома, то мне бы на три дня хватило...»

Мой прадедуська искренне верил в победу и в то, что сможет вернуться домой, переступить порог родной хаты, обнять жену и детей. А вот как он описывал сражения: «Пушки играют, пулеметы поют, жизнь совсем другая... Вскоре врага разобьем и будем жить по-старому. Войне осталось мало...» Но, как бы это горько ни было, война продолжала уносить миллионы жизней. «Наверное, я вас не увижу никогда, — писал прадедуська. — Я уже, Поля, двух товарищей похоронил. Я остался один с Воронежской области... Осталось немного до границы, почти всю Литву освободили... Крепко целую и жму к себе вас — Полю, Витю, Ниночку...»

Летом 1944 года мой прадед пропал без вести под Кенигсбергом.

Екатерина ФРОЛОВА,  
10 класс, школа №10 г. Лиски



Полина Мещерякова (15 лет).  
Фашист пролетел

## НЕПОКОРЕННЫЕ

В нашем семейном альбоме есть странная фотография: мой прадед, Дмитрий Семенович Строганов, держит в руках фотографию, на которой изображен памятник, как я потом выяснила, генералу Карбышеву, установленный в Маутхаузене. Мне всегда хотелось знать, почему прадед держит эту фотографию, именно эту, ведь тот человек не член нашей семьи, но только недавно дед мне рассказал, что его отец считал генерала своим побратимом.

Мой прадед был сержантом войск НКВД и с 1941 года по 1943 год воевал в частях Воронежского и Юго-Западного фронтов, был трижды ранен, но после лечения в госпитале возвращался на службу. А с конца 1943 года родные не имели сведений о Дмитрии, который, как стало известно позже, попал в плен.

Прадед не любил об этом рассказывать и только однажды, увидев в учебнике истории портрет Д.М. Карбышева, проговорил: «Я видел, умирал этот человек».

И я услышала страшную историю о смерти генерала Карбышева, потом прочла много книг о нем и была покорена стойкостью и мужеством этого человека. А еще я поняла, почему прадед считал его членом своей семьи.

В начале июня 1941 года Д.М. Карбышев был командирован в Западный особый военный округ. Война застала его в штабе 3-й армии, в Гродно (Белоруссия). Через два дня он перебрался в штаб 10-й армии. 27 июня штаб армии оказался в окружении. В августе 1941 года при попытке выйти из окружения генерал-лейтенант был тяжело контужен в бою в районе Днепра у деревни Добрейка Могилевской области. В бессознательном состоянии был пленен.

Фашисты знали о нем все, поэтому неоднократно предлагали работать на них.



**Виктория Таранова (13 лет).** Дети войны

Он категорически отверг все предложения немецкого командования, его перемещали из одного концлагеря в другой. Он был в лагерях в Майданеке, Освенциме, Заксенхаузене, Маутхаузене (Австрия).

Здесь и встретился с ним мой прадед. Конечно, он тогда не знал о нем ничего, знал только, что это был мужественный человек, который призывал узников бороться с врагом и здесь, в лагере: «Плен — страшная штука, но ведь это тоже война, а пока война идет на Родине, мы должны бороться здесь. Поступайте

так, как нужно в интересах Родины, и говорите всем, что это я вам приказал!»

Д.М. Карбышева с группой узников лагеря фашисты предали лютой смерти.

Вот как об этом рассказывал прадед: «Я преник к окну. Под тусклым светом качающихся электролампочек я ясно видел толпившуюся у стены близ лагерных ворот группу осужденных на смерть. Различил среди них и маленькую фигуру человека, о котором так много и мучительно думал. Это был Карбышев, еще живой, но уже взысканный неотвратимостью смерти, ведь всем заключенным было известно, что публичная казнь настигает осужденных именно здесь, у лагерной стены, близ ворот. Несколько минут фигуры смертников различались довольно ясно. Но потом с ними стало происходить что-то странное: они как бы распухали, обрастая чем-то, неправдоподобно расширялись в объеме, при этом теряя отчетливость своих форм. Я не понимал, что происходит. Вдруг волосы шевельнулись на моей полубритой голове. Я понял, что люди у стены обледенели, покрываясь все утолщающейся и утолщающейся прозрачно-голубой коркой...»

Так вместе с другими заключенными в морозную ночь с 17 на 18 февраля 1945 года казнили непокорившегося фашистам генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева.

В лагере был создан подпольный комитет (туда входил и мой прадед), который помогал людям выжить, вселял в них веру в победу, в освобождение, готовил побеги и даже вооруженное восстание. И их героическая борьба увенчалась успехом.

11 апреля 1945 года восставшие узники Маутхаузена прорвали проволоку и вышли на свободу. Еще до прихода американских войск они самостоятельно удерживали оборону лагеря на случай контратаки эсэсовцев.

Потом прадед был передан американцами советскому командованию и продолжил служить в армии. Домой он вернулся только в конце 1947 года рядовым солдатом и долго-долго никому не рассказывал о пребывании в плену.

Передо мною лежат удостоверения к медалям и орденам прадеда, подписанные министрами обороны (например, Гречко) и другими военными чинами. Но только незадолго до своей смерти, а умер он 7 ноября 1982 года в возрасте 66 лет, в семье услышали эту страшную историю о непокоренном генерале Карбышеве и о том, что Дмитрий Семенович считал генерала своим побратимом. И еще узнали, почему 11 апреля каждого года он в одиночку выпивал чарку водки и плакал...

Теперь и мы знаем, что 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашизма.

**Юлия СТРОГАНОВА,**

*10 класс, школа села Вознесенка Лискинского района*



## МАЛЬЧИШКА ИЗ ТАЛАССКИХ ГОР

Да, много лет уже прошло с тех пор,  
Но только помнит Лысая гора  
Тот августовский страшный бой  
И юного парнишку — чабана.

На той горе его пролита кровь,  
За нашу Родину погиб киргизский брат,  
Не струсив, он собой закрыл немецкий взвод,  
Спасая тонущих от пуль в Дону солдат.

Да, много лет уже прошло с тех пор,  
Но только помнит Лысая гора  
От крови потемневшее письмо  
И душу леденящие слова:

«Гульнар, любимая, родная,  
Меня сегодня взяли в комсомол!  
Я так люблю вас сильно и скучаю,  
Ты маме низкий передай поклон.

И передай, что отомстил за брата,  
Что очень скоро кончится война,  
Что будем счастливы мы вместе, как когда-то,  
А на планете будет мир и тишина...»

Да, много лет уже прошло с тех пор,  
Но только помнить мы всегда должны  
Мальчишку из Таласских гор,  
Что отдал жизнь, лишь только б жили мы.

Владислав ЛОЛЕНКО,  
*учащийся МКОУ СОШ № 12, г. Лиски*



**Николай Сафронов**

## **НЕБО И КИСТЬ**

(Жизненный и творческий путь  
художника Александра Денисова)

---

*Художник Александр Георгиевич Денисов — человек неординарной, непростой судьбы. И жизненной, и творческой. Родился в обычной крестьянской семье, рос без отца, в постоянной нужде. Пережил тяготы немецкой оккупации, едва не стал инвалидом. Но через все невзгоды и лишения он пронес непреодолимое влечение к рисованию. В детстве рисовал мелом на скамейках, досках, где придется. Самым желанным подарком стал для него тогда неказистый альбом для рисования. Стремился учиться, но окончить удалось только Курское художественно-графическое педучилище. Сложным было и его творческое становление. Он брался за любую работу: был учителем, оформителем, расписывал церквей... И всегда творил. Его полотна получали одобрение от посетителей выставок, людей, ценящих настоящую живопись. Но в Союз художников СССР ревнивые липецкие коллеги его так и не приняли. Творческая неудовлетворенность усугублялась бытовой неустроенностью. И вот наступает новый период жизни художника.*

*(Очерк Николая Сафронова публикуется в сокращении.)*

\* \* \*

И все же одаренность художника брала свое; на одном из очередных его показов незнакомый художник взял слово и прямо сказал оторопевшим экспертам: «Товарищи, что тут говорить, работы Денисова сами говорят за себя. Сомневаюсь, что кто-нибудь из присутствующих здесь членов Союза художников сможет выполнить работу такого уровня». Многим запомнились те искренне сказанные слова...

В 1985 году произошло знаковое событие в жизни художника. Александр Георгиевич встретил человека, который поверил в него. Он знакомится с замечательной женщиной по имени Надежда. Родом она была из лискинского села Перезжее, рано лишилась родителей. Бывшая детдомовка, она тоже прожила непростую жизнь. Работала на Новолипецком металлургическом комбинате, увлекалась художественной самодеятельностью, ценила творческое начало в человеке. Надежда Ивановна посвятила свою жизнь мужу-художнику, делила с ним все радости и горести непростого бытия. Она смогла подобрать ключик к его сердцу, все меньше у него было срывов, все больше работ копилось в его мастерской. Вскоре их было достаточно на приличную выставку.

Из газеты художник узнал, что в Москве на обновленном Арбате организована выставка картин. По примеру парижского Монмартра там выставляются художники, они рисуют на открытом воздухе. Ценители живописи приобретают понравившиеся им картины. Первым в Москву поехал сын художника Андрей. С собою он взял две картины отца. В первый же день обе картины были куплены за большие по тем временам деньги — по 150 рублей каждая. Так впервые случилось коммерческое признание мастерства живописца. Практика выставок на Арбате получила развитие.

В это же время в Липецке проходила выставка члена-корреспондента Академии художеств СССР, народного художника РСФСР Б.В. Щербакова. Знаменитый художник являлся одним из самых авторитетных мастеров кисти в стране. Познакомиться сразу не получилось, однако для оценки своего творчества Денисов отправил заказное письмо в Москву, в которое вложил фотографии своих работ. И Щербаков пригласил его к себе в гости.

С собой в Москву Александр Георгиевич взял несколько своих лучших работ: «Портрет матери», «Оттепель», «Декабрь»... Щербаков познакомился с представленными полотнами и дал свое положительное заключение. Так впервые художник Денисов получил профессиональное одобрение признанного мастера.

При содействии Щербакова в 1986 году Денисов показывает свои работы в Москве, на выставке в Академии художеств. Знакомство с большим мастером, переросшее в добрые дружеские отношения, помогло липецкому живописцу — он смог, наконец, покупать в столице необходимые кисти и краски, выставлять картины в Московском художественном объединении имени Вучетича. Но по-прежнему он продолжал выставлять свои работы и на Арбате. С помощью одного из ценителей его таланта в 1990 году в Доме медицинского работника состоялась первая персональная выставка Александра Денисова.

Посетил эту выставку и Борис Валентинович, он первым оставил свою запись в книге отзывов: «Рад приветствовать Александра Георгиевича Денисова в Москве, окруженного не только друзьями, но и произведениями, которые дают представление о большой любви к своему делу и о мастерстве, которому могут позавидовать иные заслуженные мастера искусства. Желаю больших успехов и силы духа, чтоб выдержать все бури и натиски, которые обычно сопровождают каждого, кто идет своим, раз навсегда избранным путем. Народный художник СССР Б. Щербаков. 1 ноября 1990 г.».

В 1991 году при посредничестве друзей и поклонников творчества состоялась персональная выставка Денисова в Верховном Совете СССР.

Из книги отзывов: *«Александр Георгиевич! Сегодня мы еще раз убедились, что живы традиции русского пейзажа, благородные традиции. Продолжайте в том же духе! От всей души желаем вам и себе, чтобы эта выставка открыла целый ряд ей подобных. Уверены, что у вас есть силы для этого».*

*«Мы, делегация из Голландии, посетили выставку. Видя ваши работы, мы наслаждаемся красотой, скрытой от нас обыденной жизнью. А простая жизнь — это и есть красота. И вы это показали нам своей выставкой. Спасибо за ваш талант. Успехов вам».*

*«Уважаемый Александр Георгиевич! Прекрасно! Особенно натюрморты и пейзажи. Приятно видеть и сознавать, что не оскудела наша земля талантами — наследниками лучших художников России! С уважением, семья Гринько. Москва».*

*«Спасибо за тепло полотен нашей родной природы и ее даров. В суровые дни нашего времени рядом с вашими работами успокоение приходит в сердце и душу. Благодарю. Наднейчук Л.К. Полтава».*

В 1992 году зарубежные поклонники Денисова помогли организовать ему персональную выставку в Центральном доме художника. Господин Ким Хи Те предложил ему заключить контракт, согласно которому Денисов в течение двадцати лет должен был работать только на корейскую фирму. По договору автор получал квартиру в Москве, огромную единовременную выплату и далее ежемесячно солидные выплаты, о которых любой художник мог только мечтать. За это его обязывали сдавать четыре больших картины в месяц. Невиданные условия были предложены иностранцами, но попадать в кабалу пусть даже и щедрых работодателей Денисов не захотел. При таком темпе недолго и до халтуры, за которой начинается вырождение художника. Не пошел на сделку со своими убеждениями мастер, чем вызвал немалое удивление иностранцев. Даже после того, как гонорар был утроен, он не согласился на контракт. Господа были так расстроены и рассержены, что демонстративно не пошли на организованную ими же выставку.

В 1995 году Александр Георгиевич подал заявление на вступление в Союз художников России. Однако уполномоченный чиновник из высокой комиссии не нашел ничего лучшего, чем сделать замечание по качеству изображенного на картинах неба:

— Где вы видели такое небо? — возмутился «ценитель искусства». — Такого неба не бывает. Придется вам еще походить по художественным выставкам, посмотреть, как настоящие мастера рисуют небо, поучиться у них, тогда и поговорим...

Перевесом в один голос состоявшемуся мастеру живописи было отказано во вступлении в Союз художников России. Не стал Александр Георгиевич учиться рисовать небо у других, не стал учиться тому, что делает лучше любых официальных «членов». Разочаровавшись в системе, он больше никогда и нигде не пытался вступить...

\* \* \*

Он никогда не жалел о сделанном выборе, смог состояться и без иностранных покровителей. На одном из показов художник познакомился с руководством акционерного общества «Стройтрансгаз». Президент одной из крупнейших в России компаний Арнольд Беккер высоко оценил искусство Денисова и приобрел несколько больших полотен для офиса, потом еще и еще. Картины презентовались высокопоставленным партнерам компании. Однажды произошел любопытный случай: подаренные немецким коллегам компании картины Денисова не выпустила таможня. Для вывоза художественных ценностей из страны пограничники потребовали справку из Министерства культуры Российской Федерации.

Картины Денисова возили в Москву в обычном плацкартном вагоне. Чтобы художник не тратил драгоценное время на бесконечные переезды, руководство АО «Стройтрансгаз» приобрело для него жилье в Москве. Для того чтобы он мог работать поближе к природе, ему построили дачу в престижном районе Истринского водохранилища. При ней большую художественную мастерскую. Так начался столичный этап его творческой жизни.

На второй персональной выставке художника побывал его учитель и наставник Алексей Стефанович Легостаев из Нижнедевицка. Вот как он отзывался о своем бывшем ученике на страницах нижедевицкой районной газеты: «...Денисов Александр Георгиевич. Первые навыки рисования он получил у учителей, не имеющих специального образования, и только в 1960-е годы, будучи уже учеником 8 класса, он впервые увидел работу настоящего мастера живописи. Это, видимо, утвердило в нем неотвратимое желание стать художником.

И вот теперь, будучи зрелым художником, А.Г. Денисов приобретает широкую известность среди влиятельных и состоятельных, понимающих толк в искусстве людей...

В большинстве его работ пейзажного жанра спокойная размеренная извечность природы заставляет зрителя глубоко чувствовать и переживать, радоваться и грустить вместе с самим мастером, который смог так умело передать свои чувства. Сами по себе пейзажи, казалось бы, ничем не привлекательны: обычная дорога, речка, кустарник, трава, лес. Все это много раз видано, но прошедшее через сознание, душу художника, преобразается и делает его живопись одухотворенной, привлекательной и доступной для понимания...

Надо сказать, что Денисов — великолепный мастер не только в пейзажной живописи. Его натюрморты — это живое воплощение природы. Все изображено настолько осязаемо и достоверно, что хочется подойти поближе, чтобы увидеть приемы, которыми художник достигал такого совершенства. Одна дама на выставке высказала свое беспокойство тем, что тыква на его картине выглядит так тяжело, что картина, того гляди, сорвется и упадет... Это значит, что художнику удалось передать не только внешнюю схожесть, но и тяжесть изображаемых предметов.

Не менее хороши и портреты, где с поразительной точностью передано и внешнее сходство, и внутреннее содержание героев его полотен...

Смотришь на картины Александра Георгиевича Денисова и чувствуешь, что все невзгоды, грубость и неудовлетворенность жизнью отступают, напрочь забываются и, кажется, что ты уже не тот, кем был раньше...

Когда я вернулся в Нижнедевицк, то у меня появилось желание пройтись по тем местам, где мы вместе с Сашей ходили на этюды. Вот она, земля нижнедевицкая! С Коряшиной горы открылась удивительная панорама раскинувшегося, как на ладони, Нижнедевицка. Низкий поклон тебе, моя Родина, взрастившая, вскормившая и воспитавшая русского художника Александра Георгиевича Денисова...»

Его творчеству посвятил свои стихи земляк художника, воронежский поэт, полковник в отставке Дмитрий Ситников:

Я замер вновь у полотна:  
Холмы, заснеженные крыши,  
И «Ручеек», и «Тишина»  
Чаруют музыкой застывшей...

Здесь все прекрасно, все приемлю, —  
Зачем вести пустую речь?  
Ну, как, скажи, такую землю  
И не любить и не беречь?!

Однажды, в интервью Денисова спросили, обязан ли художник заниматься живописью в ущерб своему материальному благополучию и служебному положению.

— Да, главное, конечно, почувствовать, что без этого уже не можешь, — пояснил художник. — Потому что все это очень тянет, очень хочется сделать что-то хорошее, чтобы потом показать людям. И постоянно работать. Чем больше работаешь, тем больше чувствуешь и больше узнаешь, в природе или каком-то образе новое что-то узнаешь. Усложняешь живопись, она становится ярче. Это как музыкант: занимается он много, значит, хорошо играет. Поет часто человек — голос развивается. Так и в живописи — чем больше работаешь, тем ярче она, интереснее...

Шло время, и почему-то неуютно стало художнику на подмосковной земле, душно за высокими заборами элитного поселка. В 2005 году Александр Георгиевич оставил подмосковную дачу на Истре, квартиру на Большой Якиманке, что в пяти минутах ходьбы от Кремля, и переехал жить в одно из самых живописных мест нашего края, село Переезжее, на родину жены. На возвышенном месте стоит дом, внизу — молодой сад и небольшой ухоженный огород. Терраса, ступени которой уходят вниз, извилистая тропинка. Участок ничем не огорожен, кроме зарослей прошлогоднего камыша и протекающей мимо старицы Дона. Из окон его дома открывается прекрасный вид на пойму реки, на луг и лес. Сейчас он дремуч и зелен, а осенью загорится яркими красками осеннего многоцветья. Зимой будет чернеть пушкинской прозрачностью на фоне искрящегося белого савана, а весной поплывет призрачной зеленью в донском разливе. Полая вода подойдет к подножью пригорка, на котором стоит дом художника, из окон мастерской будет виден бескрайний разлив. Уйдет вешняя вода, зазеленеет пойма и расцветет луговыми цветочками. Будет ярко гореть весеннее солнце Придонья и небо, небо, небо...

Александр Георгиевич аккуратный и организованный человек. Он легок в общении, не занимать ему и чувства юмора. К высокому творчеству и людям творческих призваний, как впрочем, и к себе относится со здоровой долей иронии. Когда знакомишься с его мастерской, поневоле кажется, будто она только что убрана каким-то старательным помощником. Даже тюбики краски расположены у него в определенном порядке, подчиняющемся общему настрою его упорядоченной природы.

Для того чтобы нарисовать натюрморт с овощами, Денисов однажды пошел на городской рынок, приценился, стал выбирать огурцы. Художника интересовали только интересные овощи, с какой-нибудь изюминкой. Вот огурец с осенней желтизной и прожилками, вот с еще сохранившимся цветком и острыми шипами, вот закрученный бубликом. Когда собрал все самое «ценное» и стал доставать деньги, продавщица сказала, что отдает ему товар даром, потому что он выбрал весь брак. Она посчитала его бедным человеком. Так судьба наградила его дармовыми огурцами, а он подарил нам замечательный натюрморт «Огурцы».

Как-то рыбаки принесли Денисовым пойманную ночью рыбу. Три щуки и большой окунь-разбойник — все, что попало им в сеть. Добыча так приглянулась художнику, что тут же родился натюрморт «Свежая рыба». Полновесная икрыная щука и хищноглазый окунь красуются на фоне большой банки пахучей оливы. Подсолнечное масло светится золотым переливом, в стекле отражается широкое окно художника, весь его дом. Наверное, где-то там, в отражении, растворился и он сам.

Трудно найти мастера, который смог бы так изобразить небо. Небо у Денисова, как море у Айвазовского. Секретов тут немало. Один из них в том, что при изображении небесной глубины художник наносит десятки тончайших, незаметных простому глазу слоев, умело использует фактуру холста. Как-то у него спросили, где он находит такие необыкновенные и такие разные небеса. Художник указал на большое окно своей мастерской и пояснил, что небеса его находят сами, прямо на рабочем месте. Каждый раз они разные, только не ленись, замечай.

Жена художника Надежда Ивановна. Порядок в ее доме, как и во всей усадьбе, близок к идеальному — как в мастерской мужа. Клубника у хозяйки зреет раньше всех, ягоды красивые, сладкие. По пути в мастерскую висит натюрморт мастера с земляникой, которую в наших краях принято называть на украинский манер — клубничкой. Все у них свое — от картошки до творога. Угощают окрошкой на сыворотке со своими огурцами и холодной телятиной, подают малосоленое сало. Все необыкновенно вкусно, приготовлено с душой.

У Александра Георгиевича взрослые дети. Сыновья и дочь. Некоторые считают, что человек может быть полностью счастлив лишь тогда, когда его дело не прекращается с годами, когда его идеи продолжают в потомках. Если так, то Денисова по праву можно назвать счастливым человеком. Его сыновья, Андрей и Владимир, стали художниками, они продолжают дело отца.

Так кто же такой Александр Денисов? На мой взгляд, это человек-труженик. Он прошел путь от обездоленного крестьянского мальчика, который хотел красиво нарисовать «Аврору», до признанного художника, картины которого нашли своих почитателей на всех континентах земли. Кто же мог знать, что в названии легендарного корабля скрывалась суть творчества будущего художника. Ведь Аврора — это богиня утренней зари. А лучшее, что творит Денисов — это и есть небесные зори. Своим творчеством художник говорит нам: «Хорошо там, где мы есть». В *малом* он увидел *великое* и показал его нам.

В 1995 году вышел художественный альбом Александра Георгиевича «Живопись». В него вошли тридцать работ художника, охватывающих период с 1986 по 1994 год. На страницах этого великолепно иллюстрированного издания о творчестве нашего художника размышляет искусствовед Н. Иванцова: «Очарование среднерусской природы всегда вдохновляло больших художников. Ясная Поляна Толстого, Красивая Меча Тургенева, Ока, воспетая Поленовым в живописи и Есениным в поэзии, Таруса, пленившая юную Цветаеву и Паустовского. Сегодня прекрасный облик Липецкой и Воронежской земли, берегов Дона раскрывается перед нами в творчестве русского художника Александра Денисова...

Главный принцип русского реалистического пейзажа, классические образцы которого принадлежат кисти А. Саврасова, Ф. Васильева, В. Поленова и И. Левитана, — поэзия, рождающаяся из прозы, из повседневного общения с природой. Эстетическое кредо русского реализма в отношении к пейзажу необычайно точно выражено П.М. Третьяковым в его письме к художнику А. Горовскому: «Мне не нужно ни богатой природы, ни великолепной композиции, ни эффектного освещения, никаких чудес, дайте мне хоть лужу грязную, да чтобы в ней правда была, поэзия, а поэзия во всем может быть — это дело художника...»

Следуя этой традиции, Александр Денисов утверждает важную и, по существу, очень простую истину: «...поэзия — вокруг нас, в привычном течении повседневности, в окружающей нас природе, красота — в ощущении радости бытия и гармонии...»

Что можно добавить к этим словам? Разве только то, что Александр Георгиевич является не только певцом родного края, но и человеком, сберегающим память о нашей земле для наших детей и внуков. Кто не помнит маленькую, крытую соломой избушку на окраине Михайлова хутора? Одинокая хатка-мазанка на краю степи, словно символ нашей маленькой родины, стояла она под палящим солнцем Придонья, плыла среди ковьяли на все четыре ветра до поры, пока не завалилась от ветхости. А как не стало ее, так будто и не хватает чего-то. Кажется, ветер времени безвозвратно унес от нас даже саму память о ней, но вдруг, на одном из полотен Александра Георгиевича мы увидели ту самую уютную избушку бабы-солдатки, и стало легко на душе, как будто вернули что-то очень дорогое для тебя, для всех, для каждого.





---

Николай Кардашов

## ФИНОЧКИНА И ШТАТЫ ЗНАЮТ

---

**С**вое давнее занятие художественным творчеством «лискинский Пикассо» Иван Финочкин иронично называет «баловством». Но ни Америка, ни Аргентина, куда попали изящные деревянные скульптурки и картины умельца-самородка, «баловством» их не считают и хранят в национальных музеях и частных коллекциях наравне с собственным культурным достоянием.

В своем отношении к природе и искусству бывший рабочий железнодорожного депо Иван Финочкин чем-то похож на тургеневского Базарова, утверждавшего, что «природа — не храм, а мастерская, и человек в ней — работник». И работает в тандеме с природой в этой самой мастерской уже более 40 лет.

...Каждое утро Ивана Ивановича в любое время года и при любой погоде начинается с «поиска гармонии» и совмещения приятного с полезным. Он давно заменял девятый десяток, но несмотря на возраст «бежит в природу», не только укреплять тело и дух, но и высматривать по пути природные заготовки будущих художественных шедевров.

В пластиковой банке из-под автомобильного масла вдруг увидится ему плутоватая человеческая рожица, которая дома в руках художника в считанные минуты окантуется кучеряшками бородки и обретет смысленные глазки-пробки, весело подмигивающие миру. Сотнями таких же разноцветных пробок от пластиковых бутылок выложена у крыльца его дома и затейливая дорожка-мозаика. Эти утренние пробежки полнят мастерскую умельца природными материалами самого необычного свойства. Вернувшись однажды после очередного «творческого забега», принес домой... подошвы старых кед. «Опять ты в дом чесотку тащишь», — незлобиво ворчала жена, давно привыкшая к неумной фантазии мужа. Пока жарила утреннюю яичницу, подошвы те с помощью резцов, ножниц и клея превратились в... одухотворенные человеческие лица — залюбуешься! А тут и соседка с незнакомцем-гостем подоспели. Гость интересовался картинами Финочкина, а вместе с парой полотен приобрел и приглянувшиеся ему «подошвы-рожицы». «Уехала на Кавказ моя «чесотка», — прокомментировал Иван Иванович, отдавая изумленной супруге вырученные деньги.

Будь у художника Ивана Финочкина коммерческая жилка, он, наверно, давно мог бы стать миллионером. Как мог бы стать и титулованным художником. Еще в 1950-е, в годы службы на Балтике, один из известных российских художников-



академиков, усмотрев в рисунках Финочкина почерк будущего Дали с русским неповторимым акцентом, буквально за руку тащил матроса-самородка в институт искусств. «Институты научают технике, но искру Божью никогда не заменят», — до сих пор убежден художник, волею жизненных обстоятельств так и не прошедший через аудитории художественного ученичества.

Его аудиторией сделалась природа, щедро дающая внимательному глазу художника и сюжеты, и образы, и краски, и линии... «Люди, давайте творить — ведь это так просто», — взывает Финочкин. Смотришь на его, на первый взгляд, незамысловатые полотна — вроде и правда просто. Но знатоки искусства, знакомые с произведениями лискинского художника, называют их образцами высокохудожественного примитивизма, граничащего с модернизмом. Сам художник называет их просто — «картины» и пишет их, вдохновившись, на одном дыхании, никогда не возвращаясь к дорисовкам. А первым беспристрастным ценителем их становится любознательный пес Жорка. Обнюхав «свежий продукт», Жорж удовлетворенно ложится рядом, словно просясь довеском к еще не высохшей акварели очередного пейзажа или натюрморта.

Есть у Финочкина и целая галерея скульптурных композиций из дерева, которая наглядно и образно убеждает в истинности пословицы — «седина — в бороду, бес — в ребро». Трудно сказать, какие уж там бесы щекочут ребра художника Финочкина, но, глядя на эти изящные эротические фигурки из веток клена, ясеня, липы, вишни, вербы, невольно восхищаешься неумейной фантазией природы, положившей на стол художнику эти пластичные иллюстрации Кама Сутры. А несколько штрихов резцом, сделанные талантливыми руками, природную фантазию лишь доводят до совершенства. И перед зрителем уже не чурка деревянная, а одухотворенные он и она в полете вечной страсти всепоглощающей и возвышающей любви...

Наведался как-то к Ивану Финочкину капитан дальнего плавания из Питера. Пришел купить картины, а унес целый мешок тех деревянных скульптурок. В какие уж там порты заходил корабль того предприимчивого капитана, неведомо, но судя по всему разбрелись по свету те фигурки из лискинских вишняков и лоз, радуя эстетическим совершенством эротической первородности глаз и американца, и датчанина... И после этого, говорят, к Финочкину, на Донецкую, не раз приезжали потом изумленные иностранцы, чтобы оптом увезти из русской самобытной глубинки сувениры, совместно сотворенные даровитой природой и талантливым мастером.





Татьяна Синякова

## ГОРОД ПРИХОРАШИВАЛ МАСТЕР

**И**мя Ивана Ивановича Дмитриева помнят многие лискинцы, а у кого-то еще в доме висят пейзажи, написанные этим талантливым художником. Как с большой любовью хранятся они и в семье его сына Андрея Ивановича Дмитриева.

Родился Иван Дмитриев 4 февраля 1921 года в селе Старая Покровка, которая делилась на Нижнюю и Верхнюю. Так вот, художник — выходец из Нижней Покровки. Рисовать начал еще в школе. В 1939 году он поступил в одно из самых престижнейших учебных заведений — Академию художеств им. Репина. Когда началась Финская война, его призвали в армию, служил в морской пехоте. В годы Великой Отечественной войны — в блокадном Ленинграде. Успевал рисовать и на фронте. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне». Затем восстанавливал Ленинград. Окончить Академию так и не смог — по состоянию здоровья. Две контузии, простреленная рука, дистрофия требовали длительного лечения. Вернулся в Лиски. Работал сначала в добровольном пожарном обществе, затем маляром-штукатуром, мастером. Бригада Ивана Ивановича отделывала здания послевоенных Лисок — клуб железнодорожников, кинотеатр «Октябрь», их усилиями здание МПС было превращено в железнодорожный техникум.

Иван Иванович ни на минуту не забывал о творчестве. Писал много, с удовольствием дарил пейзажи друзьям. Но никогда не изображал войну! Старожилы, наверное, еще помнят его две большие картины, что висели в зале ожидания старого железнодорожного вокзала. И.И. Дмитриев сделал и первый памятник Чолпонбаю Тулебердиеву в селе 2-е Селявное.

Когда-то в домах горожан очень модной была декоративная лепка по потолку, и непременно по центру комнаты, где опускается люстра. Иван Иванович делает эскизы, льет формы, сам разрабатывает состав смеси для декоративной лепки. Затем в цехе ЖБИ по эскизам Ивана Ивановича начали делать фигурные заборы с декоративными вазами, которые 30 лет украшали город. Три иконы в Покровском храме — также написаны Иваном Ивановичем.

А еще имя Ивана Дмитриева связано с лискинской легендой — фонтаном в парке клуба железнодорожников. Идея установить фонтан принадлежала А.К. Лы-

сенко, тогдашнему начальнику Лискинского отделения дороги, а проект фонтана, все эскизы исполнены Дмитриевым. Из чаши била вверх 17-метровая струя воды, по окружности располагались лилии. Воду для фонтана качали из озера Богатого.

Иван Иванович — участник первой выставки местных художников в 1950-е годы, которая проходила в кинотеатре «Октябрь». Несколько работ он посылал на выставку в Москву. В семье вспоминают, что они были удостоены поощрительного приза.

Круг интересов Иван Ивановича поразительно широк. Так в семье хранится ответ на письмо 1965 года в Государственную комиссию по сортоиспытанию плодово-ягодных культур относительно выведенного им сорта винограда и о вручении удостоверений на рационализаторские предложения. Всего на его счету около 60 рацпредложений.

Дмитриев не стал профессиональным художником, но и сегодня его пейзажи с видами Дона, Шатрища пленяют искренностью и любовью к своей малой родине. К той земле, которую он стремился украсить всю свою короткую жизнь.

## ЗОДЧИЙ ПОСЛЕВОЕННОГО ВОРОНЕЖА

В прошлом году исполнилось 110 лет земляку-лискинцу, инженеру-архитектору, члену Союза архитекторов Николаю Васильевичу Александрову. Его имя в истории Воронежского края стоит в одном ряду с Н.В. Троицким, А.И. Поповым-Шаманым, А.В. Мироновым — известными архитекторами послевоенного восстановительного периода города Воронежа.

Родился он 14 октября 1904 в селе Щучье Острогожского уезда Воронежской губернии. Его отец Василий Иванович имел небольшую лавку мануфактурного товара в селе. В 1914-1923 годах учился в Острогожской единой трудовой школе II ступени. С 1923-го по 1925 год получал образование на строительном факультете Воронежского инженерно-строительного института.

Одним из преподавателей у Александрова был известный воронежский архитектор, общественный деятель, опытный педагог и краевед Николай Владимирович Троицкий. Он вспоминал, что Александров был добросовестным учеником, особое внимание уделяя архитектуре, сам усложнял свои задания по курсовым проектам, много рисовал в кружке рисунка и всячески развивал эту способность. Окончив институт, Николай Васильевич сразу весьма удачно зарекомендовал себя как полноправный архитектор.

Еще до войны (в 1934 году) его принимают в Союз архитекторов СССР. После освобождения Воронежа он активно включился в восстановление города.

За годы плодотворной работы Александров стал автором проектов многих жилых и общественных зданий в Воронеже. В том числе в 1937 и послевоенном 1944 годах принимал участие в реконструкции драматического театра имени А.В. Кольцова.

Также он имел непосредственное отношение к проекту постройки в Воронеже областной больницы (в 1938 году разработал генеральный план здания) и районной библиотеки (конкурсный проект по воронежскому отделению Союза архитекторов). В 1944 году Александров проектировал Энерготехникум (по улице К. Маркса, 59), а в 1949 году — стадион «Пищевик» (который после реконструкции в

1961 году получил название «Труд»). В 1954 году по его конкурсному проекту был восстановлен Дом торговых организаций «Утюжок».

Работал Николай Васильевич старшим архитектором воронежского «Облпроекта» (1943-1944), начальником сектора планировки городов (1944-1946), архитектурно-проектного бюро при областном отделе по делам архитектуры (1946-1951). Несколько лет (1951-1953 годы) был главным архитектором города Воронежа.

С июля 1971 года Александров вышел на пенсию. 19 мая 1980 года Николая Васильевича не стало, похоронен в Воронеже.

## ВОСПИТАТЕЛЬ ЛИЦЕДЕЕВ

В Лисках, в детском саду № 103 ОАО «РЖД», для его воспитанников открылась театральная студия. Ее руководитель — актер, режиссер, педагог Федор Иванович Переверзев, сын известного российского киноактера, Народного артиста СССР (1975) Ивана Федоровича Переверзева.

Родился Федор в Москве 28 декабря 1968 года. Его мать — актриса Ольга Соловьева была третьей женой Ивана Переверзева и на 28 лет младше мужа.

Воспоминания об отце у Федора очень теплые. Хотя Иван Федорович часто выезжал на съемки, но о семье не забывал. По возможности устраивал жене и сыну каникулы, забирая с собой (если сцены какого-нибудь фильма снимались у моря). Ярким воспоминанием осталось у Федора то, как отец на даче смастерил ему собственными руками из полена арбалет.

Иван Федорович Переверзев ушел из жизни, когда сыну было 10 лет.

Федор окончил школу с углубленным изучением французского языка им. В.Д. Поленова. В 1985 году поступил во ВГИК. Сначала учился в мастерской С.Ф. Бондарчука, который, кстати, считал его одним из способнейших студентов на курсе.

На втором курсе, в 1987 году, Переверзеву предложили сниматься в фильме «Ночной экипаж»... Уже была отснята половина фильма, но тут пришло время отдать долг Родине — Федор попадает в Театр советской армии. Пришлось совмещать службу со съемками в фильме.

Кстати, Федор Иванович вспоминает, что сослуживцами его были Дмитрий Певцов, Никита Высоцкий, Александр Лазарев и другие будущие известные актеры.

Второй этап обучения во ВГИКЕ проходил уже под руководством Алексея Владимировича Баталова. «По доброму прямой и простой человек», — вспоминает его Переверзев. После защиты диплома Федор Николаевич снялся еще в нескольких эпизодических ролях: у Юрия Озерова в фильме «Сталинград» (1989), Леонида Гайдая «Частный детектив или операция «Кооперация» (1989), Радомира Василевского «Рок-н-ролл для принцесс» (1990).

В 1991 году Федору Переверзеву предлагают работу по контракту в Сирии. Освоиться там помогло знание французского языка. Более 20 лет актер жил в городе Дамаске (столица Сирии), где преподавал актерское мастерство в звании профессор Высшей академии театрального искусства. Федора приглашали давать мастер-классы в Иорданию, Ливан, Эмираты, Турцию. Был он и участником международных театральных фестивалей.

В 2008 году Переверзев снялся и в картине сирийского режиссера Гасана Шмейта «Удостоверение личности».

В Сирии Федор познакомился и со своей будущей супругой — Еленой Николаевной Чешко. Кстати, ее корни по материнской линии из Лискинского района (из села Мелахино). В 1995 году Елена уехала в Сирию, где работала в Дамаском национальном симфоническом оркестре скрипачкой.

В Дамаске у Федора Ивановича и Елены Николаевны родилось двое детей Мария и Иван.

Однако гражданская война, вспыхнувшая в 2011 году в Сирии, резко изменила жизнь их семьи. Им пришлось в срочном порядке покинуть страну. Сначала выехали Елена Николаевна и дети, а потом в буквальном смысле бежал, в сопровождении машин спецназа, Федор Иванович.

Сначала были планы обосноваться в Москве, но родственники Елены Николаевны живут в Лисках, где Переверзевы и решили остаться.

«Хороший город, — говорит Федор Иванович. — Спокойный, с развитой инфраструктурой и замечательными людьми».

Да и для Лисок стал хорошим «приобретением» этот талантливый человек, который, занимаясь в театральной студии с юными лискинцами, сможет воспитать не одну плеяду творчески одаренных детей.





Мария Медведева

## МАГИЯ СЛОВ И МУЗЫКА РЕЧИ

(Особенности говоров  
жителей лискинских сел по реке Хворостань)

**Н**аселение современного Лискинского района формировалось в результате сложных миграционных процессов, происходивших на протяжении нескольких столетий, начиная с XVI века (строительство сторожи «у Богатого затона» и крепости Воронеж). В зависимости от исторических, социально-демографических и культурных факторов его можно объединить в несколько групп. Основными критериями выступают здесь численность общности, история появления на этой территории, характер расселения и принадлежность к определенным историко-культурным системам (религия, духовная культура, система социальных норм и т.п.)

Этнические группы имеют развитую социальную структуру. Среди них есть как городские, так и сельские жители. Кроме того, данные этнические общины кардинально отличаются своими историко-культурными системами.

### ЦУКАНЫ, ТАЛАГАИ И ХОХЛЫ — ВСЕ ВМЕСТЕ

В районе насчитывается несколько локально-этнических (этнотерриториальных), этносословных, этноконфессиональных и иных субэтнических групп.

К таким относятся в частности *цуканы*. Это пришлое население, заселившее верхнее течение реки Хворостань в 60-70 годы XVIII века. Эта этнотерриториальная группа в составе южнорусского населения, различавшаяся по сословной категории: в XIX — начале XX века цуканы относились к разрядам помещичьих, экономических и монастырских крестьян. Проживали компактной массой в бассейне р. Хворостань: села Копанице, Тресоруково, Марьино, Почепское, Рождествено, Дракино, пгт. Давыдовка. Прозвище «цукан», по мнению Н.И. Второва, связано с цоканьем в говоре (замена звука «ц» на звук «ч», например: чапля — цапля, чирябать — царापать, чирямония — черемония и др.) А. Путинцев предположил, что кличка могла произойти от слова «чукавый» — догадливый, сметливый (по словарю В. Даля), либо от чукан — «щеголь». Предполагается, что локальный этноним «цуканы» был первоначально присвоен как прозвище жителям перечисленных выше сел соседями-однородцами. Еще одной особенностью говора цуканов является замена звуков «о» и «а» на «ы» и «и» — «пычаму», «мыка-

роны». В «Толковом словаре» В.И. Даля читаем: «Цукан (тамбовское, воронежское) — цокальщик, кто говорит ц вместо ч».

По мнению Н.И. Второва, цуканы сохранили в памяти рассказы о том, из каких мест переселились их предки. Сами названия нынешних населенных пунктов указывают на места их первоначального жительства — подмосковные села: Рождествено, Тресоруково, Дракино и др. Последующие исследования поставили, однако, под сомнение этот вывод Н.И. Второва. Ссылаясь на исследователя цуканских сел в 1950-х годах Н.И. Лебедеву, А.З. Винников, С.П. Толкачева и В.И. Дынин предположили, что эта группа населения значительно более древняя, сохранявшаяся в глухих местах южнорусского региона еще с домонгольских времен, а позднее — в XVI — XVIII веках — впитавшая в себя новые переселенческие волны из центральных уездов России. Таким образом, цуканы являются, по их мнению, остатками древнего славянского населения Дона, позднее смешавшегося с однодворцами или переведенного в разряд служилых людей.

А.А. Бережной и А.С. Ракитин, проанализировав фамилии жителей сел по реке Хворостань, а также ряда подмосковных сел, пришли к выводу, что, например, переселенцы села Дракино Коротоякского уезда не были жителями одноименного села Дракино Серпуховского уезда Московской губернии. Кроме того, ряд фамилий жителей нынешних хворостанских сел не встречаются на юге Московской губернии даже в начале XX века, а некоторые из них имеют тюркские корни. Следовательно, часть нынешних жителей по реке Хворостань имеет явно автохтонный признак.

Следует отметить также, что в прошлом цоканье действительно являлось одной из характерных особенностей говора «цуканов»; однако большинство жителей «цуканских» селений утратило эту особенность говора в начале XX века. Прозвища указывают, что, вероятно, изначально «цуканы» и другая этногруппа — «талагаи» — отличались особенностями говора.

*Талагаи* — это часть исконного населения, заселявшего нижнее течение реки Хворостань еще в XVII веке — локальная группа однодворцев, проживавшая в пределах Лискинского района в селах Старая Хворостань, Селявное-2, Бодеевка, хуторах Новозадонском и Титчихе. Этнолог Д.К. Зеленин изучал их в начале XX века, по его мнению, талагаи — остатки расселения тюркского суперэтноса Придонья, Приволжья, растворившиеся в южнорусском населении. По поводу происхождения этнонима-прозвища «талагаи» высказывались различные точки зрения. Прозвище «талагай» Н.И. Второв связывал со словами: талала — «картавый, дурно говорящий» (по словарю В. Даля) и гаять — говорить, или от слова талалакать — картаво, дурно выговаривать. Возможно, есть и другое объяснение прозвища, по особенностям одежды — талагайские мужчины носили рубахи с узкими полками, т.е. надплечным узором, как на женских рубахах. Такая рубаха называется «талагай» (по словарю В. Даля: верхняя мордовская женская рубаха с вышивками). Мордовский костюм мог быть известен соседям — цуканам, слово это они могли сначала применять к «талагайским» рубахам, а потом и носящим такие рубахи.

Другие исследователи сходятся во мнении, что прозвище «талагаи» буквально означает «бездельники, невежи». В.И. Даль указывает несколько различных значений слова «талагай»: лентяй, шатун, тунеяд; большой болван, неуч, невежа; (воронежское бранное) однодворец; вообще странный, чужой мужик, отличаемый по одежде; (симбирское) мордовская женская верхняя рубаха. В говоре это проявляется в следующем: произносятся «що» вместо местоимения «что», смягчение звука «к» (чайку, «Ванька и т.п.), двойное твердое «шш» вместо «щ» (тешша), употребление слова «кае» в значении где.

Уже в начале XX века краевед И. Ферронский отметил общность культурной и материальной жизни жителей сел бассейна реки Хворостань, цуканы и талагаи говорили на общем цуканско-талагайском наречии. «Мы хворостанские», — говорили мужики в начале прошлого века, не вдаваясь в подробности, в каком конкретном селе они живут. Любопытный факт — диалектные особенности языка юга Московской губернии XVIII века сохранились в речи современных жителей бассейна реки Хворостань, при этом речь жителей юга Подмоскovie максимально приближена к литературному русскому языку.

Следующая этнотерриториальная группа — *украинцы (хохлы)*. Значительная часть их проживает в селах Троицкое, Щучье, Лиски, Залужное и др.

На предмет исследования, а именно на говор жителей по реке Хворостань, оказал влияние говор жителей села Троицкого. Разговаривают на «хохлацком» (именно так свой говор называют сами местные жители), т.е. на суржике — слободском диалекте, смеси русского и украинского языков.

Например: слово «заместо» среднее между украинским «заість» и русским «вместо». То же самое можно сказать про слово «шо», соответствующее русскому «что» и украинскому «що». Замена творительного на винительный после предлога: «поговорить за сына». Замена практически не употребляемых в украинском языке активных причастий на словосочетания «такой, что» (или «такой, который»). «Про» вместо нормативного «о», например «говорить про что-то» вместо «говорить о чем-то». «На» вместо нормативного «по»: «как на меня» (по-украински «як на мене») вместо «как по мне», «ихний» вместо «их» (притяжательное местоимение). Местный говор очень отличается от чистого русского, печатного языка, так, что он плохо узнаваем. Иногда в говоре прослеживается замена звука «к» на «ц» — «поехати в ДавыдовЦу» или «був в ДавыдовЦи». «Хохлацкий говор», если слушать его со стороны, отличается как бы более резким тембром звучания. В нем вместо мягких [е], [и] — [э] и [ы].

У русских «ревет», у хохлов [рэвэ],

Дорожка — [стэжка],

Родник, ключ — [крыныца],

Затылок — [потылыца],

Лестница — [драбына] и т.д.

Ряд слов, распространенных в бытовой речи жителей с. Троицкое, употребляются жителями соседних сел по реке Хворостань.

Например: вчерять или вечерять (ужинать), гурковать или гуркуэ (ворковать, воркуе, воркует), койка (кровать), огурок (огурец), морква (морковь), поганый (плохой), срам (стыд, позор), лоханка (большой сосуд для чего-либо) и др.

## ВЕРХНЕДОНСКИЕ КАЗАКИ ТОЖЕ ПОВЛИЯЛИ

Несмотря на то, что на протяжении веков под влиянием исторических и социальных условий происходила культурная консолидация различных групп, постепенно исчезали определявшие их названия, все же и до нашего времени сохранились некоторые специфические особенности в одежде и других компонентах традиционной культуры, а также в говоре. Например, в разговорной речи некоторых сел Лискинского района встречаются элементы говора верхнедонских казаков. Утверждение автора по данному вопросу не претендует на научность, однако, по мнению ряда старожилов исследованной местности (села по течению реки Хворостань — в большей мере жители нескольких улиц села Дракино и поселка Давыдовка), они говорят частично «по-казачьи». До сих пор в разговорной речи вместо «и» употребляют иногда «ы»: например, вЫшня, вместо вишня. Сходное произ-



ношение характерно для украинского произношения, произошло ли заимствование напрямую от потомков украинских переселенцев или от казаков, сейчас уже трудно сказать. Вместо «щ» и «сч» почти всегда употребляют двойной звук «ш», например: братишша, дружишша, пешшинка (песчинка), штука, (щука), ишшо или ишто (еще).

Подобное звучание характерно также для талагаев. Однако звучание более твердое, чем у жителей, например, села Бодеевка (где в основном проживают потомки талагаев). В деепричастиях вместо «в» почти всегда употребляют «м»: наемшись напимшись, помолимшись и т. д. Вместо «в» часто произносят «л», например: ослобонить, тыкла (тыква): «б» вместо «г»: постебать (постегать): южнее вместо «ф» всегда «хв» — хворма, хварсить, ахвицер, Хведор, Хвилипп, Хвома и т. д.; предлог «с» заменяется частицей «сы», «са», «со»: сы друзьями, сы знакомыми или са друзьями. В некоторых словах приставляют или вставляют звук «о» или «а»: алимон, агромадный, пошено или пашено (пшено), пашаница (пшеница), кором (корм). В грамматическом отношении все существительные делятся только на два рода, мужской и женский, среднего же рода нет. К существительному среднего рода прилагают местоимение в женском роде, например: кому какая дела, кому какая счастья. Также говорят: куриная яйцо, жаркая сонца (солнце), разбитая окно, теплая пальто, гнилая яблоко или яблока.

Кроме того, в языке сохранились «казачьи слова»:

Анадысь — намедни, на днях;

Анчибел — нечистый дух;

Анчутка — чертенок;

Баз — двор;

Байрак — овраг;

Бусорь — дурь, глупость;

Кильдим — беспорядок иногда кладовка;

Повечерять — поужинать;

Рази — разве;

Расстебивать — расстегивать;

Расхлебенить — отворить настежь;

Ружо — ружье;

Рукомесло — ремесло;

Скиперда — злость;

Тю! — восклицание, возмущение, удивление;

Щикилять — хромать;

Хантурник — бездельник, отсюда шляться по хантурам (бездельничать);

Корец — ковш;

Кутенок, кутик — щенок, и другие.

Некоторые элементы казачьей культуры хранит и наша земля. Краеведом Валентином Изюмцевым найдены предметы материальной культуры казаков: пуговицы, части конской упряжи, нательные крестики, награды и др., которые хранятся в фондах Лискинского историко-краеведческого музея.

Каким образом казаки имеют отношение к лискинской территории?

Земля Войска Донского находилась в непосредственной близости к Воронежской губернии. Разумеется, существовали культурные связи.

К тому же часть населения современного Лискинского района — это потомки талагаев, а в языковом отношении они близки казакам.

Есть краеведы, считающие, что на территории нашего края проживали переселенцы из Верхнего Дона. Свои умозаключения они делают на основании работ Е. Савельева и В. Тагищева. Авторы книг «Древняя история казачества», «Лексикон» пишут о станице Новогорье, которая располагалась «на левом берегу Дона

при устье реки Игорец, выше Колыбелки 12 верст, ниже Дивногорского монастыря...» Также в непосредственной близости находились станица Усть-Битюцкая (на р. Битюг) и Белогорска (на р. Дон, вблизи Белогорского монастыря).

Источников для изучения ранней истории нашего края, так же, как и по истории казачества этого периода, недостаточно. Вопрос требует дальнейшего изучения.

## ЕСТЬ ДАЖЕ СВОЙ СЛОВАРЬ

Таким образом, в говорах различных локальных групп населения современного Лискинского района отмечаются определенные особенности, но в целом культура таких групп не выбивается из общих южнорусских традиций. Следует отметить общность традиционной культуры южнорусского сельского населения, ассимилировавшей разнообразные элементы традиций различных групп местного и пришлого населения. Уже в начале XX века А. Путинцев отмечал, что, несмотря на различия в быте все жители по реке Хворостань имеют один общий — «акающий» — говор, с различными поднаречиями цуканско-талагайского наречия. В целом данный тип говора характерен для всего Воронежского края, что отличает жителей этой местности от соседей.

Особенности произношений названий сел в цуканском и талагайском говорах: «ХвАрастань» — Хворостань, «АношкинА» — Аношкино, «БадеИвА, БадеИвка» — Бодеево, «МашкинА» — Машкино, «ТрисарукАвА, ТрушкинА» — Тресоруково, «МитяИвка, АтрепкинА, МитриевскАЯ» — Дмитриевское, «ДракинА» — Дракино, «ДавыдАвка» — Давыдовка.

Характерной особенностью в произношениях данной местности также является замена звука «и» на «ы». Например: «Мы дракЫнские», «мЫкароны» и др.

В 1904 году А.М. Путинцев составил цуканско-талагайский словарь.

В ходе исследования современного говора местных жителей удалось установить, что некоторые из слов того словаря продолжают использоваться в современной разговорной речи.

В словаре А.М. Путинцева содержится 350 слов, из них в современном языке продолжают употребляться — 92.

### *Словарь цуканско-талагайских слов, употребляемых в речи современных жителей сел по реке Хворостань*

- Аборка — кусок веревки, обрывок, сборка на женской одежде;
- Абъягорить — обмануть, надуть;
- Аграмадина — огромный, большой;
- Акатитца — разрешиться от бремени (об овце, кошке);
- Амшаник — место для пчел на зимнее время;
- Апосья — после;
- Атцеда — отсюда;
- Бакча — посева арбузов, дынь, огурцов;
- Батя, батяня — отец;
- Борав — самец свиньи;
- Брухатца — бодающийся (бычок), бодаться;
- Брухучий — бодающийся;
- Брюхатай — пузатый, толстый; брюхатая — беременная женщина;
- Бугор — невысокий холм, иногда — кладбище;
- Бузавать — бить, рвать;
- Валандатца — водиться, связываться;

Ватага — стадо овец, иногда — толпа;  
Виски — волосы;  
Втупор, втупрошь — тотчас;  
Выган — место для выгона скота, иногда пустое место;  
Вядьмень — медведь;  
Вдарить — ударить;  
Вострай — острый;  
Гандабить — городить, сооружать временное строение, ремонтировать;  
Гаять — кричать, звать, но чаще — ругать или сплетничать;  
Гладать — обгрызать (кости);  
Грядушка — спинка кровати;  
Гутарить — говорить;  
Дирбулызнуть — сильно ударить;  
Диликать — петь;  
Дражнитца — дразниться, обзывать;  
Дык, дак — так;  
Ерипентца — задирается, сопротивляется;  
Егоза — вертлявый, непоседливый;  
Жировать — весело, привольно жить;  
Замалаживать — засинеть небу;  
Заосенять — захолодать;  
Зьвездануть — сильно ударить;  
Звязло — ругающийся человек;  
Злыдень — злой человек;  
Изуметь — суметь;  
Ишшо — еще;  
Камолай — безрогий;  
Карга — старая женщина (ругательное);  
Капна — куча сена;  
Канапатай — покрытый веснушками;  
Касюнек — жеребенок;  
Кочит — петух;  
Куралесить — проказничать, бездельничать;  
Кухвайка — безрукавная одежда (теплый жилет);  
Кучурявый — кудрявый;  
Лапчатый — имеющий лапы;  
Лапух — растение с большими листьями;  
Лапша — крошеное пресное тесто, сваренное на каком-либо бульоне;  
Лаханка — большой сосуд (изначально для корма скота);  
Лихаманка — простуда на губах, герпес, иногда любая болезнь;  
Лодырь — бездельник;  
Лохмы — клочья, тряпки;  
Лунка — небольшая круглая яма;  
Лупить — бить;  
Лытка — нога от ступни до колена;  
Мга — мелкий дождь;  
Маладытина — молодое мясо, зелень;  
Малюсенький — маленький;  
Масол — кость;  
Матьня — место соединения брюк;  
Мурлатый — крупнолицый;  
Никчамушный — никудышный;

Набойкя — часть каблука;  
Невдамок — неизвестно;  
Нутряной — внутренний;  
Поболить — подрасти;  
Пулять — бросать;  
Разбитной — смышленный, бойкий;  
Сиверка — холод;  
Склыка — спор;  
Тараторка — болтун;  
Тюлюкать — стыдить;  
Узвар (взвар) — компот из сухофруктов;  
Хвароба — болезнь, «захварал»;  
Хмарной — хмурый, туманный;  
Чемер — болезнь, чаще у животных;  
Чижолай — тяжелый;  
Чирий — нарыв;  
Черпак — ковш;  
Чиряпушка — глиняная чашка;  
Шалапай — бездельник;  
Шлятца — ходить без дела;  
Шшоки — щеки;  
Юркай — шустрый, быстрый;  
Юшка — навар, уха;  
Ядьренай — крупный.

Таким образом, в современном языке населения Лискинского района сохраняются некоторые особенности говора предков, что является отражением народной памяти. И если некоторые устаревшие слова продолжают использоваться, значит, они более емко могут обозначить события нашей жизни, чем их современные аналоги. И, следовательно, устаревший говор до сих пор является отражением этнокультурных традиций.

\* \* \*

Итак, в речи современных жителей ряда сел Лискинского района по течению реки Хворостань сохранились отдельные элементы цуканского и талгайских говоров, присутствуют незначительно «хохлацкий» и «казачий». Сохраняются в быту и устаревшие слова, употребляется около 40 процентов слов, которые были характерны для данной местности еще 100 лет назад. Однако особенный народный говор все больше уходит в прошлое, так как молодое поколение старается «говорить культурно», то есть на литературном русском. Особенно в селах с развитой инфраструктурой, а в последнее время с развитием сотовой связи и интернета — повсеместно. К тому же сказывается род занятий, все чаще жители села работают за пределами того места, где живут, и, соответственно, стараются говорить «правильно», чтобы не прослыть «деревенщиной». Уникальный говор пока еще можно встретить в отдаленных селах и чаще среди пожилых людей. В связи с этим возникает острая необходимость организации экспедиций с целью исследования говоров. Только так мы сможем сохранить для потомков удивительную магию старых слов, неповторимую музыку народной речи. Главное, не опоздать. Ведь может стать, что спустя несколько лет это станет невозможным.

*Использованная литература:*

1. Бережной А.А., Ракитин А.С. О заселении бассейна реки Хворостань // Из истории Воронежского края. Сборник статей. Вып. 19. — Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2012. — С. 14-27.
2. Винников А.З., Дынин В.И., Толкачева С.П. Локально-этнические группы в составе Южнорусского населения Воронежского края // Вестник ВГУ. Серия Гуманитарные науки. — 2004. № 2. — С. 87-96.
3. Второв Н.И. Типы Воронежской губернии // Воронежский юбилейный сборник в память трехсотлетия г. Воронежа. — Воронеж: Типо-Литография Губернского правления, 1886. — Т. 2. — С. 283-294.
4. Губарев Г.В., Скрылов А.И. Казачий словарь-справочник // enc-dic.com/cossack/Jazk-kazachi.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., 1882. — Т. 4. — 704 с.
6. Заскалкин И.В., Пешехонова Н.М. Троицкое — моя малая родина // И.В. Заскалкин, Н.М. Пешехонова. — Воронеж, 2012 — 284 с.
7. Зеленин Д.К. Талагаи и цуканы // Памятная книжка Воронежской губернии на 1907 год. Воронеж, 1908. — С. 1-28.
8. Изюмцев В.И. Крестики, пуговицы, керосиновая лампа // Петровская слобода. — Вып. 6. — Лиски, 2013. — С. 45-47.
9. Кулаков В.М. Откуда есть пошло казачество лискинское // Лискинская газета. — 21-27.02.2001 г. — С. 9; 28.03.-3.04.2001 г. — С. 4.
10. Путинцев А.М. Материалы для изучения воронежских говоров. Опыт цуканско-талагайского словаря // Памятная книжка воронежской губернии на 1905. Воронеж, 1905. — С. 13-32.
11. Путинцев А.М. О говоре в местности «Хворостань» Воронежской губернии // Памятная книжка Воронежской губернии на 1909 год. Воронеж, 1910. — С. 197-210.
12. Савельев Е. Типы донских казаков и особенности их говора. — Новочеркасск, 1908. — 15 с.
13. Ферронский И. Хворостань (Очерки из истории колонизации края) // Воронежская старина. — Вып. 7. — Воронеж, 1908. — С. 271-275.
14. «Хохлацкий говор» — архив музея МКОУ Троицкая СОШ.



## **УРЯДНИК ПИСАРЯ ОБОЗВАЛ СВИНЬЕЙ**

(Архивный документ рассказал о нравах)

История полна не только событий, важных и разных, но и анекдотов. Это всевозможные случаи из реальной жизни, нелепые и абсурдные, грустные и смешные. Исторические анекдоты нередко становятся даже сюжетом литературных произведений. Но чаще всего их передают из уст в уста как весьма поучительные байки.

История, заинтересовавшая нас, тоже носит весьма анекдотичный характер, но основана на вполне действительных фактах, которые в течение года в изложении губернских газет будоражили общественность не только одной из уездных волостей, но и волновали многие губернские умы, охочие до острых сюжетов.

Недавно в Государственном архиве Воронежской области мне попало в руки одно любопытное дело. Персонажи, представленные в нем, ничем примечатель-

ным не прославились, но по какому-то стечению обстоятельств сохранился документ, а значит, в «историю они все-таки попали». Много времени прошло, а то, что случилось около 135 лет назад, и сейчас по-своему актуально.

Произошло все это в Новохворостанском волостном центре Коротоякского уезда, в селе Давыдовка (сейчас п.г.т. Давыдовка). Развитие его во многом предопределило строительство железной дороги. С 70-х годов XIX века село стало развиваться весьма динамично, настолько, что кирпичное строительство в нем размахнулось вровень с некоторыми из уездных центров. Здесь находились промышленные и торговые заведения, а также волостное правление, почтовая станция, школы, церковь, фельдшерский пункт, участок станового и т.п.

17 августа 1881 года в 9 часов вечера приключилась здесь одна история. Версий случившегося несколько.

Одна из них от пристава 1-го стана (из его рапорта на имя губернатора):

Полицейский урядник 1-го участка Гриценко по просьбе жандармского унтер-офицера Меченева сопровождал арестованного крестьянина Петровской волости Гаврила Григорьева под арест в Новохворостанское волостное правление. Волостной писарь Новохворостанского правления Чефранов, будучи в пьяном виде, начал с урядника требовать постановления, между ними вспыхнула ссора, в результате которой писарь ударил урядника по лицу. Чтобы разобраться в указанном происшествии, приставом было произведено 23 августа дознание, а дело о случившемся передано в Коротоякское уездное по крестьянским делам присутствие. Открылись следующие обстоятельства дела: свидетели происшествия — Иван Березин (сторож волостного правления), его сын, Сергей Строгонов (десятник волостного правления), Павел Харин (служащий при пожарном обозе) — дают уклончивые показания. Причем, предполагается, что свидетели находятся под давлением писаря, в связи с их службой в волостном правлении. Чефранов прежде волостного правления служил письмоводителем у предводителя дворянства Савелова, в то время, когда тот был мировым судьей, тот оказался недоволен службой Чефранова («за его безобразия», дерзость и отсутствие прилежания). На нынешней должности часто находится в пьяном виде, а также нарушает закон (использует свое положение в корыстных целях). Например, пишет на обороте бланка волостного правления в питейное заведение об отпуске ему бутылки вина, зная, что содержатель заведения не имеет свидетельства на продажу спиртных напитков на вынос. Знакомство он ведет в Давыдовке с тамошними учителями, священником, а также зажиточным крестьянином Ракитиным (это вовсе не преступление! — М.М.) Отношение его с крестьянами самые неблагонамеренные, что видно из жалоб, например, крестьянина Жученко. Пристав отмечает еще раз, что Чефранов личность «неблагонамеренная, дерзкая, пьяная» и он ни в коем случае не должен служить на такой должности, «особенно как Новохворостанское волостное правление». Далее добавляет — «только снисходительное отношение господина предводителя дворянства могло предоставить ему занимаемое место» (хотя с чего, если Чефранов служил у него плохо — М.М.) 27 августа из уездного по крестьянским делам присутствия дело передали для вторичного дознания Новохворостанскому волостному старшине, однако до начала ноября результатов дела так и не было достигнуто.

Версия служащих Новохворостанского волостного правления подробно изложена в «Воронежском телеграфе» 7 октября 1881 года от имени волостного старшины Мартина Сморгочова.

Это опровержение на вышедшую статью в газете «Дон» №96 «О столкновении в с. Давыдовка писаря с урядником». Старшина пишет, что он не попал в число опрошенных, т.к. во время происшествия отсутствовал. Корреспондентом газеты «Дон» было написано, что «в Новохворостанской волости вообще все навыворот, старшина там на посылках у писаря, а писарь в роли старшины и делает все, что

зародится в его расстроенной голове». Старшина, возмущенный этим утверждением — «неужели он думает, что тем самым унижил писаря, напротив, он возвысил его, а меня унижил, сравнив с десятником, который только и избран лишь затем, чтобы исполнять приказания». Но, думается, это сделано лишь затем, чтобы настроить старшину против писаря. По результатам личного дознания старшине стало известно следующее. Федор Березин, служащий при волостном правлении, помогал уряднику довести арестованного, он показал, что «урядник дорогой пихал арестованного, тот падал и кричал, на крик сошлось немало народу, а волостной урядник первый обозвал писаря свиньей и, выгоняя его, кричал: «Пошел вон!» Писарь никаких оскорблений уряднику не делал, а лишь потребовал у него постановления, т.к. в волостном правлении без этого документа арестованного нельзя содержать. В то время когда писарь пытался доказать уряднику свою правоту, он размахивал руками и нечаянно дотронулся до лица урядника. При этом писарь был совершенно трезвый (так ли это, вопрос спорный, старшина сам не видел — М.М.) Сам же урядник вел себя весьма оскорбительно: на крыльце он распихал служащих, десятника даже столкнул с крыльца. На шум из канцелярии выбежал писарь. Назвав урядника по имени-отчеству, он вежливо попросил у него документы на арестованного (зная нрав писаря, все могло быть не так. — М.М.) А урядник же в ответ обозвал его свиньей и стал прогонять писаря. Был ли при этом урядник пьян, не понятно. Причем случай безобразного поведения урядника не единственный, к тому же действие совершено не по закону, он арестовывал людей и не составлял необходимых документов, и в итоге их приходилось выпускать волостному правлению, кроме того, в то время, пока они содержались в волости, приходилось их кормить своим хлебом. Факты, изложенные в газете «Дон», фальсифицированы, причем это уже повторяется неоднократно. Старшина пишет, что это последнее опровержение написанного, далее последует заявление в суд на корреспондента и газету...

Таким образом, если кратко, обстоятельства дела с разных позиций выявляют факт превышения полномочий с обеих сторон. Урядник не предъявил необходимых бумаг, а писарь слишком уж рьяно не уступал уряднику. Причем интересно, что несмотря на сомнительность репутации, писарь вполне имел право не пускать урядника с арестованным в волостное правление без соответствующих бумаг. При этом размахивать руками было совсем не обязательно, но тут уж дело в личном темпераменте. И так уж вышло, что у урядника темперамент был тоже «итальянский». И вот один не уступил другому.

Разбирательства дела продолжались год, открывались новые черты личности писаря, главным из которых было то, что он дружил с теми людьми, которые могли способствовать его нахождению на службе (дворянином Троцким, который в то время возглавлял Куротоякское по крестьянским делам присутствие), с рядовыми крестьянами он не церемонился: рожь отнимал, требовал взятку, ругался матом, однажды ударил сельского старосту с. Дракино и т.п.; вел веселый и разгульный образ жизни. Например, в одном из рапортов написано свидетельство местного начальника почтовой станции о том, что Чефранов неоднократно требовал везти его на почтовых лошадях к «даме сердца» писаря по имени Надя в соседнее село Дракино. А также требовал вина прямо в волостное правление, для распития его там. В деле присутствует записка в питейное заведение, датированная августом 1881 года. Однако как бы личность писаря ни была опорочена, на обстоятельства дела это не повлияло, так как к конкретному случаю отношения не имело. И в ноябре 1882 года обвинение с писаря было снято.

Вот так обычная сцена реальной жизни по прошествии многих лет стала историческим анекдотом, мораль которого поучительна и для нас: чтобы не вляпаться в историю, надо задуматься о своем поведении в той или иной ситуации.



Валерий Бубельник

## У ЛЫСОЙ ГОРЫ

(Топонимика приоткрывает  
исторические тайны)

**Л**едяная вода до сих пор не прерывает здесь свой чистоплотный бег. Если не жалко — тут можно помыть ноги. Если не брезгуешь — утоли родником «Абрамкой» жажду, благо струи рукоплещут прямо из подножия Лысой горы, питая убогую ныне речушку Лыску.

Первое упоминание о ней — речке Лыске — в «Книге Большому чертежу», пояснению к несохранившейся карте России, созданной в 1627 году. «А ниже Тихие Сосны (тоже речка, весьма прозрачная и рыбная до последнего времени — В.Б.), 20 верст, пала в Дон речка Лыска с Крымской стороны, протоку речка верст с двадцать» — объясняли первые добросовестные исследователи.

Ее авторами двигали еще некоммерческие интересы, поэтому смело можно верить, что Лыска работала правым притоком Дона и было в ней все вплоть до рыбы. Представьте: холеная рыба безнаказанно жирела, плодилась и размножалась. Дикие места!

Но не надо думать, будто местность сия в силу запущенности и необжитости стала приютом ведьминых утех, справляющих нужду шабаша на Лысой горе. Ведь в селе Лиски и сейчас не больше, чем везде. А гора была прозвана так за неприличное отсутствие всякой растительности. Тогда еще не родились Мичурины, способные взрастить злак на неплодородном мелу. Кстати, и поныне местные огороды на треть состоят из мела, измельченного трудом предшественников и унавоженного колорадскими жуками. А обжиться эти лакомые земли начали в 1698 году. Люди острогожского полковника Федора Куколенка (Куколя) стали по-соседски навдываться сюда, возвращаясь домой с возами сена и рыбы. Коекому эти соседские набеги стали как кость в горле.

В 1699-м в будущем селе произошло знаменательное событие. Воронежский митрополит Митрофан, будучи человеком вполне земным и практичным, выпросил эту землю у царя Петра. Царь рассудил здраво: неча добру пропадать, и подписал соответствующие документы. В том же году по царскому велению, митрополита хотению на «порозжей земле на крымской стороне за речкой Лиски» были поселены немногочисленные крепостные. Так что село Лиски уже давно отпраздновало свое трехсотлетие.

Однако Лиски (Лыски) — не девичье название села. Изначально деревушка жила под именем Петропавловки — в честь святых Петра и Павла. Таким образом, дипломатичный митрополит Митрофан возлюбил одновременно царя, сына



и святого духа. Что, впрочем, не помешало ему обмануть царя, сообщив тому, что земля — «порозжая», т.е. ненаселенная.

Между тем, скромного количества «первых» поселенцев явно не хватало для крестьянского и иного поприща. И в 1715 году новый митрополит Пахомий обращается к графу Апраксину: «Прошу вашей светлости милостливого повелительного указа в вотчинах наших на речке Лиске о поселении в оных людей черкас для самой крайней нужды, понеже посторонние в оных отчинах великую обиду чинят, леса рубят, рыбу и зверей ловят».

Граф Апраксин заведовал текущими делами в Воронежском крае, и, очевидно, у него имелись более неотложные проблемы. Поэтому только после повторной просьбы в 1716 году крестьяне были выделены в необходимом количестве. А уже через год здесь построилась Петропавловская церковь. Деревня перешла в ранг села и стала именоваться: Петропавловское, Лиски тож.

Из истории мы знаем, что двоевластие, пусть даже и в названии, непременно завершается какой-либо гадостью. Двадцать девятого апреля 1803 года деревянная церковь сгорела.

Но прихожане не остались без слова Божьего. Возле нынешней лисянской больницы был воздвигнут новый кирпичный храм. Перестраховываясь от гнева всевышнего, его назвали Троицким. После этого уже не имело смысла оставаться Петропавловкой, и за селом окончательно закрепилось «речное» имя.

Село Лиски — понятие емкое. В его состав входит ряд неофициальных территорий. На юге селения расположились районы «Верба» (ул. Ленина), «Край» (улица Советская) и «Долгая» (ул. Первого мая).

«Верба» до сих пор знаменита одноименными деревьями. Рассказывают, если у крестьянина рождался сын, отец высаживал рожицу верб, и когда чаду приспичивало жениться, из подростшей древесины рубилась изба. У «Верб» находится, кстати, и родничок «Абрамка», с которого «есть пошла» речка Лыска. А все это место зовется «Крынычки».

На «Краю» проживали краяне. Хоть их хаты и с краю, они полноценно участвовали в сельских буднях и праздниках. Потому что именно здесь подставляли ветру крылья две мельницы.

«Долгая» же была прозвана так за непомерную вытянутость (длину) яра, являющегося к тому же улицей. Во время последней войны мадьяры выстроили для себя на «Долгой» маленький госпиталь.

Следующий негласный район — «Загребля» (улица Зеленая) — происходит от слова «гребля» — насыпь, какую использовали для прохода и проезда разные условия. «Греблю» ежегодно гатили меловым кирпичом (хрящом) и соломой.

На теперешней улице Советской процветают «Шпарыш», «Могилянка» и «Замощанка». На той же улице пытается выделиться в автономию некая «Голопузковка». Но пока для такого события маловато исторических предпосылок.

«Шпарыш» получил имя по мелкой травке спорыш, коей охотно набивает желудки домашняя птица и по которой так хорошо пробежаться босиком. Роса на спорыше издревле располагала к закаливанию. Не случайно неподалеку лечатся теперь пациенты Лисянской больницы. Кстати, само здание больницы — заслуга деятельного купца Базика, имевшего в данном здании личный магазинчик, а в магазинчике — все, что крестьянской душе угодно: керосин, деготь и прочие бытовые радости.

Позже к бывшему магазину бывшего купца пристроился клуб, потом начальная железнодорожная школа, сельсовет. Мог ли мечтать Базик о таком?!

В «шпарышские» владения входила и Троицкая церковь. До революции тут служили отец Василий (прописанный на «Качальне») и отец Тихон, имевший дом неподалеку от церкви. Любопытно, что, когда харьковская железная дорога от-

секла Василию прямой путь к церкви, никакого инцидента не случилось. Путьцы, причинившие ему неудобство, сами же и исправились, соорудив священнику специальную лестницу.

При Троицкой церкви работала приходская школа, где обучались до четырех классов. Чуть в стороне обосновался пожарный сарай. Горели часто. Поэтому держали обществом лошадей и пожарных.

В 1928 году лихой пожар слизал сорок пять дворов. Ураган нес головешки до самого Шатрища. Неподалеку от 672 километра южной ветки ЮВЖД звенела в труде одна из кузниц под руководством хозяина Базилевского.

Следующий район по ул. Советской — «Могилянка» — именован так за тесное соседство со старым кладбищем. Про «замошанку» же существует два объяснения: те, кто живет за мостом, и второе — те, кому повезло построиться за кладбищем, т.е. за «мощами».

Особняком стоят теперь «Деревушка» (ул. Пролетарская), «Базарянка» (ул. Комсомольская) и «Качалына» (ул. Красных зорь). Они отделены от остального села железнодорожными линиями «Харьков-Балашов» (1895 года постройки) и «Москва-Ростов» (1870 года постройки). Донской песок для насыпи возили на подводах нанятые цыгане.

«Деревушкой» территория села называется с тех пор, когда харьковская железная дорога поставила его в обособленное положение, отрезав, как кусок от целого пирога.

При строительстве дороги в «Деревушке» произошел курьезный случай. Жителю «Деревушки» крестьянину Давыденко приглянулся рельс. На другой день путьцы обнаружили пропажу и вызвали жандармов. Жандармы профессионально взяли след и взяли Давыденко с поличным. Возник естественный вопрос о сообщниках: а как иначе можно было доставить к дому многопудовую железную полосу? На жандармское недоумение мужик ответил так: подошел, взял и унес! Желая тут же изобличить крестьянина во лжи, стражи правопорядка попросили провести следственный эксперимент. Давыденко ничего не сказал, взгромоздил рельс себе на спину и отправился на «место преступления». Потрясенные жандармы позволили оставить нужную вещь в личном хозяйстве.

На «Деревушке», в садах, сердобольная купчиха содержала богадельню. На ее счет молилось человек двадцать больных и сирых.

А в имени «Базарянка» скрыт торгово-закупочный смысл. Базарянка представляла идеальное место для торжищ — ровная круглая площадь. Именно отсюда и начало развиваться село.

В престольный праздник «Трех святых», 12 февраля, на «Базарянку» съезжалась ярмарка. Мяса, как правило, не возили — своего хватало. Зато выставляли на продажу прялки, гребни для конопли, скалки, рубели, качалки и т.п., организовывались карусель и нищие с шарманками. Любители сладкого разговлялись: конфеты, пряники. Здесь же пригрелся трактирчик (дом, увы, не сохранился), где мужички собирались водить разговоры, выпить рюмку или чаю по потребности.

На «Базарянке» располагалось и волостное правление, где свершались неприятные во все времена чиновничьи акты.

В волость платили подушные. До революции — три рубля в год. В Лисянской волости Острогжского уезда числились Залужное, Христики (Екатериновка), Ковалево, Пухово, Переезжее. На местах же порядок и благолепие обеспечивали старосты, выбиравшиеся на собрании мужиков. Не выполнить указание старосты было чревато: придет и побьет, невзирая на возраст и состояние нервной системы.

Последний район — «Качалыну» — отличала крутая гора, спускавшаяся к нынешнему железнодорожному полотну. Обе версии происхождения названия

имеют в своей основе сильный глагол «качать». Первая: на «Качалыне» приходилось добывать воду путем выкачивания ее из скважин. Вторая и самая вероятная: имя получилось от частого падения ездовых во время путешествия с горы. Лошади пугались, опрокидывали повозку, «катились».

На «Качалыне», напротив кладбища, обосновалась больница. Воздух, как в Ницце, сады и вид с перспективой. Заведовал больницей хирург Владимир Матвеевич Ковалевский. А до революции здесь занимался благородным делом его брат, Матвей Матвеевич, уехавший потом в Москву на профессорскую должность. Отец братьев был помещиком.

Больница имела государственный статус, а посему работала бесплатно. «Стационар» вмещал 20-30 коек. Что характерно, пациенты кормились по-настоящему. При заведении содержалось собственное замечательное хозяйство. Тут же, на «Качалыне», вращала жерновами еще одна мельница.

...Речка Лыска испокон не могла похвастать глубиной и шириной. Водилась в ней в основном селявка. Зато на озерце, где росли вербы, а теперь набирает силу свалка, мужики ставили сети под чехонь и леща. А зимой на это место сходились биться на кулачках. Соперники по ристалищу прибывали из Залужного. Иногда Залужное и Лиски объединяли мощь и выходили на лед Дона хлестаться с Новопокровскими.

Начинали всегда бойцы детсадовского возраста. Потом в дело вступали обиженные отцы, соскучившиеся по острым ощущениям. А там, кряхтя, впадали в молодость бородатые старики.

До сих пор жива в Лисках память об Иване Таранове, уроженце «Базарянки», обладавшем великими силовыми возможностями. Едва Иван показывался на поле брани, соперники сразу чувствовали, как почва вылетает у них из-под ног.

Острое чувство локтя и посторонней челюсти заменяло прежним мужикам пиво и телевизор. Но снятие стресса происходило по гуманным законам: лежачего не бить, железо в рукавицу не совать!

Однако благородные правила не распространялись на пойманных разбойников. Зачастую их просто убивали.

В 1917 году селу Лиски активно мешала строить будущее банда некоего Кожушкина. Сам он любил оставлять в зажиточных домах записки аналогичного содержания: «Положите энную сумму в такое-то место. В противном случае, ваша жизнь ничего не стоит!» И подпись.

Однажды приходят парни Кожушкина во главе с атаманом в назначенное место, а там вместо банкнот сидят очень злые мужики, вооруженные орудиями труда.

Атаман моментально смекнул, что дело пахнет уголовкой, и рванул в бега. Но на голову ему обрушился народный гнев в виде лопаты, и атаман предстал перед судом Божьим. Хоронить его не позволили. Не ведающие христианства собаки растащили тело.

Судьбу Кожушкина в разное время повторили бандит Селиверстов, уроженец «Качалыны», и Оська Плужников со «Слободы». Последнего нашли мертвым в «бахшевом» лесу, у «Деревушки», где раньше сажали арбузы.





**Александр Беззубцев**

## **ГДЕ ГРАНИЦЫ ИКОРЕЦКОЙ ВЕРФИ?**

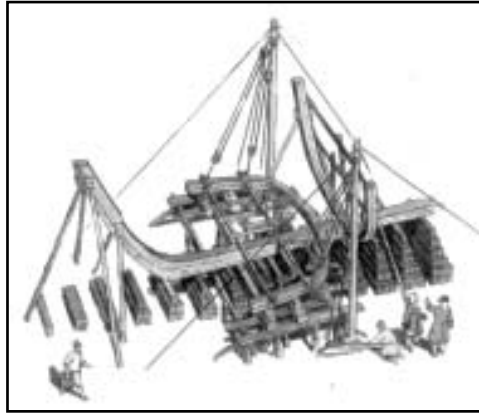
**И**стория Воронежского края богата событиями и историческими памятниками. О многих хорошо известно, другие требуют возвращения из небытия. Одним из таких вопросов является вопрос строительства русского флота на Воронежской земле. О том, что Воронеж — родина регулярного русского флота на Черном море, факт общеизвестный. А вот то, что масштабы флота Воронежской и Тавровской верфями не ограничиваются, знают не многие, в основном, специалисты.

Наш край для строительства кораблей был выбран не случайно: берега рек покрывали вековые дубовые, сосновые и липовые леса. Близки были липецкие запасы железных руд, из которых можно выплавить пушки и ядра. Реки Воронеж, Дон, Икорец во время половодья были вполне судоходны, удобные речные пути являлись прямой дорогой от Воронежа до Азова, а местное население уже имело опыт строительства речных судов. В селах и городах было множество знающих свое дело плотников, смолокуров, канатчиков. После взятия Азова в 1696 году Петр Алексеевич замыслил в самый короткий срок создать большой и могучий флот. 20 октября 1696 года Боярская дума приняла важное решение о строительстве Военно-морского флота в Воронежском крае — «Морским судам — быть!» — и эту дату принято считать датой основания военного регулярного флота России. В декабре 1696 года Петр I приказал «на Воронеже делать Адмиралтейский двор». А уже в начале XVIII века корабельные верфи появляются на реках Осередь, Икорец, Хопер. Появление и расширение границ корабельных верфей на территории Воронежского края связано с попыткой укрепления России на берегах Черного моря. Икорецкая судостроительная верфь являлась малой колыбелью, где рождались корабли, проходили выучку солдаты и моряки, принесшие славу России. Давно забытое вспоминается трудно.

В первое десятилетие XXI века воронежскими историками и краеведами сделано немало для возвращения из небытия корабельных верфей на территории Воронежского края, существовавших в конце XVII-XVIII веков. В том числе и по истории Икорецкой верфи, поисками которой занимались воронежские и лискинские энтузиасты-краеведы на основании архивных материалов: В.И. Расторгуев, И.А. Афанасьев, В.А. Изюмцев, Н.И. Сафронов, Н.И. Жапарина, руководитель краеведческо-археологического центра «Икорецкий», преподаватель кафедры «Археологии и истории древнего мира» ВГУ, кандидат исторических наук И.Е. Са-



Фрагмент старинной карты  
с Икорецкой верфью



Постройка корабля

фонов, доцент кафедры «Истории России» ВГУ, кандидат исторических наук О.В. Скобелкин, ветеран морского флота В.С. Левшунов.

Информацию об Икорецкой верфи по крупицам собирал в Морской библиотеке и Музее Черноморского флота бывший командир боевой части большого десантного корабля Черноморского флота Ю.В. Лисовский. Он совместно с В.С. Левшуновым выработал концепцию особого значения Икорецкой верфи, как морского форпоста на юге России. В ходе исследований удалось восстановить хронологию функционирования судовой верфи, где особо выделено три периода: 1709-1711, 1737-1739, 1768-1770 годы. За короткий период своего существования ее корабли и флотоводцы неоднократно прославили Россию. Только один фрегат «Модон», ее строитель и флотоводец Ф.Ф. Ушаков, чего стоят!..

Сегодня уже не надо доказывать того, что верфь внесла большой вклад в создание Азовской флотилии, которая стала ядром Черноморского флота России. Не прошли даром архивно-исторические и литературные поиски, споры. Значительную роль сыграли книги авторов по истории кораблестроения на верфях Воронежского края. В этом вопросе больше всех заслуживают одобрения работы капитана 1-го ранга в отставке В.И. Расторгуева. Все эти архивные поиски привели к тому, что в распоряжении историков и краеведов оказалась уйма документов, карт, схем, указов, касающихся Икорецкой верфи, а также о деятельности великих флотоводцев XVIII века, связанных с нею — А.Н. Сивявина и Ф.Ф. Ушакова. Удалось найти чертеж 24-весельной казачьей лодки, выполненный известным галерным мастером Андреем Алатчаниновым. В ходе русско-турецкой войны 1735-1739 гг. на двух Воронежских верфях была построена 581 такая лодка: 100 — на Тавровской и 481 — на Икорецкой. Кроме чертежей казачьей лодки, были найдены чертежи 44-пушечного прама (плавучей артиллерийской батареи). По этому чертежу в 1769 году на Икорецкой верфи построили 5 прамов.

Особый интерес для исследователей представляло выявить местонахождение самой верфи, ее границы, строения, количество строителей, их быт. Для этого нужно было предпринять полевое исследование. Его организовали в 2003 году, когда проводился третий районный слет юных археологов, под руководством научного руководителя И.Е. Сафонова и автора этих строк. Во время масштабных раскопок кургана была проведена первая разведка по определению границ Икорецкой верфи, после чего двенадцать лет назад началась ежегодная полевая работа на месте предполагаемого расположения верфи. В результате трех полевых се-



Памятный знак в с. Нижний Икорец

доков помимо данных археологии подтвердилось картой 1769 года, на которой в указанном месте располагались прамы.

В 2007 году памятный знак был установлен, но это не было венцом исследований, а только подогрело интерес исследователей. К несчастью, не только краеведов, но и «черных копателей», количество которых все возрастало и возрастало, и оснащены они подчас лучше людей науки.

С 2008 года по сегодняшний день исследована территория между селами Нижний Икорец, Масловка, Духовое, а также место расположения санатория имени Цюрупы. Найденные материалы позволяют сделать выводы о том, что верфь располагалась на огромной площади, территория ее в разные годы существования то расширялась, то уменьшалась. Благодаря поискам удалось также установить, что в работе верфи были задействованы жители двух сел на берегу реки Икорец — Среднего и Верхнего Икорца.

Для более точного определения границ судоверфи, необходимо продолжать поиски в архивах, а также на месте ее расположения. В 2014 году юные исследователи археологического центра «Икорецкий» провели три дня на берегу реки Икорец и нашли большое количество предметов, относящихся к исследуемому периоду, в том числе на месте варварских раскопок «чернокопателей», которые в июне, вскрыв масштабные площади и забрав монеты времен императрицы Анны Иоанновны, бросили большое количество менее ценных предметов материальной культуры.

Большая работа, которая позволит нам узнать многие тайны Икорецкой верфи, еще впереди. А то, что это произойдет, сомнений нет — краеведы и исследователи не планируют останавливаться на достигнутом. Поиски истины будут продолжены.

зона юные археологи обнаружили остатки материального подтверждения существования на берегу реки Икорец корабельной верфи: шлак из печей, корабельные кованые гвозди, скобы, предметы материальной культуры XVIII века, в том числе посуда и монеты. С каждым новым сезоном район поисков расширялся, что стало возможным благодаря появлению новых архивных данных.

По инициативе депутата Лискинского районного Совета народных депутатов Н.А. Кардашова было решено установить памятный знак в окрестностях расположения верфи. История появления главного атрибута памятного знака, якоря с Черноморского флота, заслуживает отдельного рассказа. Автор статьи с главным архитектором района Д.Ф. Черновой выехали на место верфи и определили место установки знака — на левом берегу реки Икорец, недалеко от места расположения сухих доков, где могли находиться уже готовые к спуску на воду построенные корабли. Место



**Михаил Калугин**

## **ЗАВЕТНЫЙ БЕРЕГ**

Заметки о красоте и беззащитности  
родной природы

### **ПОКА ЗВЕНЯТ КОЛОКОЛЬЧИКИ**

Есть мир. И есть мирок. В первом — живут, буйствуют, познают, любят, страдают. Второй — прибежище от буйства жизни, ранящих чувств и саднящих душевных терзаний. И вовсе не обязательно наличие в первом беломраморных стен с зеркальными витражами под еврочерепицей. Так же как и второй не всегда — запущенная берлога. Задохнуться можно и в мире, и в мирке. Спасение от удушья — окно в жизнь с приветливо звенящими колокольчиками под притолокой.

Свой мир Михаил Калугин выстроил для себя сам. В сотне метров от донских зорь на заросшем черемухово-рябиновом взгорке на окраине села Духового, от самого названия которого духмяно пахнет природой, а значит — жизнью.

В дощатом домике в одну комнату единственное окно с видом все туда же — на Дон, на природу, на не людную, но приветливую в любое время года дорогу. И три колокольчика над проемом рамы — не знак чудачества и не просто звучащие символы. Хлопнет дверь, приветливо зазвучат они, оповещая: к тебе пришли, ты не одинок, ты нужен. Около 30 лет серебристо звучат колокольчики в неприветливой обители. Не затворника, не странника. Человека, который

с природой на Вы и с душой не в разладе. С душой, распахнутой, как эти окна, в жизнь. Писатель-натуралист, собиратель, сказитель, рыбак, фенолог, философ. Это все он — Михаил Калугин. С десяток рожденных здесь книг о рыбалке и природе, о месте человека в ней — не просто жизненный опыт пожилого человека, выплеснувшийся на бумагу. Это бесценные энциклопедии природы, по которым нужно бы учиться красоте, премудростям бытия и общения с нею с самых молодых лет. Чтобы не загасить в себе тонкий звон колокольчиков человеческой души.

«Спокойна и тиха задумчивая осень. Не топай, не иди напролом, человек! Ступай тихо и осторожно, стараясь не сломать даже травинки. Наклонись к земле, прислонись, прислушайся: здесь продолжается жизнь, в которой столько удивительного».

Это о природе. Срочно, вдумчиво, предупредительно. А это о человеке в ней. Том самом, с колокольчиками в душе: «...в выходной день, когда приезжало много рыболовов, дед брал увесистый дрючок, надевал старинную епанчу, которая висела на нем, как на колу, отчего он становился похож на привидение, и шел патрулировать по берегу,

проверяя, где жгут костры, не топчут ли слишком траву, не ломают ли цветущую черемуху. И видел я однажды, как дед, согнувшись, скорбел над сломанной березкой, проклиная разгулявшегося стервеца. Потом аккуратно перебинтовал перелом, приладил к березке, как костыли, две жердинки и, пообещав переломать ноги тому, кто это сделал, разгневанный, долго искал злодея...»

Летом года нынешнего в московском издательском доме «РИПОЛ классик» вышла «Золотая книга русской рыбалки». Шесть добрых и умных очерков-гимнов природе, щедро усыпанных народными приметам, в этом семисот-страничном фолианте — его, Калугина. А 16 добротных графических рисунков сделал его друг — лискинский художник Александр Аникеев. Такой вот творческий тандем вызрел в калугинской обители у донских зоревых плесов.

У этого неказистого домика с горшками и чайниками на кольях плетня есть какая-то могучая притягательность. А за обилием схем, календарей наблюдений, портретов и фотографий обоев на стенах не видно. Паустовский, Песков, Троепольский, Семаго, Высоцкий... Со многими из них бывший корреспондент «Коммуны» был знаком лично. Калитку его живописного двора открывали не один раз многие видные воронежские и московские писатели, художники, артисты, журналисты, политики... Говорят, за год до кончины побывал здесь с ночевкой Владимир Высоцкий, проезжавший вместе с киногруппой по Ростовской трассе в сторону юга. Немногочисленные теперь духовские аборигены припоминают рвущийся нерв его гитары над сумеречным Доном и хрипотцу отлетающих в ночь его будоражащих песен. Косвенное подтверждение факту — замурованные для памяти в бутон фундамента цифры «1979» да стихотворение на стене с такой вот концовкой:

Пусть лишь сухарь в моей суме,  
Но я оставил за собой  
Видение дома на холме  
В донской деревне Духовое.



Михаил Калугин

Не знаю почему, но в этот домик у донского крутояра хочется возвращаться вновь и вновь. Чтоб под дымок костра, на котором созревает ушица, поговорить с хозяином «за жизнь», послушать его нескончаемые рыбацкие байки и анекдоты. Чтобы в тиши виноградной беседки задуматься: как часто в извечном выборе между формой и содержанием, между привычным и неожиданным мы отдаем предпочтение красивости, принимая ее за красоту. «Что имеем — не храним, потерявши — плачем». Время стирает внешнюю красоту, а обаяние невосребованного содержания остается нам укором: ты ошибся, человек, в своей спешке по жизни. Но для возврата к потерянному нам часто уже не хватает отмеренного Богом времени.

...В очередной раз толкаю никогда не запирающуюся дверь домика в Духовом. Звенят в проеме окна колокольчики, значит, струится здесь тепло жизни. На их звон улыбочиво отзывается приветливый хозяин в фуфайке, накинутой прямо на тельняшку. Калугинские колокольчики не предадут его никогда: от часа первого робкого ростка, проклюнувшегося через твердь на Лысой горе, до «белых мух» предзимья. Дай им Бог долгого еще звона.

Николай КАРДАШОВ



\* \* \*

*Рай? Это когда есть речка с чистойшей водой,  
а в ней плещется рыба...*

Эрнест Хемингуэй

Там, где кончается лес и начинается чистое поле, река выбила глубокий омут. В нем загадочно кружится вода, и кажется, будто она течет не вдоль крутых берегов, а выходит здесь прямо из-под земли, — так густо укрыли ее деревья и зеленый тростник. На краю опушки над водой накренилась огромная ольха: вот-вот упадет с обрыва. Но велика еще сила дерева: расти — не растет, цвести — не цветет, однако и не сохнет, стойко держит зеленую крону. Вешние воды уже не раз подмывали ее корни, но они, словно когти гигантской пятерни, вцепились в глинистый берег; как щупальцы спрута опустили в воду и, распластавшись, уперлись в песчаное дно...

Из-за кромки леса встает солнце. Оно огромное, красное, с малиновым отливом, будто его только что вытащили из раскаленной домны и закатили на краешек неба. Как в плетеное кресло, сажусь на промытые корни, бросив в них охапку душистого сена. Я люблю встречать восход солнца с удочкой и, сидя на этом возвышении, словно в ложе-бенуар, смотреть и слушать лесные спектакли. Где-то там, за кулисами, кукует кукушка, скрипит коростель, пулеметными очередями ехидно хохочет сорока, как бы предвещающая: «Не наловишь ты сегодня рыбки!» Зеленый театр...

Внезапно подул ветерок, и полированная гладь реки покрылась мелкими морщинками. Мой поплавок задумчиво покачивается на дрожащей воде, но не ныряет в глубину. Клева нет, и я тихонько спрашиваю у кукушки:

- Кукушка-кукушка! Сколько я сегодня рыбки поймаю?
- Ку-ку... Ку-ку... — отвечает та загадочно.
- Значит, не едать мне сегодня ухи?..
- Ку-ку!.. — подтверждает кукушка и замолкает совсем.

...Течет река среди зеленых тростников. Тишина висит над зеркальной водой. Лишь слышно, как в сухой траве копошится носорогий жук да утренний ветерок приносит из-за леса слабые гудки далекой электрички.

Блестит вода: течет река — дорога в море... Плывут минуты ожидания. Все выше поднимается солнце. Развеялся туман, высохла роса, затрещали кузнечики, запорхали мотыльки. Ожил луг. На мой поплавок садится прозрачная стрекоза. В зарослях бухнула щука — и на зеленой куге заблестели голубые брызги.

Звенят голоса невидимых птиц, и я, забыв про цель приезда, как заколдованный, вместе со своим отражением в воде слушаю их песню.

Но вот и первая поклевка: поплавок вздрогнул, завибрировал и нырнул под лист кувшинки. Я подсек, но удилице не сторбатилось под тяжестью рыбы, а в заросли крапивы и колючей ежевики пролетел через меня красноперый окунишка.

Сбылись в этот день прогнозы сороки и кукушки: за пять часов рыбалки поймал всего десять полосатых окуньков. Что с ними делать? Я открыл садок:

- Плывите на волю, ребята!..

А сам разложил скатерть-самобранку: огурцы, яйца, хлеб, помидоры, печеная картошка; в центре — жбан с густым деревенским квасом.

Когда пообедал, уж солнце над лесом висело.

Полдень...

Жара. Иду к реке мимо островка танцующих ромашек. Пожалел их добрый косарь, оставил под ласковым солнцем. Колючая стерня щекочет ступни, на откосе белый нагревшийся песок обжигает пятки. Захожу в прохладную реку. Как

изнеженный сибарит, медленно погружаюсь в воду, ныряю, плаваю и не могу насладиться бодрящей свежестью, охватившей все мое тело. Вытянув руки, поворачиваюсь на спину, смотрю вверх на редкие причудливые облака. Чмокая в ухо, в грудь, обнимает, целует, что-то шепчет речная шелковая, ласковая вода, будто говорит: «Однажды тебе станет легко: неб возьмет тебя в свой неземной покой — станешь ты облаком над рекой...»

А в воздухе — парящий зной, духота. Замерла речка от зноя, стоят над ней, не шелохнувшись, и лес, и каждая поникшая былинка.

— Бре-ке-ке-ке-ке!.. Пи-ва!.. Пи-ва!.. — заорали неугомонные лягушки.

Вот толстомордые: в воде сидят и пить просят! Подплыл я к темным зарослям, а пучеглазые, отталкиваясь лапками, как ластами, скрылись под круглыми листьями кувшинок. «Пиво — не пиво, а дождь наверняка будет, хотя и палит жарко солнце...»

И верно: заголосили средь бела дня петухи в далекой деревне, низко над водой закружились ласточки-береговушки, потемнела в речке вода. Нет еще ни одной капли, а уже запахло пылью и дождем, и лесные фиалки пригнули к земле свои тонкие стебли, плотно закрыли голубые глаза: стучи, ядреная капель!..

Внезапно стих звон кузнечиков. Казалось, все вымерло в траве: где несколько минут назад стоял необъяснимый гомон, только ветер покачивает красные головки клевера. На горизонте темнеет небо, сверкают яркие всполохи, слышны громовые раскаты.

«Так вот почему рыба сегодня на заре плохо клевала...» — подумал я. И, шлепая мокрыми ступнями по теплой траве, побежал к палатке.

И по туго натянутой крыше, гулко отдаваясь в сгустившейся тишине, словно по барабану, ударили первые тяжелые капли: бум... бум... Бум-бум-бум...

С минуту дождь постукивал по листве, собираясь с силами, потом капли забили по палатке мелкой барабанной дробью, и еще через минуту дождь превратился в сплошной ливень. Вздвигив серую пыль, резко ударили по сухой земле упругие струи, и в следующий миг пыль превратилась в темную жижу, а рыхлый песок на откосе стал плотным, как асфальт. Задрожала листва под ударами тяжелых капель. За сплошной стеной ливня исчезли берега с поросшим ивняком, вспучилась, запузырилась речная гладь, жалобно заскрипели деревья, засвистел ветер в зарослях тростника, как гребенкой, приглаживая и сгибая его вершинки. Словно плеткой, хлестанула молния, расколов темное небо на две равные половинки, стало светло, как от электросварки, но в следующий миг небо сомкнулось, и тут же с сухим треском грохнул гром. И загудело, заухало в вышине, будто там, наверху, кто-то с силой и гневом толкал с горы пустые железные бочки, и они, чиркая по камням, высекали молнии, с грохотом и треском катились по темному небосводу.

Ливень иссяк так же внезапно, как и начался, будто там, в небесах, кто-то открыл, а через десяток минут закрыл огромный кран. Сверкая малиновыми сполохами, укатилась, затихла гроза. Показалось солнце, над лугом и лесом гигантской дугой повисла семицветная радуга. Опять стало светло, и сквозь мокрую листву золотыми монетами заблестели на траве солнечные зайчики. Луговые травы в дождевой росе. Резко запахло полынью и чабрецом, а на противоположном берегу, под тяжелыми, как ртуть, дождевыми каплями рваными заплатками распластались на песке серебристые листья мать-и-мачехи...

Небо снова чистое, как потолок. Пахнет рекой, дождем и рыбой. С опушки видно, как по краю неба из дырявой тучи, посеребрив воду, разбросав по траве яркие блики, уперлись в речную синь прожекторные лучи. И вот уже весь луг переливается удивительными красками умытой цветущей природы.

Не забыть эти картины! И теплый дождь, и ласковое солнце, и добрый гром-

ворчун, который гремит уже где-то за горизонтом, утачив за собой дождевые тучи, и семицветная радуга, как мост, повисшая над рекой, и запах земли и омытой дождем листвы. А над тобой — прозрачная капель: тряхнешь ветку, так и осыплет серебряными брызгами! Без всего этого не может быть простого человеческого счастья...

И какое же это, братцы, исцеление, как спокойно на душе, когда по палатке, по ольховой листве, по тихой воде, как сквозь сито, моросит из остатков грозových туч слепой теплый летний дождик. Лесной воздух распирает легкие, как меха, и я, лежа на душистом сене, засыпаю сладким безмятежным сном...

А когда проснулся — догорал летний день, уходя в мир прекрасных воспоминаний. Оставляя в кустах сумрак, сиреневый вечер уже брел по лесным тропинкам, и сам лес медленно погружался в царство теней и тишины. Тусклым бисером сверкала роса, предвещая на завтра жаркий день. «Спать-пора... Спать-пора...» — кому-то приказала на лугу перепелка. Окутываясь белым туманом, устало дыша, засыпала река, чтобы утром снова дарить людям радость жизни, а я, свернув палатку и смотав удочки, повез домой свой улов: вечернюю зарю и аромат лесных целебных трав.

...С любовью легче прожить на этой земле. А без страсти к природе будет скучной, печальной пустая душа. И у меня все больше сбегать от сомнительных благ цивилизации и прогресса. Ох, как жива еще во мне страсть к естественной, натуральной жизни — на пахучей земле, у реки, что протекает рядом, где гудят пчелы, где густо цветут черемуха и ландыши. Здесь и ветхий плетень под сиренью, и старинная церковь у села так и просятся в душу.

В городе мало дикой природы, и это заметно расстраивает психику горожан. Но, если ты все понял и рассмотрел с близкого расстояния, если ты, свыкшись с теснотой каменной или бетонной квартиры, забыл, как выглядит степной простор, если ты устал от лжи и обмана, заждавшись доброго взгляда и искренности, — ты все равно сделаешь этот шаг. Туда, где летом стелется сизый туман, а зимой, как капуста, хрустит снег под валенками; туда, где дуют свободные донские ветры и в гулкой тишине высятся золотые колонны столетних сосен. Туда надо бежать! На тот заветный берег, где стоит дом, из окон которого открывается вид, успокаивающий твою душу. Туда, где зимой идет высокий дым из трубы, а сердце съезживается от одинокого пристального взгляда из маленького оконца; где умирают тихо и незаметно, где хоронят на высоком бугру в краснотале — под синим небом, без оркестра и фальшивых слез.

Что за неведомая сила влечет меня туда, притягивает, словно магнит? Только там, на заветном берегу, я обретаю душевный покой. И я все больше тоскую по Дону, по родной стороне своей, где горят по ночам бакены, указывая путь первым судам. А какую прекрасную мелодию создает река! Стоит на холме в Масловке пятиглавый церковный храм Николая Чудотворца, и льется над Доном мелодичный колокольный звон. Сливаясь с тихой донской водой, он стекает вниз по течению к Щучьему и Колыбельке: дон... дон... динь-дон, динь-дон... динь-динь-тилин-динь... динь-дон, динь-дон... дон... Господи! Хвала тебе за благоденствие!..

Туда, к черной ольхе, под тень-берег, всегда влечет меня страсть рыболова и грусть горожанина, скучающего по простому скрипу телеги и крику петуха из соседней деревни, по запахам сена и парного молока, от стада, пришедшего на водопой. Порой больше года здесь не бываешь, а приедешь — каждый кустик, каждая березка, каждый изгиб реки и контур берега, как лицо человека, до того знакомы и дороги, словно встретился с самым близким и хорошим другом...

## ТЕЧЕТ РЕКА УСМАНЬ

С прибрежных лугов потянуло меловым ароматом. Переругиваясь и стуча топорами, маклокские мужики налаживают мосток через светлую Усманку — скоро по нему повезут душистое сено. Тихо шепчет тростник, да заливаются пичуги. Надев ласты и маску, медленно погружаюсь в воду, и сразу стихают все звуки, смолкают мужичьи голоса. Слышу только собственное дыхание. Снизу надвигается таинственный мир безмолвия и сказочной подводной красоты.

Передо мной открылся густой лес из подводных стеблей камыша и осоки. Глубже, на течении, у самого дна шевелятся длинные плети рдеста. Толстый слой воды пронизан косыми лучами солнца, и вода светится разными цветами: голубым, синим — у поверхности, желтым, зеленовато-мутным — в глубине. Пестрит от солнечных бликов, золотом горит на дне промытый песок. И — ни звука, уши словно заложены ватой.

Перед глазами, у самого стекла, проплывают взвешенные частицы мути, прыгают какие-то водяные жучки, похожие на квасных блох. А в зеленых зарослях стрелолиста, словно золотая россыпь, снуют стайки мелкой красноперки. Появляются и тут же исчезают. Чувство брезгливости вызывают прикосновения длинных липких водорослей: мягкие ленты обвиваются вокруг живота, сплетают ноги, повисают на руках. Густые нити шелковника зелеными космами виснут на голове, закрывают лицо. Их приходится, словно спавшие волосы, то и дело снимать с маски — иначе ничего не увидишь. Упругие струи воды толкают в плечи, стараются стянуть в яму и запутать там окончательно.

Но ласты — как плавники: два-три взмаха и я, вытянув вперед руки, раздвигаю переплетения подводных лиан, дельфином продвигаюсь вперед. Как шлейф от самолета, сзади тянется туманный след взвешенной мути: это подводная «слизь», сбитая с водорослей, уносится течением. Удивительна способность самоочищения у этой реки: вся грязь, все примеси воды оседают на растениях причудливыми волокнами, покрывают их липким слоем. Буйная подводная растительность Усманки служит ей хорошим биологическим фильтром, благодаря которому и вода в реке пока еще чиста и прозрачна. Но в таких зарослях, как в лесу — далеко не увидишь.

Невозможно описать все ощущения, которые испытывает человек, находясь в этом сказочном подводном мире. Вырвавшись из «джунглей», плыву на чистый донный песок. Впечатление такое, будто из-за туч выглянуло солнце: столько сразу света и тепла. На дне видна каждая песчинка. Замечаю маленькие палочки; словно кто-то набросал окурки — черные головки, сплюснутые хвосты. Но «чинарики» вдруг ожили и, будто эскадрилья самолетиков, спланировала в сторону. Делаю глубокий вдох, иду вниз, Ба! Да это пескари! Прижались ко дну, но далеко не удирают. Их тушки почти прозрачны: так ярко просвечивают солнечные лучи, что видно косточки позвонков.

Но вот из глубины всплыла стайка полосатых окуней. Спрятавшись в засаде под подмытым берегом, они сделали рейд над песчаной отмелью и, сверкая красными плавниками, погнали к берегу мечущихся в страхе мальков. Кого-то они там слопают. Это точно. А верткие уклеи, завидев окуневую охоту, трассирующими бликами брызнули во все стороны: спасайся кто как может...

Выставив трубку из-под листьев кувшинок, подышал. Снова погружаюсь: за ухом булькает вода, заполняя дыхательную трубку. И вдруг нос к носу встречаюсь с огромной щукой. Пятнистое тело, холодный взгляд. Не щука — крокодил. Но я знаю, впечатление это обманчивое: граница двух сред — стекла и воды увеличивает изображение, и щука, конечно, гораздо меньше. Она недвижима, еле шевелит плавниками, принимая почти вертикальное положение. На меня над-

менно смотрят жестокие глаза. В своей вотчине она никого не боится, считая себя владыкой мира сего: кого хочу — того и проглочу. За свою надменность жестоко расплачивается: этот хищник стал легкой добычей подводных охотников, которые, несмотря на запрет, рыщут в водах Усманки, в упор расстреливая щук.

Много тайн хранит в себе река под толстым слоем намытого песка и отложений. Словно останки древнего бронтозавра, вылизанные течением, затянутые песком и илом, лежат на дне мореные дубы. Они нет-нет, да напоминают: на месте сегодняшних болот и топей когда-то был могучий лес, в нем бродили звери, пели птицы... В узкой горловине, как гигантская челюсть ящера, стоит на дне частокол из бревен. Была ли здесь мельница, плотина, кто и когда их строил — молчит об этом река...

Песок постепенно темнеет. Дно резко уходит вниз. С увеличением глубины вода кажется мутной, насыщенной мельчайшими частицами. С прибавлением толщины взвесь переходит в сплошной туман. Илистый грунт под колебаниями воды начинает дымиться. И вот уже не видно дна. Слева, справа — тоже мгла. Яма! Теряется чувство расстояния, плывешь, как в плотном тумане. В ушах нарастает угнетающий звон. Только далеко наверху бликует, колышется сверкающая поверхность. Там — яркое солнце, живительный воздух, наполненный запахами лесной прели, а здесь — ледяные струи, бьющие из-под земли. Это один из немногих родников, благодаря которым живет пока река.

В ушах усиливается звон, и водяная толща начинает выдавливать на поверхность. На такой глубине чувствуешь себя жалким, беспомощным. Стоит только открыть рот — вода под давлением заполнит легкие и — конец: будет богатый корм рыбам и ракам. Быстро всплываю за спасительным глотком воздуха. Выставив трубку над водой, делаю глубокие вдохи, наполняю кислородом легкие. Хрипит воздух в дыхательной трубке.

Отдохнув на поверхности, плыву в затон, под сплошной навес из круглых листьев кубышника и белых кувшинок. В отличие от русла реки, здесь тихая жизнь. Если на течении — все в движении, то в затоне, в стоячей воде — дрема, оцепенение, неподвижность. Еловым лапником распустила свою «хвою» уреть. В углу затона — заросли хвощей. А из этих дебрей торчит широкий хвост линя. Ленивый неженка не заметил меня: растопырив плавники и повиливая хвостом, спокойно пасется, собирая с растений корм. Я заплываю с другой стороны и встречаюсь с лобастой головой и маленькими глазками. Чмокая белыми губами, он удивленно открыл рот. Мгновение — и там, где был силуэт рыбы, остается взвешенное облачко мути...

Но чуть правее, в просвете между стеблями камыша, мелькнул красноперый язь. Его ярко-красные плавники отчетливо высветились и тут же растворились в мутной синеве. Это хитрая и осторожная рыба. Язь всегда старается отплыть подальше и настороженно следит за человеком. Он или крутит «карусель» вокруг подводного пловца, или тут же исчезает, уйдя за границу видимости, или удерет в заросли тростника, куда и руки не просунешь.

В верхнем слое воды морскими звездами плавают колючие розетки телореза. Вокруг них — ворсистая пленка. Это колонии ряски. А на поверхности, словно кто-то расставил фарфоровые чашки для чая, — бутоны белых кувшинок. И от каждого цветка в мутную глубину тянется зеленый стебель — буйреп. Будто сам водяной привязал речные цветы ко дну, чтобы не украли. Но я с горечью думаю: недолго им осталось жить — наступит очередное воскресенье, приедут горожане и от этой сказочной красоты останется жуткая пустыня...

Впереди, словно паутина, подсвеченная косыми лучами солнца, заблестела капроновая сеть. В одной из ячеек запуталась и судорожно бьется золотая красноперка. Тихонько всплываю под противоположным берегом. А вот и сам браконьер: как паук, спрятался в зарослях камыша и, сидя на болотной кочке, ждет добычу.

Сняв с пояса нож, бесшумно погружаюсь на дно. Несколько взмахов ластами и я у цели. Освободив красноперку, пролезаю в огромную дыру и, изрезав сеть в ключья, всплываю за поворотом узкой протоки.

Там, где река несет свои воды через лес, там, где тень и прохлада чередуются с солнечными полянами и пляжами с золотым песком, — дно реки представляет горькое зрелище. Оно похоже на свалку. В затонувшем сапоге, грозно выставив свои клешни, поселился пучеглазый рак; рядом распластался и шевелится на течении капроновый чулок, чуть дальше — листают вода размокшую газету. Как артиллерийские снаряды, тускло отсвечивают бутылки всех калибров и расцветок, словно подводные мины, ощерились жестким блеском затонувшие консервные банки... Картофельными очистками, яичной скорлупой, полиэтиленовыми пакетами, баллонами из-под пепсиколы, алюминиевыми пивными банками, отходами от шашлыков и всякими объедками поправа девственная красота подводного мира маленькой реки.

Перекаты, перекаты... Замедлила свой бег обиженная река. Но она продолжает вливать в человеческие души покой и гармонию. Только с каждым годом все выше становятся берега Усманки. И не потому, что глубже вымывает она свое русло, а потому, что с каждым годом все меньше и меньше остается в ней воды. Плынешь иногда по поверхности, засмотришься вниз — в такую редкую и дикувинную глубину, и вдруг — уперся, а то и ударился головой в песок! Мелко — воровью по колено. Течет поверху водичка. Вроде это и не река, а так — ручеек. Встаешь тогда на ноги и, шлепая ластами по воде во всей подводной амуниции, как по асфальту, идешь по Усманке пешком...

## ЖЕЛАННЫЙ ЯЗЬ

Как ярый фанатик, всю жизнь я мечтал его поймать. И в очередной отпуск отказался от путевки в санаторий, не поехал на Черноморское побережье, а, взяв палатку, сухари, свиную тушенку от Главпродукта и снасти для ловли язей, отправился в свое заветное местечко.

...Сижу здесь уже две недели. Два раза в день мимо меня проходят доярки на летнее пастбище — доить коров. Угощают парным молоком, правда, с едкой усмешкой: делать, мол, человеку нечего, вот и выбрал пустое занятие — жариться под солнцем у речки, а рыбки — ни одной... Но я не отступаю: страдать — так страдать за идею, хотя от укусов комаров уши уже стали, как вареники...

Некоторые думают: привязал к леске крючок, поплавок и грузило, насадил распаренную горошину, и язь переселяется к тебе в садок. Как бы не так! Каждый день я варю ему кашу со жмыхом, бросаю на дно — ешь, поправляйся, Яшка (имя ему сам придумал). Он живет рядом с быстриной, там, под корягой. Большой, желтобрюхий, с красными глазами...

А сегодня получилось почти по Аксакову. Судьба захотела меня потешить: поплавок стал понемногу привставать и опять ложиться, затем встал окончательно и исчез под водой.

Я подсек — ни с места! Но удилице сильно сгорбатилось, а натянутая леска, как лезвие бритвы, разрежала водную гладь омута. Огромная рыба тяжело заходила в глубину, и ее толчки отдавались в самом сердце. В ногах появилась странная дрожь.

Ухватившись за удилице двумя руками, думаю: «Ну нет, брат, врешь, — не уйдешь!» Не те времена. В эпоху Аксакова леску из конского волоса плели, крючки из булавок гнули, а у меня удилице стеклопластиковое, леска японская, крючки кованые...

Но язь, поняв, в чем дело, стал бросаться из одной стороны омута в другую, стараясь оборвать леску. Я не сдавался — крепко держал удилице. От волнения

начали трястись и руки. Около десяти минут исполнял Яшка эту бешеную лезгинку под водой. Потом я почувствовал: язь стал сдавать — и начал выбирать леску. Поднявшись в верхний слой воды, язь с новой силой стал кувыркаться через голову, стараясь освободиться от крючка. Какое это было зрелище! Он словно плясал гопака! Фонтаны брызг сияли на солнце всеми цветами радуги, а в середине танцевало красноперое чудо...

Крючок и леска выдержали. Мои нервы — тоже. Язь устал, лег на бок. Я выволок его на берег и смотрел на рыбину горящими глазами. Язь на меня — ненавистными. Он лежал на желтом песке, уставший, тяжело дышал, раскрывая рот, шевеля жабрами.

— Вот он, соколик! — заорал я, опомнившись, и бросился на него. Одуревший от счастья, прижал его к себе, как любимую женщину. Ладони обожгли холодные и скользкие бока серебристой рыбы. Но Яшке, видимо, не понравилось проявление таких чувств. Он изогнул хвост дугой, вlepил мне пощечину, подпрыгнул и, сверкнув на солнце стальным боком, плюхнулся в воду.

Большая серебристая рыба скрылась в глубине. На поверхности кругами разошлись зеленые волны. Какая добыча ушла!

Я лег на берег, зарыдал и... проснулся.

## РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ

Случилось так, что несколько лет искал я рыбацкое счастье на берегах разных рек и все недосуг было посетить любимую речку, где впервые взял в руки удочку.

Тонкой пчелкой жужжит подо мной велосипедный моторчик. Поднимая за собой вихрь из желтых листьев, мчусь по осенней дороге на Платовский плес, где с весны живет отшельником мой дед. Он маленького роста, тощий, голова трясется, борода клинышком, а под носом, словно колючки, торчат рыжие усы... За эту внешность местные рыболовы прозвали деда Ершом, и это прозвище прилипло к нему навсегда. Выходя на рыбалку, он неизменно надевал на себя драпье, подпоясывался веревкой и становился похож на нищего оборванца. Ходил он всегда с удочкой на плече, как царский солдат с ружьем. Когда у деда однажды украли лодку, он снял с чердака гроб, который приготовил к своей смерти: законпатил его, засмолил и плавал на нем по озеру, ловя карасей, а вся деревня умирала от хохота. Иногда, в выходной день, когда приезжало много рыболовов, дед брал увесистый дрючок, надевал старинную епанчу, которая висела на нем, как на колу, отчего он становился похож на привидение, и шел патрулировать по берегу, проверяя, где жгут костры, не топчут ли слишком траву, не ломают ли цветущую черемуху. И видел я однажды, как дед, согнувшись, скорбел над сломанной березкой, проклиная разгулявшегося стервеца. Потом аккуратно забинтовал перелом, приладив к березке, как костыли, две жердинки и пообещав переломать ноги тому, кто это сделал, разгневанный, долго искал злодея...

Моему приезду дед рад до безумия. Ему надоело жить в одиночестве, и, угощая дымящейся ухой, он тараторит без умолку. Несмотря на возраст, он бодр и молод душой. Дед рассказывает рыбацкие новости, ворчит. Всеми признанный рыбацкий авторитет ворчит не потому, что он «ершист» своим характером, а от душевной обиды: рыбы в реке становится все меньше и меньше:

— Усманка уже не Усманка, а так, ручеек... Кормишь, кормишь, а возьмешь за зорю пяток подъясаулов-подлещиков, которых и в садок сажать жалко...

Дед брюзжит, но я вижу, что он все-таки доволен своим отдыхом. За прожитое здесь лето посвежел, морщинистые щеки покрылись каштановым загаром, глаза молодцевато блестят.

Его курень стоит под огромной ветлой, покрыт буддыжками чертополоха, за-

сыпан душистым сеном и со стороны похож на индейский вигвам. Рядом с хижинной, на краю обрыва, над самой водой — стол, сколоченный из шершавых досок, и лавка. Невдалеке — кострище, на нем — таганец. Уткнувшись в глинистый берег, на волнах покачивается рыбацкий челнок. Дед привязал его, обмотав цепь вокруг толстой ольхи.

Нахлебавшись ухи, сажусь в лодку и уплываю «в царство рыб и куликов». У меня краюха хлеба, щепоть соли, две пахучие антоновки, бидончик с водой. В лодке — удочки, жестяная банка с извивающимися червями: нажива для окуней.

Дедовский челнок, как туземная пирога, легко и плавно скользит по водной глади плеса. В днище тихонько хлопает, чмокает вода, словно целует просмоленные доски, и за лодкой струится конусный след. Там, где весло погружается в воду, образуется винтовая воронка, но через несколько секунд поверхность воды затягивается, становится, словно полированная.

Заплыв в узкую протоку, продираюсь сквозь заросли тростника. На дне — золотой песок, и вода кажется желто-красной. Упершись в дно, толкаю лодку против течения. Под веслом хрустит песок. А кругом такая тишина, что слышно, как с поднятого весла крупными каплями, звонко цокая, падает вода...

Осень. Замолкли смех и песни купальщиков, погасли костры, смолкла транзисторная музыка, опустели берега Усманки. Дождливое лето щедро напоило пересыхающее русло реки, и теперь она несет свои воды к Воронежу. Дремучий лес стоит стеной по обоим берегам, охраняя от ветров плавное течение сонной реки.

Я загоняю челнок в гущу тростника с поседевшими метелками. Наживив крючки, забрасываю снасти в омуток, окруженный по краям потемневшими блинами кубышника. Чувствую пряный запах мяты: ее ярко-зеленые стебли торчат прямо из воды. Что-то шепчет тростник: еле уловимый ветерок колышет его огрубевшие стебли. И вдруг издалека эхо доносит трубный рев сохатого. Разбиваясь о высокие сосны, звук так же внезапно затихает.

А вот из-за поворота, словно мятые рубли, принесло течение продолговатые желто-бурые листья: где-то там, над водой, могучий дуб растерял свое богатство. Вода покрутила рыжие купюры в омутке, как бы предлагая: может, ты возьмешь? И понесла дальше.

А клева нет.

Я лег на душистое сено, которое дед постелил на дне челнока, накрыл голову штормовкой и стал наблюдать за подводным миром. Там, под упругим напором течения, извиваясь, словно космы русалок, шевелятся длинные водоросли. Между ними мелкие плотвички исполняют какой-то диковинный танец. Заевшиеся окуни лениво шевелят плавниками. Они с презрением посматривают на червей желтыми глазками: дескать, видали мы твоих заморышей — ты нам малька подавай или мотыля. И вдруг, словно торпеда, в толще воды промелькнула сигарообразная тень. Ну, конечно, щука — больше здесь некому — выскочила из засады, схватила нерасторопную рыбешку. И, увлекаемые течением, словно россыпь серебра, поплыли блестящие чешуйки. Это все, что осталось от павшей жертвы...

Рядом с лодкой, притаившись под круглым листом кувшинки, торчит голова лягушонка с выпученными глазками. Иногда, подпрыгнув вверх, он с лету ловит мошку и, дрыгая лапками, смешно плюхается в воду. Тоже деятель.

В ожидании клева быстро пролетел короткий осенний день. Спряталось за лесом солнце, и небо сразу стало темно-синим. Я смотал удочки, выбросил червей в воду: ешьте, рыбки! Упершись веслом в топкий берег, вытолкнул челнок из зарослей тростника.

Прощай, Усманка, моя милая речка. И не в обиде я на тебя за то, что остался без улова.

Я получил гораздо больше.





Наталия Супоницкая

## О ЧУДЕСАХ И НЕ ТОЛЬКО

**П**исать о чудесах в начале XXI века — задача трудная. Чем можно поразить воображение современного человека, на глазах которого осуществляются мечты, когда-либо созданные самой смелой человеческой фантазией?

Сочинения о семи чудесах света были популярны в античную эпоху и включали в себя описания самых грандиозных, самых великолепных и поразительных построек и памятников искусства. Вот почему их называли чудесами. Сам выбор числа освящен древнейшими представлениями о его полноте, законченности и совершенстве — число «7» считалось священным числом бога Аполлона.

А существуют ли чудеса в Лискинском районе? У нас, конечно, нет ни древнего Колосса Родосского, ни висячих садов Семирамиды... Но если оценивать природную среду нашего обитания, то многое можно возвести в ранг чудес. Наши чудеса — это уникальные места, свойственные только нашему краю, наша визитная карточка...

В селе Щучьем, к примеру, с легкой руки Н.И. Сафронова, со своими чудесами определились — это челн, который находится сегодня в столичном Историческом музее, и кое-что другое. А если взглянуть шире?

Наш историко-краеведческий музей совместно с редакцией газеты «Лискинские известия» провели предварительное анкетирование лискинцев по части природных или рукотворных творений, которые относились бы к чудесам наших мест.

В числе опрошенных были представители администрации, учителя школ и их учащиеся, работники библиотек, сотрудники музея и члены совета музея, писатели и поэты района, а также читатели райгазеты. Наиболее часто в анкетах среди прочих чудес назывались — Дивногорье (Свято-Успенский монастырь, природный музей-заповедник), гора Шатрище, санаторий имени Цюрупы, река Дон, храм Владимирской иконы Божией Матери. Весьма популярным после открытия памятного знака стало место строительства кораблей на Икорецкой судовой верфи. Также называют чудесами Щучье (челны, плацдарм, пещеры), села Селявное и Переезжее, Старая Хворостань, реку Тихая Сосна, Лысую гору у впадения р. Икорец в р. Дон, озеро Богатое, реку Тормосовка, реку Лыска, «Царева Лука», природные богатства нашего края: залежи мела, радон, чернозем... А еще отметили люди своим вниманием храм св. Николая Чудотворца в Масловке, Покровская церковь, храм Новомучеников Воронежских в Песковатке, родник Абрамка (с. Лиски), родник под меловой горой с. Залужного, остров Волчий Кут, лес в районе Титчи-хи, Вязниковский лес, Терновое, санаторий «Радон», Центральную районную



Привокзальная площадь в Лисках

библиотеку, городской парк, Ледовый дворец, новый больничный комплекс, Привокзальную площадь, Лискинский ж.д. вокзал, железнодорожную станцию Лиски, Лискинскую детскую железную дорогу «Задоринка», памятник основателям города «Ангел-хранитель», памятник В.И. Ленину у здания филиала ВГУ, Аллею афганцев, мемориал погибшим воинам на Мелбугре...

Особо отмечаются в анкетах выдающиеся люди нашего края, герои минувших и нынешних дней: 13 Героев Советского Союза (в небольшом Лискинском районе большой страны), Я.В. Бедряго (герпетолог), Петр Полянский (местоблюститель патриаршего престола), А.П. Животко (педагог, публицист), А.М. Кораблинов (физик-ядерщик), М.В. Кантария (призван в годы Великой Отечественной войны Лискинским военкоматом), И.И. Финочкин (лискинский художник), народный целитель А.А. Иванкин, глава Лискинской районной администрации В.В. Шевцов...

Часто в анкетах упоминается и Лискинский историко-краеведческий музей во главе с его директором А.В. Анিকেевым.

А наш известный краевед Николай Иванович Сафронов считает одним из чудес Сторожи у Богатого Затона, с которой началось заселение Лисок и сам факт существования которой до сих пор, по его мнению, просто еще до конца не осмыслен.

Вот такие они разнообразные, лискинские чудеса. И перечень их не заканчивается, потому что опрос продолжается.





Анна Гордышева

## СИЯЮТ КУПОЛА СОБОРА...

(Возводящийся храм Владимирской иконы Божией Матери — архитектурная жемчужина региона)

**В** самом центре Черноземного края, на живописном берегу Дона, в городе Лиски Воронежской области, находится кафедральный собор в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Проект этого величественного строения выполнен в классических традициях русской церковной архитектуры. Главным архитектором была Ольга Анатольевна Карпова. В форме его основания — крест. Собор состоит из двух этажей с четырьмя боковыми притворами, увенчанный девятью куполами. Фасад храма решен в крупных вертикальных объемах с арочными завершениями. Высота храма вместе с крестом составляет 67 метров.

6 июля 2003 года митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей совершил Божественную литургию в Покровском храме города Лиски. После нее был совершен крестный ход с Владимирской иконой Божией Матери к месту возведения будущего собора, были освящены крест и закладной камень. В первой половине 2004 года к строительству подключился глава районной администрации Виктор Шевцов. Был создан Лискинский районный об-

щественный благотворительный фонд содействия строительству собора. В него вошли в основном все руководители предприятий, хозяйств города и района, а также ряд предпринимателей. На протяжении всего строительства и внутреннего оформления собора существенную материальную помощь оказывали прихожане и активные горожане.

К концу 2006 года лискинцы смогли увидеть сложившийся «внешний облик» будущей визитной карточки города — была завершена основная кирпичная кладка собора и установлено пять центральных куполов.

Весной 2007-го «заговорили» колокола собора, и засверкали золотом девять крестов, которые освятил митрополит Сергей.

Нижний храм «ожил» с первой Божественной Литургией в июле 2009 года, а в феврале 2013 года митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей совершил в нем чин великого освящения.

Устройство храма состоит из трех пределов. Центральный — в честь Всемилостивого Спаса. Правый (южный) — в честь князя Владимира. Левый предел в честь мученика Виктора.



Кафедральный собор Владимирской иконы Божией Матери

В западной части устроена уникальная крестильня с большим баптистерием. Подобной нет ни в одном храме Воронежской области.

Престольная икона в честь Владимирской Божией Матери написана и вышита бисером в 2002 году членами Союза художников, членами АИАП ЮНЕСКО воронежскими художниками Анпилоговыми. Вес великолепной бисерной ризы иконы более 10 килограммов.

Иконостас нижнего храма радует своей торжественностью и красотой. Роспись его проводилась группой воронежских, острогожских и бутурлиновских художников, работу которых курировала член Союза художников России Людмила Паршина.

В средней части храма перед солеей находятся иконы с частицами мощей известных православных святых — преподобного Анатолия Оптинского младшего и святителя Спиридона Тримифунтского.

Верхний храм еще только благоустраивается. Однако уже сейчас он придает художественное звучание всему архитектурному ансамблю собора.

Пол храма выполнен мозаично, из

полимерного розово-серого мрамора. Стены и балюстрады балконов облагорожены песчаником с элементами резьбы по камню. Все это великолепие было осуществлено благодаря меценату Валерию Леонидовичу Чешинскому, который заказал эти работы в известной итальянской компании «Грасси Пьетре» из города Виченцы. История этой фирмы берет свое начало с конца XIX века. Ее основатели, семья Грасси, уже в четвертом поколении занимаются добычей и обработкой камня. Материал, с которым они работают, был известен еще с XIV века. Его использовали многие известные мастера эпохи Возрождения. В настоящий момент компания «Грасси Пьетре» является постоянным поставщиком камня для зданий крупных итальянских городов Виченца, Падуя и Верона.

Центральный купол украшает роспись, которую сделала группа художников Воронежской области. Также в верхнем храме есть балкон для клироса, на который уже установлены фигурные ограждения.

Вокруг храма функционирует двухэтажный административно-учебный комплекс. В нем находится воскресная

школа, воспитанники которой по окончании обучения получают необходимые знания для поступления в духовную семинарию.

Есть великолепно обустроенные трапезная и удобный лекционный зал на 150 мест, благодаря которому лискинцы могут посещать мероприятия, направленные на создание в городе центра православной культуры.

Благодаря плодотворному сотрудничеству с отделом образования города Лиски и района проводится множество мероприятий с учащимися школ. Организуются литературно-познавательные лекции, концерты, конкурсы. Третий год подряд, в июне, сотрудники собора принимают пришкольные лагеря. С детьми проводят познавательные беседы и мастер-классы.

Для всех желающих познакомиться с духовной литературой работает библиотека, заведующая которой Н. Светова помогает выбрать читателям нужные

книги. Книжный фонд формируется за счет средств собора и пожертвования книг прихожанами. Разделы классифицируются, формируется электронный фонд. Организуются книжные выставки к церковным и государственным праздникам.

В сфере общественной деятельности собор постоянно поддерживает сотрудничество с Центральной районной библиотекой, проводятся совместные мероприятия.

При храмовой библиотеке работает познавательный-дискуссионный клуб «Духовная вечеря», где собираются неравнодушные читатели, которые через духовную книгу хотят лучше познать богословие, учение Святых отцов, подвижников благочестия и старцев. Клуб организует духовные вечера и паломнические экскурсии. Руководителем клуба является кандидат исторических наук Алексей Поповкин, духовным наставником иерей Николай Чернушкин.



Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев и глава администрации Лискинского муниципального района В.В. Шевцов в храме



Роспись алтаря

Для детей и молодежи работают кружки игры на гитаре (руководитель Светлана Широкова), авторской куклы Галины Галикберовой и креативного рисования (руководитель Наталия Супоницкая).

Также при соборе действует воскресная школа для взрослых, в которой постигаются азы православия и проводятся духовно-нравственные беседы.

Успешно функционируют молодежный и миссионерский отделы, руководители которых Анна Гордышева и Олег Михальченко проводят активную общественную работу.

Культурным событием в жизни города стало открытие в апреле 2013 года выставочного зала в соборе. Его посетители имеют возможность соприкоснуться с прекрасным миром изобразительного искусства. Постепенно формируется свой художественный фонд.

В рамках сотрудничества с Детской художественной школой в выставочном зале организуются совместные тематические и выпускные выставки учащихся.

В сентябре 2013 года восточную и западную стороны Владимирского собора украсили иконы, выполненные в

технике византийской мозаики. Это стало возможным благодаря меценатству Леонида и Валерия Чешинских. Они заказали иконы у итальянских мастеров.

Теперь лискинцы могут любоваться образом Спаса Пантократа (над западным входом в собор нижнего храма). Над входом в верхний храм размещен образ Нерукотворного Спаса на убрусе, который держат два ангела. Восточную алтарную часть храма украсил образ Владимирской иконы Божией Матери с молитвой.

Создавали иконы в северо-восточной Италии, в области Фриули — Венеция-Джулия, а точнее в городе Фриули, который расположен на берегу Адриатического моря.

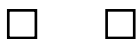
Над иконами для Лискинского собора итальянские художники трудились в течение пяти месяцев. Материал, из которых сделаны иконы — камни из высокопрочного каленого стекла и кубики золотой смальты. Применялись они еще в Византии в III-IV веке нашей эры. Благодаря стараниям и мастерству итальянских мастеров мозаичные иконы стали достойным дополнением величественного храма.

На сегодняшний момент в соборе действуют сразу несколько импровизированных мастерских. Художники из Воронежа Владимир Гончаров, Виктор Росихин, Михаил Ананьин, Людмила Гетманова, острогожский художник Владимир Соловьев, бутурлиновские художники Анатолий Лобков и Дмитрий Меняйленко расписывают верхний храм собора. Курирует их работу иконописец Л. Паршина.

Настоятелем Владимирского собора, с начала его строительства, явля-

ется протоиерей Иоанн Завгородний. Своими личностными качествами — целеустремленностью, ответственностью и активностью — он замечательно организует процесс становления собора.

Кафедральный собор Владимирской иконы Божией Матери еще находится в процессе внутреннего оформления, однако уже сейчас жители города Лиски и туристы отмечают великолепное здание, которое стало настоящим украшением города.



**Департамент культуры Воронежской области**

**Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области  
«Журнал «Подъём»**

**Директор-главный редактор Щёлоков И.А.**

---

*Редакция вступает в переписку только с авторами, материалы которых приняты к публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.*

*За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.*

*Авторы присылаемых материалов обязаны сообщить редакции: домашний адрес с почтовым индексом; день, месяц, год своего рождения; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; банковские реквизиты (название местного банка) СБ РФ: корсчет, БИК, расчетный счет, ИНН; в назначении платежа указывается номер филиала и лицевой счет клиента.*

*Редакция убедительно просит авторов присылать электронную версию своих произведений с обязательной распечаткой текста. Рукописи без распечатки не принимаются. Параметры набора: 14-й кегль через 1,5 интервала, отчетливо читаемый.*

---

**Корректор Кобелева Л.В.  
Компьютерная верстка Вовчаренко И.К.**

---

Адрес редакции: 394036, г.Воронеж, пр.Революции, 3а.  
Телефоны: директор-главный редактор — 253-14-50, заместитель директора-главного редактора, ответственный секретарь, отдел поэзии — 253-11-28, отдел прозы, производственный отдел, корректор — 253-11-34, бухгалтерия — 253-13-77, отдел верстки — 253-14-09.  
Факс: 253-11-34.

Электронная почта: [podiem@mail.ru](mailto:podiem@mail.ru)

Сетевая версия журнала «Подъём»: <http://www.podiemvrn.ru>

Электронный архив журнала с №1, 2001 г. по №6, 2008 г.: <http://www.pereplet.ru/podiem>

Журнал «Подъём» зарегистрирован в Минпечати РФ.

Свидетельство № 331 от 03.10.1990 г.

*Рассылку журнала осуществляет цех экспедирования печати Воронежского главпочтамта: 394068, г.Воронеж, ул.Лизюкова, 2, ЦЭП.*

*Во всех случаях полиграфического брака в журнале обращаться в ОАО «Воронежская областная типография — издательство им. Е.А. Болховитинова».*

---

Подписано в печать 27.08.15. Формат 70x100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,7.

Тираж 1000 экз. Заказ

Отпечатано с готового оригинал-макета в ОАО  
«Воронежская областная типография —  
издательство им. Е.А. Болховитинова»:  
394071, Воронеж, ул. 20 лет Октября, 73а.